

MIKHAIL BENDER



A bom me uuu!



Михаил Веллер

А вот те шиш!

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

М О С К В А
· В А Г Р И У С · 1 9 9 8

УДК 882-341
ББК 84Р7
В 17

**ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ РФ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ.**

**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВСЕЙ КНИГИ
ИЛИ ЛЮБОЙ ЕЕ ЧАСТИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗДАТЕЛЯ.**

**ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
БУДУТ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.**

ISBN 5-7027-0426-8 •

© Издательство «ВАГРИУС», 1994

© М. Веллер, автор, 1994

© Е. Вельчинский, дизайн серии, 1997

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 7

ПРАВИЛА ВСЕМОГУЩЕСТВА

Колечко 35

Небо над головой 64

А вот те шиш! 73

Поправки к задачам 90

Идет съемка 95

Хочу быть дворником 99

Мимоходом 102

Легионер 105

Правила всемогущества 108

Апельсины 139

Паук 142

Цитаты 144

Хочу в Париж 153

ЛЕГЕНДЫ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА

Оружейник Тарасюк 187

Легенда о морском параде 214

Баллада о знамени 229

Маузер Папанина 245

Карьера в Никуда 255

НОЖИК СЕРЕЖИ ДОВЛАТОВА 311

Дети победителей

Конец шестидесятых

реквием ровесникам

Мы были, были!.. Мы, старперы, несостоявшееся поколение, дети победителей величайшей из войн, волна демографического взрыва — сорок шестой—пятидесятый года рождения, — самое многочисленное поколение за всю историю страны. Мы, состарившиеся в мальчиках, вино, перебродившее на уксус и не дождавшееся праздника: нас не подпустили к столу, мы не дотянулись до бокалов, а ножи были предусмотрительно убраны: лакеи захватили буфеты и стали хозяевами праздника. Мы, брюзги, неудачники, одни спившиеся, другие продавшиеся незадорого, потому что дорогой цены уже не давали: предложение с лихвой превышало спрос. Мы, чьи лучшие рабочие годы — с двадцати пяти до сорока — ушли водой в песок, погрязли в болоте, ухнули в бездонную пропасть, в жизнеподобную пустоту непереносимо фальшивого фанфарного пения: оно скребло своей наглой фальшью нервы, и мы стали истеричны, оно разъедало душу, и нам уже нечем стало верить во все хорошее и честное. Мы, плешивые, потому что метались беспорядочно по жизни, пытаясь жить, мы, гнилозубые, потому что жрали всякую дрянь — а что еще было жрать, потому что не на что было вставлять зубы у частного, поди еще его найди, не стальных же фикс ждать два года в бесплатной очереди: мы — были, были, были!

Нам было по пятнадцать, мы были юны, стройны, красивы, полны сил и веры: острая брага юности запенилась в нас, детей победителей, когда Хрущев матерился с трибун и учил писателей писать — но никого не сажали, и казалось, что никогда уже не будут сажать, никогда не будет страха: анекдоты о Хрущеве рассказывали везде, издевались над кукурузой: мы выросли без страха в крови, культ личности был историей, Твардовский редактировал и публиковал „Один день Ивана Денисовича“ Солженицына, Некрасов печатал в „Новом мире“ „По обе стороны океана“, „Коллеги“ Аксенова были знаменитейшей из книг, и „Звездный билет“ тоже, критики громили Асадова — мы его читали: суки, человек потерял глаза на войне, прекрасные стихи, читали Евтушенко, читали Вознесенского, переписывали „Пилигримов“ Бродского: мало знали, еще меньше понимали, но верить умели, это тоже было у нас в крови, — нет, сомневались, издевались, но — верили. Что было, то было — верили.

И когда слетел Никита — радовались. Демократия, справедливость, хватит кумовства, лысый дурак, наобещал коммунизм через двадцать лет, твердо зная, что двадцать лет не протянет и позор не падет на его лысую голову: восьмиклассники сдавали экзамен по истории СССР, а в коридорах издевались над тем, что отвечали насчет построения коммунизма: нет, не настолько наивны были; но — верили: в добро, в справедливость, в честь, в правду.

И потрясающее свойство юности: знать — а не понимать, видеть — а не понимать, спорить — а не понимать! Судили Бродского, выслали: это было плохо, но все равно, в основном, все было хорошо. Судили Даниэля и Синявского по статье, которой и в кодексе-то не было: соглашались — поделом вра-

гам народа, антисоветчикам. Не знали, что они написали, не знали толком, в чем дело, газетам своим вообще не верили — а в частности верили!.. обычная штука, юных так легко заморочить, внушить, направить: энергия брызжет, опыта нет, идеалы жгут, и на этих-то идеалах умело, как всегда, играли прожженные сволочи, умные и безжалостные бандиты, сделавшие карьеры на костях собственного народа, на пепле своей земли, на почерневшей в застое крови моего поколения.

А мы рвали семирублевые гитары и пели:

Ну и беда мне с этой Нивкою,
Она живет со всей Ордынкою!

Но циниками не были, ох не были: был тот цинизм, как панцирь на нежном теле краба, который прикрывал — душу, все в порядке было с душой — в любовь верили, в дружбу верили, в советскую власть, в торжество добра, в святые идеалы, в нерушимое преимущество нашего строя над ихним, безжалостным и античеловечным.

Над Канадой небо синее,
Меж берез дожди косые,
Хоть похоже на Россию,
Только все же не Россия...

Как же мы ухнули, как пролетели мимо кассы, как похоронили уже кое-кого из друзей, как ссучились, упустили свою волну, остались на обнажившемся бесплодном дне; ушел трамвай, ту-ту, и последними, кто успел прицепиться к колбасе, были те, кто родился на десять лет раньше нас, в тридцать седьмом-восьмом: Распутин, Маканин, Высоцкий. Больше в литературу имен не вошло, да что в литературу, что в искусство — в действительность нашу больше имен не вошло: прощай, все места за-

няты, двери закрываются, ждите следующего поезда...

И мы ждали, еще не понимая, что не будет поезда, что тот, на ком форма кондуктора, гонит нас в тупик, а жезл в его руке — на самом деле дубинка...

Уходит наш поезд в Освенцим
сегодня и ежедневно...

I

Когда послышался хруст? Пожалуй, что с процесса Даниэля и Синявского, но мы, семнадцатилетние; этого еще не понимали: ату гадов, ату власовцев, ату предателей; кто не с нами — тот против нас!

Тебе семь лет, идешь по улице и читаешь, по складам еще почти, лозунг: „Советская избирательная система — самая демократичная в мире!“ И на всю жизнь впечатывается, вчеканивается: да, самая демократичная! Гордость, достоинство — вот так, наша. У них — голод и синтетика, у нас — натуральные продукты, у них — произвол, у нас — законы, у них — расизм, у нас — интернационализм.

И ведь поразительно: в пятом классе анекдоты рассказывали: американский инженер: „А сколько вы зарабатываете?“ — советский: „Ну и что? А у вас негров вешают“. Вроде и знали — а вроде никаких обобщений не делали. Похоже, юность не способна к абстрактному гуманитарному мышлению. Нет, не способна. Особенно если ее отучают думать.

Иногда говорят исключительно о поколении москвичей и ленинградцев — чушь; это всего-то пара процентов от всех: Москва — это еще не Россия.

В основном — то все мы жили по небольшим городкам, в них именно народа было всего больше, а в столицы стекались сливки провинций, как и было всегда и везде. Мы были здоровы — что было, то было: гнилья в душах у нас, в общем, не было. Было, но не часто. Сравнительно не часто. Мы были убеждены, что если что — то в военкоматы пойдём в первый день и добровольцами; и в основном пошли бы, ей-богу!

— Это — тогда. А сейчас — немногие бы туда отправилась: научила жизнь отматываться от всего такого.

В провинциях наших зажима и тупости было побольше, в столицах, понятно, поменьше: мы балдели от свобод и демократий. Сколько позволено всего! И не сажают!

И при этом прекрасно знали, что на нашем университетском филфаке, скажем, полагается стукач на каждую группу, и знали, как происходит вербовка — в пустом кабинете декана, и каковы средства давления, и даже кое-кого из стукающих знали! И язык, в общем, держали на привязи. И все равно балдели от свобод, вот ведь что поразительно! Пьешь водку в общаге со стукачом — и балдеешь от свободы! Будь вы прокляты, грязные фискалы, наследники палачей, сеявшие драконьи зубы, которые дохрупали теперь державу до самых костей!

Не будут прокляты. Хорошие зарплаты, приличные квартиры, социальный статус, спецобслуживание. Не подавятся. Давимся мы.

А все-таки — все-таки — комплексуют! Истеричными делаются на этой работе, со стеснением о ней сообщают, а если спорят о деле своем — так с озлоблением, тупым отверганием всего не своего... Как ни верти, а ремесло доносчика, полицейского, палача всегда было презренным ремеслом.

„А куда было деться, меня бы исключили за академическую задолженность...“

„А куда было деться, потом не устроился бы ни на какую приличную работу, только в деревенскую школу...“)

Когда (по слухам, официальной информации — тью-тью) у Виктора Некрасова конфисковали архив, то один из уходящих с пачками бумаг сказал вежливо, смущенно, человечно: „Простите ради Бога, Виктор Платонович, — служба...“ На что был ответ: „А вот службу себе, молодой человек, каждый выбирает сам“. Тоже не всегда сам. Но в наше-то не слишком голодное время — сам, сам, голубчик. И что, получил ты счастье со своей службы? Нет, дорогой, если ты не ощущаешь себя единым, родным со своим народом, — все у тебя может быть, а счастья нет. Э, а может, и есть, — собаке собачье счастье.

Следователь-хмурик с утра на валидоле,
Как пророк, подследственный бородой оброс...

И было в Ленинградском политехническом „дело декабристов“ — в декабре проходил процесс над студенческой организацией:

— Мы знали с самого начала, что успеха добиться не можем, ничего сделать не сможем, но — должен же кто-то сказать правду!!!

После этого Политех навсегда перестал быть в Ленинграде рассадником вольнодумства. Тоже, помнится, шестьдесят пятый год.

Так что — похрустывало, похрустывало уже тогда, но мы этого еще не понимали, не знали многого, да и накат инерции был велик: мы еще годик-другой побалдели...

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди...

Потом грянула Шестидневная израильско-египетская война. Май шестьдесят семь. Вот тут-то и запахло керосином.

Насера у нас не любили, не уважали, не почитали: крайне порицали Никиту, что он дал ему Героя, а особенно возмущались, что наглый Насер на фотографии у Асуанской плотины даже не надел Звезды: уже потом узнали, что Звезды-то и не было, Никита дал ему Героя самочинно.

Напиши мне, мама, в Египет,
Как там Волга моя течет...

И ведь передавали, что Насер сгноил в концлагерях всех коммунистов, которые до того в Египте были, что египтяне ленивы, трусливы и жуликоваты, живут в страшной бедности, и рожа у Насера противная была, уж это точно; нет, Насер у нас популярной фигурой не был.

Правда, и евреи никогда не были уж самым любимым народом нигде. Но, поскольку интеллигенция всегда настроена оппозиционно, в среде интеллигенции настроения наблюдались антиофициальные, а антиофициальные — это произраильские. Анекдоты ходили про эту войну все в одни ворота: евреи выступали хитрыми и расчетливыми, но арабы — тупыми и неудачливыми.

Воля ваша, но евреям после этих событий лучше не стало — то есть советским евреям. Разумеется, советские евреи — самые счастливые в мире, как и все прочие советские люди: но назови мне такую обитель, где девушки и молодые женщины то и дело сжигают себя?! Братцы, ведь только у нас, только у нас! привет нашему гуманизму. Нет, это не еврейские девушки, норма по их сожжению была перевы-

полнена в военные годы надолго — это мусульманские девушки. Евреи всегда отличались возмутительным жизнелюбием и жизненной цепкостью. У нас в школе выпускников было двести человек — три одиннадцатых класса и четыре десятых. Обе золотые медали получили евреи, а также две серебряные из пяти.

Русский советский еврей евреем себя особенно не ощущает, но обычно рад бы ощутить себя русским, но его русским ощущают не все и не всегда. Графа „национальность“ в паспорте присутствует вроде только в нашем интернационалистском государстве. Мнение отнюдь не столь редкое: „Гитлер, конечно, был гад, фашист, но вот с евреями он все-таки поступил правильно, жаль, не всех успел...“ Короче, запахло еврейским вопросом, а это всегда нехороший признак.

Весной шестьдесят восьмого в Ленинградском университете арестовали около двухсот человек: так передавали, с преувеличениями. Не то земельная партия, не то террористическая программа, но троим впяли больше десяти лет, еще несколько получили по мелочи, еще несколько десятков исключили с волчьим билетом. Как-то даже не верилось, что это произошло с нашими однокашниками.

А потом был август шестьдесят восемь — и в основном, что поразительно, мы занимали совершенно официальную позицию! Мы, кому было двадцать, полагали, что — да, иначе в Чехословакию вступила бы ФРГ, а антисоветские, антисоциалистические мятежи надо давить, это контрреволюция.

А потом на общежитских наших пьянках плакали чешские студентки-стажерки: „Мы вас любили больше всех, действительно как братьев, зачем вы это сделали?..“ Вот в шестьдесят восьмом все и определилось, и те, кто постарше, поумней, это поняли. Прикрутили анекдоты „армянского радио“,

прикрутили помалу все: перестали печатать Гладилина, а он, худо-бедно, был зачинателем нашей новой молодежной прозы: „Хроника времен Виктора Подгурского“, катаевская „Юность“, пятьдесят пятый год. Дали Аксенову по мозгам за „Бочкотару“. Придушили „Новый мир“. И вот после шестьдесят восьмого ничего значительного в нашу культурную жизнь уже не пришло, новых фамилий не появилось: кто успел зацепиться, заявить о себе до того, напеть песен, выпустить книгу, застолбить место — те остались, а новые — шип! Разве что Никита Михалков и Татьяна Толстая, но, заметьте, без своих семейных связей фигу бы они сделали свое: каста замкнулась.

И этого мы, двадцатилетние, не понимали. Мы жили шестьдесят пятым годом, когда на дворе стоял уже шестьдесят девятый. И это нам стоило дорого.

III

Ах, мы искали смысл, мы заново открывали для себя Павла Когана, Хикмета и Экзюпери, мы мечтали о больших делах; кто ж не мечтал.

Мы ехали в стройотряды — рвались сами, отбিরались по конкурсу. Мы еще носили эту форму с гордостью, добывали к ней тельняшки и офицерские ремни: образца шестьдесят шестого года она была в Ленинграде желто-оливковая, шестьдесят седьмого — серая, шестьдесят восьмого — зеленая, такой и осталась, вышла из моды, ею уже не гордились те, кто пришел за нами.

На Мангышлаке мы строили железную дорогу в пекле пустыни, в отрядах кругом ребята гибли: несколько десятков гробов пришло за лето из четырехтысячного отряда Гурьевской области: сгора-

ли на проводах ЛЭП, ломали шею об дво ручья, обваривались битумом, хватали тепловые удары. Мы вламывали по десять часов в день — рвали жилы на совесть: мы — могли, мы проверили себя, испытывали — и утвердились! Мы были — гвардия, студенты — за двести рублей за лето! пахали, как карлы.

Наши командиры и мастера еще не обкрадывали своих.

Жгли сухой, как порох, „Шипкой“ легкие, — мускулистые, поджарые, черные, зверски выносили, в одних плавках, девчонки наши узенькими купальниками ввергали в раж работяг, бабы плевались — завидовали, красивы были наши девочки, тогда мы этого не понимали, поняли позднее, когда сдали, расплылись, обморщили. Ладони были как рапшиль — гордились. „Здесь я нашла свою Испанию...“ — сказала королева бетономешалки. Нам нужен был смысл. Смысл!

„Иностранное слово „романтика“ по-русски звучит здесь „работа“. „Стройотряды — школа коммунизма“.

Форме нашей при возвращении завидовали, значки стройотрядов носились с гордостью — элита! — держались кучей: мы были — свои!

А уже присосались паразиты, заруководили, запланировали, засели в штабах, заездили по отрядам районные и областные комиссары: бороды брить, деньги в общий котел — отрядная коммуна, это передовее, чем коммуна бригадная. Не любили их, хотели — сами. Хотя это мы еще успели — сами, все кончилось на наших глазах.

И комиссары в пыльных племах
Склонятся молча надо мной.

.....
Бандьера росса триумвера!

Мы были той крысой, которая успела вскочить на тонущий корабль.

Только плацкартного места той крысе уже не досталось — исключительно палубное.

В шестьдесят девятом году всех почти ленинградских студентов загнали в Ленобласть на мелиорацию — товарищ Романов осушал землю. Не записавшихся в отряд не допускали к экзаменам. Нынешний ленинградский спецкор „Известий“ Анатолий Ежелев опубликовал в „Смене“ подлейшую статью о конференции комсомола ЛГУ, где по приказу парткома наплевали на устав ВЛКСМ, устав ССО: отменили принцип добровольности стройотрядов, записанный параграфом первым статьи первой устава ССО, — заменили разрядкой. Физики пытались организовать сопротивление — не удалось.

Партсекретарь ЛГУ выступал зло, демагогически, напирал на сорок первый год — мол, не козырять добровольцами, все нужны! Интересно, что он делает сейчас? Вряд ли бедствует...

За голосование „против“ нам потом лепили выговора, грозили исключением из комсомола, прорабатывали на комиссиях: мы трезвели понемногу.

Мы еще сумели провалить кандидата в секретари факультета, навязанного парткомом: выигранное сражение в проигранной войне — орден он папнул через несколько лет.

Глядь — едет
на лисапед
бывший комсомольский секретарь.
Как бы, братцы, не было нам худа...

На рубеже семидесятого года ситуация сменилась как-то быстро, скачком: молодежь резко стала лучше одеваться; резко утратила романтизм; резко стали лучше жить материально; но все это было *за нами*; мы-то попали в промежуток — ни то, ни дру-

гое: сознанием еще там, впереди, а телом-то уже здесь, позади.

„Ну, а дальше? Что было дальше? Что было потом?“ — „Не было дальше. Не было потом“.

Мы еще смотрели „Леди Гамильтон“ в кинотеатре старого фильма „Сатурн“, на Садовой близ угла Мучного переулка; я жил как раз напротив.

IV

Мы разогнались, как истребитель ко взлету, но с бетонки слетели в папшню, по вязкому болоту пытались мы взлететь, пережигая в форсаже двигателя, еще надеясь на высоту, скорость, небо, простор — глядя, как крутят высший пилотаж другие, не намного старше нас. Истребитель стареет быстро, около двадцати лет — срок огромный в человеческой жизни; по возрасту нас уже можно списывать в транспортную авиацию.

V

Самое многочисленное из советских поколений, дети победителей, отроки оттепели, юноши шестидесятых, — к сорока годам не дали ни единого человека, что встал бы вровень с достойными прежних времен. Нет, не были мы ни глупы, ни серы, ни вялы, нас не расстреливали, не пытали, не высылали за границу, не раскулачивали, в общем даже не сажали, нас задавили на корню.

VI

Бывает.

VII

Мы еще живы. Мы еще не вышли в тираж. „Еще ноги наши ходят, еще кони наши скачут, и пушка моя возле тела греется. Еще рука моя тебя достигнет“.

VIII

Весной шестьдесят девятого на китайской границе в боях за остров Даманский погиб мой когда-тошний одноклассник Толик Шамсутдинов.

Сталин и Мао — братья навек!

Мы еще застали китайских студентов — поразительно трудолюбивых, дисциплинированных и скромных.

Лица желтые над городом кружатся.

Паровозы, грузовики, истребители МиГ-15 и автоматы ППП — взамен плащи и рубашки „Дружба“, термосы и авторучки: отличные.

Над Китаем небо синее,
Меж трибун вожди косые, —
Хоть похоже на Россию,
Только все же не Россия.

IX

Летом шестьдесят девятого Анатолий Кузнецов остался в Англии — черта была подведена. Кончился „Новый мир“, умер Твардовский — жирная черная черта. Аксенова, Евтушенко, Медынского и

Розова выперли из редколлегии „Юности“. Кочетов напечатал в „Октябре“ „Чего же ты хочешь?“. Иван Шевцов издал „Любовь и ненависть“. Мы цитировали их наизусть — мы смеялись. Плакали мы позднее.

А потом заработали верховные редакторские ножницы, отстригая от пространства нашей духовной жизни строчку за строчкой. Спился и замолчал Казаков. Замолчал и уехал Гладилин. Выслали Солженицына. Уехал Бродский. Пошли нескончаемой чередой уезжанты и невозвращенцы: Растропович, Барышников, и кого только не было. Уехал Некрасов. Уехал и погиб Галич. Умер Шукшин. Уехали Белоусова и Протопопов. Агония.

Точку воткнул восьмидесятый год: лишили гражданства уехавшего Аксенова; смерть Высоцкого; бойкот Олимпиады. Финиш.

Смерть Трифонова весной восемьдесят первого прозвучала завершающим аккордом, эпилогом.

Ах, как дивно работали наши боссы! Как сладостно руководить: запретить кому угодно что угодно. Крошка Цахес с партийным билетом.

Перековав свой меч на щит
и затыкая нам орало.

Затыкали рты, выкручивали руки, резали рукописи, смывали картины, чтобы потом иметь наглость заявить: „Наше искусство было недостаточно смелым“. Наше — достаточно. Смелых замалчивали, запугивали, сажали, высылали — по вашим указаниям, дорогие благодетели.

Но — эти уже состоялись.

Мы — нет.

Места не было.

Нужды не было.

Мы — лишнее поколение?
Замолчанное поколение.
Заткнутое.

Х

И те же, кто сотнями тысяч — сотнями и тысячами! миллионами! — укладывал на поле боя наших отцов, чтоб выслужить орден и звездочку, отрапортовать о взятии города к очередному празднику, — укладывал со всем идиотизмом и безжалостностью бюрократической системы: реку ли губить, землю ли распылять, людей ли в эту землю укладывать — дело служивое, карьера есть карьера, машина власти и благ остается той же — те же гении и предводители давили нас. Работа такая.

„Не ко мне они ходят советоваться, а к маузеру моему“.

„Строим, с песней, добровольно!“

Изнасилованная страна, изолганная история, изуродованная экономика, пьянство и безверие: кровь, ложь, капкан.

„Хрусть — и пополам! Пойду забудусь сном“.

Сколько миллионов в валюте могли бы дать одни только картины Макаренко? А что дали нашей культуре о н и? Всесильные и ненасытные молохи Госкомиздата, Минкульта, советов, комитетов, комиссий: оборотни-вампиры в черных лимузинах. Нигде в мире нет столько органов, и нигде в мире нет, чтоб так трудно пробиться чему угодно незаурядному. Радетели вы наши!

Классовой — классовой ненавистью ненавидит мое поколение ваш класс номенклатурной бюрократии. Класс, лишивший нас возможности сделать в жизни свое — новое — лучшее — собственное: оставить на земле себя — для земли и людей. Прощать тут нечего, некому, — это противо-

речие смертельное, непримиримое. Они это знают. И дают. И задавят, вероятно, — прошедшие годы отучили нас от оптимизма.

XI

„Довольно крови!..“ В переводе на русский язык это сейчас означает: довольно крови невинных мучеников, не надо прибавлять к ней кровь палачей, убийц, преступников, пусть хоть они живут спокойно в многострадальной стране.

Христианство?

„Каин убил Авеля. И с тех пор повторял своим детям: „Берегите, дети, этот мир, за который отдал жизнь ваш дядя“.

XII

Пели Городницкого, пели Галича, пели Окуджаву, Визбора, Высоцкого. Официальных песен не пели. А ведь вранье — мы еще пели их:

Забота наша такая, забота наша простая...

Пели, братцы.

Сотня юных бойцов из буденновских войск
на разведку в поля поскакала...

Тихо, на пьянках, с душой — родное пели, свое.

Полюшко-поле, полюшко широко поле...

И сейчас ведь их любим.. Думаем иначе, относимся иначе, знаем иначе, а — любим... Милитаризм ненавидим — а парады смотрим... Шовинизм презираем — а Ермаком гордимся.

Откуда ж у нас может взяться настоящая российская интеллигенция, если за интеллигентность — свободомыслие, порядочность, гражданственность, принципиальность, благородство — все-то годы карали так жестоко, семей не щадя: уничтожали, научно уничтожали, обстоятельно, систематически. Увольняли, обыскивали, „лечили“. Подбросят наркотики при обыске и дадут срок. Грузовиком по тротуару размажут. Газетную травлю организуют. Уголовникам в камере дадут указание: искалечить вонючего антисоветчика. Потом антисоветчика провозглашают провозвестником перестройки, а те, кто велел кости ломать, восклицают: „Ну, довольно крови“. Десятилетиями мгновенно вытаптывали малейший росток интеллигентности, да еще землю вокруг пропалывали профилактически. Взгляните-ка, кто провозглашает сейчас с экранов телевизоров принципы перестройки. Те, кто дивно преуспел в период застоя. Завтра они опять переквалифицируются. Дело обычное.

Нет, интеллигент — это Сахаров.

В отличие от, скажем, Боровика, представителя второй древнейшей, который всегда тщательно работал на генеральную линию — что линия Брежнева, что линия Горбачева.

Мыслие — всегда инакомыслие, это ясно. Ибо повторение чужой мысли означает отсутствие собственной. Интеллигент — это тот, кто провозглашаемые истины принимает не к сведению, а к размышлению. А если кто умеет размышлять, то всегда глянет на предмет хоть чуток, да по-своему.

Мое поколение, в общем, целиком инакомыслящее. К началу восьмидесятых к официальному слову нам создали иммунитет. Мы выжили — ценой того, что стали на это слово плевать. Иначе остава-

лось попасть в психушку из-за разрыва слышимого и видимого. Некоторые и попадали.

XIV

Государство имеет три основные функции:

- безопасность жизни своих граждан;
- материальное благополучие;
- духовные свободы. Реализовать свои возможности.

Если оно с этим справляется плохо, то любые оправдания и объяснения — демагогия для самосохранения правящего аппарата. Где эти три условия выполняются лучше — то государство и лучше. Все остальное — ложь, изрекаемая бандитами, чтобы удобнее грабить людей и порабощать.

Мы приходили к этим нехитрым истинам сами, медленно, годами. Читать нам было нечего: все убиралось на спецхран. Еще в конце шестидесятых в университетской библиотеке можно было взять Шопенгауэра или Библию; потом это пресекли.

Мы не могли никак разобраться в преподаваемой нам политэкономии социализма, пока не поняли, что эта галиматья не имеет ни малейшего отношения к действительности, ни к логике, ни к элементарному здравому смыслу.

Мы не могли понять, как все, кто делал революцию, стали ее врагами и были расстреляны или явно убиты. Потом мы прочитали „Евангелие от Робеспьера“ Гладилина, изданное в „Пламенных революционерах“ в семидесятом, помнится, году (как проверишь, и она была изъята). И логика убирания всех мыслящих и незаурядных медленно доходила до нас.

Потом мы научились читать Герцена. К восьмидесятому году Герцен звучал чудовищным дисси-

дентом, не хуже Солженицына; только спокойнее, мудрее, интеллигентнее. Герцен сказал много о нас, будущих...

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте...

XV

Слава Богу, спрашивать нас родители еще отучили, — а то б глотать лагерную пайку многим из тех, кто жил на относительной, да все ж воле...

На первом курсе профессор (тогда доцент) Хватов, креатура профессора Выходцева, предложил нам на лекции по введению в теорию советской литературы поспорить с ним насчет того, что художник при социализме свободен. Мы даже не усмехнулись: слишком дешевый трюк. Но иностранцы, стажеры наши, восприняли всерьез. Дальше было два академических часа бесплатного развлечения: Хватов терпеливо строил карточный домик, за разом раз, и одним щелчком тот домик был разрушаем: „Все-таки при капитализме художник может примкнуть к его сторонникам, а может к врагам, и может сделать частную выставку, продавать картины, и его не арестуют, не посадят, не запретят...“

Художники группы „Санкт-Петербург“ давно в Париже и Нью-Йорке. По всему миру.

А на черта они нужны Министерству культуры? Хлопоты одни.

А теперь скажите, на черта нам нужно Министерство культуры — вместо просто культуры? Заодно еще с сотней министерств?

Наши министерства могли бы составить население небольшого европейского государства. Страшное то было бы государство. Не начались бы в Сахаре перебои с песком.

Объясните глупым, мы выслушаем с благодарностью.

XVI

Гениальный из анекдотов минувшей эпохи: человек разбрасывает листовки, которые при рассмотрении оказываются чистыми листками бумаги. „А почему же ничего не написано?“ — „А что, разве все и так все не знают?..“

XVII

Дорогой Никита Сергеевич. Да будет Вам пухом земля Новодевичьего кладбища, коли уж, по мнению любезных коллег Ваших, Вы, руководитель партии и государства — XX съезд! — на Кремлевскую стену не потянули. Мы еще всерьез некогда читали „Трех мушкетеров“: „Слава павшему величию“. Конец концлагерей, избавление от страха, нет всесилля жуткой бериевской госбезопасности, урезание огромной армии — деньги в жилье, сельское хозяйство, культуру, книги и кино, отмена полного крестьянского рабства, Куба и Египет, Индонезия и Африка: небывалая волна исторического оптимизма: слишком поздно мы прозревали от заблуждений молодости — поздно поняли, оценили в сравнении. Не хватило Вас на наш век.

XVIII

Молодость, переходящая в старость, минув период социальной зрелости, — вот главная отличительная черта моего поколения.

За хлеб и воду
и за свободу
спасибо нашему советскому народу.

(Сойдет ли мне с рук написанное? Напечатают ли эту цитату из Высоцкого? Пропустят ли? Не вызовут ли автора на беседу куда надо? Не припомнят ли костоломно через несколько лет, если все повернется по-старому?)

XIX

Как много нас было!..

Как счастливо мы вступали в жизнь!..

Запрещение ядерных испытаний, полет Гагарина, разделение власти Первого секретаря и Предсовмина, микрорайоны — отдельную квартиру каждому, рост продолжительности жизни до семидесяти лет: ах, еще несколько лет, и мы всем покажем, мы примем эстафету, мы пойдем дальше!

Мы носим узкие брюки и снежные в голубизну нейлоновые рубашки, мы курим первые сигареты с фильтром — болгарский „Трезор“ за тридцать копеек или „Фильтр“ за восемнадцать, мы покупаем на три рубля бутылку „Московской“ водки за два восемьдесят семь и белый батон за тринадцать копеек — на троих, в общаге застилаем стол газеткой и молча стоим под Гимн Советского Союза, поминаем Гагарина, которого сейчас хоронят. Мы вырезаем из чужих журналов портрет Че Гевары, последнего настоящего революционера XX века, мы танцуем шейк вместо твиста, мы не ходим в кабаки, даже когда есть деньги, — нам там скучно, а денежных людей мы презираем. Мы пьем в общаге при свечах, поем под гитару, заводим допотопнейший магнитофон и танцуем, прижимаемся, ласкаем и целуем по

углам и лестницам наших девочек, по общежитским койкам и парковым скамейкам,

**Ах гостиница моя, ты гостиница,
на кровать присяду я, ты подвинешься,**

на тонких запястьях девочек отвернуты рукава болоньевых плащей, плоские золоченые часы „Полет“ на черных нейлоновых ремешках, туфли на шпильках, мини, еле прикрывающие резинки чулок, и неживая шершавая гладкость чулка сменяется прерывающей дыхание прохладной теплотой нежной кожи бедер, дешевейшее советское, позорное, несчастное белье и стройные, округлые, замечательные юные тела, наши отцы и деды не были алкоголиками, поля не были забиты химией, с генофондом у нас все было в порядке, Боже, как красивы были наши девочки, надо было пожить, чтобы понять это, и как мы все были непритязательны, и бедны по нынешним меркам, и не нужно было ничего,

**Мы мечтали о морях-океанах,
собирались прямиком на Гаваи.
И как спятивший трубач спозаранок,
уцелевших я друзей созываю.**

Нет друзей — разбежались: один в Вологде, другой в Париже, третий уж там — ждет нас; не так долго и осталось, кто пробежал больше половины дистанции, кому Бог и короче судил...

Не страшно в прах лечь — исход всеобщий; жаль не прожитых минувших лет.

XX

Врезал по нас серпом шестьдесят восьмой годочек. Баррикады на Монмартре, бои в студенческих кампусах Америки, наши танки в Праге; а мы ле-

том долбали в Норильске вечную мерзлоту ломами, пили спирт от простуды, щеголяли фформягой ССО, тосковали по своим любовям, — мы были обречены, но, конечно, этого еще не знали.

XXI

Это через несколько лет мы, женившись, развелись, измучившись жить вдвоем и втроем на двести рублей, снимая при этом комнату и пытаясь купить все необходимое: нищие по всем стандартам развитых стран, живущие ниже порога официальной бедности. Это через несколько лет наши девочки начнут выскакивать замуж за американцев и итальянцев, а мальчики жениться на француженках и шведках: и остались бы, но бедствовать без прописки и, стало быть, без работы не могли, а ехать в глушь, чтоб там за те же сто рублей снимать ту же комнату, только с сортиром во дворе, с теми же унижениями, с тем же сознанием ненужности своих знаний и возможностей, — не хотели. Это через несколько лет фарцовщики станут королями Невского, галерея Гостиного дворца станет их Бродвеем, проститутки засядут в „Севере“, а в „Березку“ нас пускать перестанут, и цена на доллар взлетит вдвое на черном рынке. Это через несколько лет уже нельзя будет купить Плутарха и Шеллинга с лотка на Университетской набережной, и мы засунем дипломы подальше и пойдем в таксисты, сварщики и шабашники, создавать бригады маляров-доцентов и лесорубов-учителей. Это через несколько лет начнется еврейская эмиграция и возникнет поговорка „еврей не роскошь, а средство передвижения“, брак с выезжающим — вывозящим — евреем будет стоять до пяти тысяч, и тут же разработают систему обхода таможенных пра-

вил, предписывающих оставлять все нажитое добро здесь, придумают четырехметровый с пятью ручками чемодан „Привет от тети Сары“ и ящики, заключаемые золотыми гвоздями, и возникнет Антисионистский комитет, и по телевизору будут выступать знатные евреи Советского Союза и рассказывать о своей счастливой жизни, а потом перестанут, потому что многие из них тоже уедут.

Это потом, года с семьдесят пятого, начнет Брежнев заговариваться и валиться с трапов самолетов на руки двум здоровенным расторопным ребятам, потом сделают карьерки комсомольских и партийных боссов карьеристы и сгинут в неизвестности неудачники, потом изымут из библиотек книги, на которых мы росли, и душители и паразиты будут получать награды к юбилеям.

А пока жизнь принадлежит нам, мы ее переделаем, улучшим, мы можем, мы любим, мы читаем стихи, мы создадим шедевры, мы двинем страну дальше, вперед, в тридцать лет мы будем уже велики, знамениты, доктора наук и руководители производства, крупные фигуры, ведь у нас такие прекрасные условия, лучше, чем у всех предшествовавших поколений, и в актовом зале мы только что не на люстре висим, а со сцены немолодой уже, тридцатилетний Владимир Высоцкий поет нам, двадцатилетним:

Но парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!



*Правила
всемогущества*

КОЛЕЧКО

1

— А и глаз на их семью радовался. И вежливые-то, обходительные: криков-ссор никогда, все ладом — просто редкость...

И все — вместе только. В отпуск хоть: поодиночке ни-ни, не водилось; только все вместе. И почти-точно так, мирно... загляденье.

Не пил он совсем. Конечно, культурные люди, врачи оба. Тем более, он известный доктор был, хирург, к нему многие хотели, если операцию надо. Очень его любили все — простой был, негордый.

...Они еще в институте вместе учились. И уж все годы — такая вот любовь; вместе все да вместе. На рынок в воскресенье — вместе, дочку в детский сад — вместе. Она с дежурства, значит, усталая, — он уж сам обед сготовит, прибрано все. Или ночью вызовут его — она спать и не подумает, ждет. В командировках — звонит каждый день ей: как дела, не волнуйся.

К праздникам ко всем — друг дружке подарки: одно там, другое... а дочка та вовсе ходила как куколка, ясное дело. И уважительная тоже, воспитанная, встретит: „Здравствуйте, как вы себя чувствуете“. Крохой еще — а тоже вот; воспитание. А постарше, и в институте: „Не нужно ли чего, не принести ли?..“ Радость родителям такие дети. Какие сами — такую и воспитали.

Услышишь, поди, муж где жену бьет, гуляет она от него, дети там хулиганят... или врачи те же лежат плохо... а эти-то — вот они: и даже на душе хорошо. Ей-же слово.

Поживешь — может, плохого в жизни и больше. Как глядеть... А только, подумать, не в зимогорах ведь — в таких людях главное. Они основа... настоящая...

2

— Сюсюканье это... смешно даже. Легкомысленность одна... Не обязательно же — попрыгуньи, стрекозлы; нет... легкомысленность неглубоких натур: как повернется — к тому душой и прилепятся. Растительная привязанность. Тут не постоянство чувств, тут скорее постоянное отсутствие подлинных чувств. Чеховские душечки. Старосветские помещики...

Он мне вообще никогда не нравился: ни рыба ни мясо. В компании пошутить — поддержит, погрусти — поддержит: сам — ничего. А она... смурная всегда была какая-то. Два раза прошлись, трах-бах!.. женились... Два притопа три прихлопа...

Не могу объяснить, вроде напраслины... но несерьезно это выглядело, как „ах-любовь“ из плохого кино.

Ну конечно, он фронтовик был, с медалями, — так у нас половина ребят была после фронта. Конечно, четвертый курс, подавал надежды в хирургии, у девочки головка закружилась... много ли такой надо.

Вот друг у него был, Сашка Брянцев — душа парень: веселый, умница... вот бы кому жить да жить... Все опекал его, за собой таскал; тот на все его глазами смотрел.

А в этой — ну что увидеть мог; пустыньская фи-
фочка с первого курса. Улыбнулась ему — и взыг-
рало ретивое.

Нет, я лично их тогда не одобряла. Конечно, у
каждой свои взгляды, каждому в жизни свое, но я
лично для себя не о таком мечтала. Все-таки о на-
стоящей, глубокой любви мы все мечтали...

И промечтались... некоторые... И наказаны за
идеализм дурацкий свой. Засекается крючок, дева
старая. И хоть бы ребенка родила, пока могла; дура
тухая!..

Да все-то достоинство их — в примитивности ха-
рактера, видно: хвататься за счастье, какое подвер-
нулось, и держи крепче, и будь доволен; но уважать
за это — увольте...

3

— И по прошествии двадцати пяти лет окон-
чательно явствует, что парнишка-то нас всех об-
скакал. И ничего удивительного: этот с самого на-
чала свое туго знал.

Начиная буквально с того, что поселился вместе
с Сашкой Брянцевым. Брянцев: с кем, кричит, ком-
нату на пару? Этот — тут как тут; набился. Умел
влезть. Стал Сашкиным лучшим другом. Сашка-то
езде был центральной фигурой — и этот при нем.
В любой компании — желанные гости. На практи-
ку — Брянцев любого обольстит, завладеет лучшим
направлением — и его следом тащит. Конспекты —
один на двоих; причем тут Брянцев не переутруж-
дался. Так тандемом они светилами и были. Но
Брянцев-то скорее издавал свет, а этот-то — отра-
жал. Спец по тихой сапе.

Спокоен, упорен, занимался много — это да. Это
было. И расчетлив же, клянусь, — на удивление;
законченный прагматик, чужд любым порывам.

Грешно говорить, но прикинь-ка. Вот погиб Брянцев, лучший его друг. Единственный даже. Опустим эмоциональную сторону — мы не вчера родились: тут и фронт сказывается, и вообще он эмоциями не перенаделен... не будем драматизировать. А чисто житейски — имеем следующие проблемы. Во-первых (не по значению, а в порядке возникновения), придется вдвое больше платить за жилье — а денег, ох, не густо; или пускать кого, малопривлекательно, друзей нет; или перебираться в общежитие, а среди года не дадут, и независимость не та, условий поменьше и для занятий — а долбил он зверски, — и для веселья — хотя на сей счет он не отличался. Во-вторых: через год грядет распределение, а преимущественно в выборе предоставляется семейным с детьми до года; да и двадцать пять лет — возраст, жениться все равно когда-нибудь надо.

И выбирается заурядная девочка с первого курса: оптимальное решение. Раз: она его уважает и почитает: он взрослый, способный, умный, подающий надежды, герой-фронтовик, — авторитет в семье обеспечен; его слово — закон. Два: единственная дочь обеспеченных родителей, им подкидывают, в плане материальном он не отяготился, а наоборот. Три: она юна, восемнадцать лет, чиста, достаточно мила, хозяйственна вдобавок: суп в тарелке, девочка в постели, — удовлетворены и потребность в женщине, и тщеславие, и естественное желание нормального быта. Четыре: до распределения они рожают ребенка, и их оставляют в областной больнице. Масса вопросов — одним махом, а?

Пусть я циник — факты не меняются.

Он идет на место хирурга, и становится дельным хирургом — по справедливости отдадим должное. Хорошие руки, интуиция; и какая-то демонстративная надежность в характере... у него и научная работа, он и в общественники лезет, и речи толкает, и

кандидатскую кропает, и с любимым-то умеет поладить, и в результате он областной хирург, и на него очереди, и он кандидат, и депутат горсовета, и вообще не последняя личность. Достать, устроить — в момент.

Кто удачливей? Гера Журавлев доктор в Москве? В Москве докторов — куда ни плюнь, у Геры гараж в другом конце города, закручен, как очумелый. А тут человек — на виду, при верхушке; нет, молоток.

И с женьбой — суди: один ребенок — и точка; обузы парень никогда не домогался. Тишь, гладь, спокойствие. Не имеет на стороне? чьи гарантии: у таких комар носу не подточит. И кроме — это и вряд ли увязывается с его идеалом хорошей жизни, и только. Благополучная карьера, благополучная личная жизнь. У таких ребят все путем. Реалисты, брат! Рассудочный брак — залог стабильности. Учись! — да поздновато нам...

4

— А куда ей было деваться? Несчастливая девчонка!.. Грехи наши...

Вот как это бывает в жизни.

Она любила Брянцева. Они решили о женьбе.

Брянцева нашли утром в снегу, с пробитой головой. Послевоенный бандитизм...

Она осталась беременной.

И никто — никто ничего не знал!

Девчонке восемнадцать лет. Она в помрачении от нереальности происходящего.

Аборты были запрещены.

Довериться? кому, как? чем поможет: сознаться в тайном, подсудное дело, огласка, позор!.. кошмар... жизни конец.

И ни единый — подозрений не положил. Примечали раз-другой ее с Брянцевым — его с кем не видели: по нем полфакультета сохло... что особенного.

И воспитания девочка была. Позор пуще смерти мерещился.

Что делать!..

И ведь на занятия ходить надо! улыбаться, разговаривать, на вопросы отвечать! очереди занимать в столовой!..

Поехать и признаться к родителям? Кто даст отпуск... неважно... С э т и м — к отцу-матери... доченька единственная... нет; невозможно.

Нет выхода.

Повеситься.

Да и к чему тут жить... Нет страха: в глазах черно.

Родители... но сил нет.

Но ребенок... Их ребенок... любовь их, плоть их, маленький... ему бы остаться на земле; ему бы жить.

Ах, должен он жить: смысл единственный, да чего же стоит остальное, в конце концов.

И — долг перед любимым: есть долг перед любимым; что тут от подлинного ощущения его и сознания идет, что надуманно, на что инстинкт жизни подталкивает исподволь — кто разберет, разграничит.

Бросить институт, уехать, устроиться на работу, родить...

Куда? Как? На какие деньги?..

Девочка только из-под родительского крыла... Едва в начале — жизнь рухнула. Растить сироту... Одной. Одной.

...Так и возникает дикое для первого восприятия собственных чувств, и укрепляется во спасе-

ние: выйти замуж. Избежать позора, ребенок в семье, устройство всего... Обыкновенное, по сути, решение. Да рассуждать легко...

За кого?.. Ох, не все ли равно! То есть говорится только — не все ли равно, хотя в таком состоянии, верно, может быть не только все равно, но даже чем хуже, тем лучше: горе по горло — так пусть все под откос, и в мученичестве удовлетворения ищешь. Но каждый выбор понуждает к последующему: решил жить — решай как, далее — конкретней...

Мысль о друге Брянцева была естественной. Он оставался частью его мира и через это представлялся не совсем чужим.

Стать женой друга — меньший ли грех перед любимым, ближе к нему ведь; или больший — ведь к другу ревновал бы большей...

И попросту: сдержанный, одинокий, не красавец, не юнец... он подходил...

...Ну, трудно ли молодой симпатичной девушке завлечь и женить на себе заучившегося обычного мужика, не избалованного женщинами и их, в общем, не знающего. Главное — каких мук, какого напряжения ей стоило играть эту влюбленность в него, внутри мертвея от отчаяния и тоски. Сколько же сил душевных понадобилось! И откуда берутся у таких девчонок — а ведь у них именно и берутся.

И — торопиться приходилось, быстро делать, быстро! Беременность шла; не приведи Бог, заподозрит, догадается.

Тоже сердце рвет: знать ребенку, кто отец его, любимый, не доживший! или пусть во всем счастливый живет, при живом отце... Любя по-настоящему, им счастья желая, как бы и сам Брянцев рассудил...

Другое: открой, что беременна, — разбежался он чужую заботу покрывать. С чем подойти, „женись как друг“?.. Слово вылетит: скоро молва... И же-

вится — где зарок, что не попрекнет в тяжелый час, не будет собственную душу грызть и на тебе срываться... Все люди.

Нет, по всему выходило скрывать.

Не девушкой — что ж... дело такое. Ничего. А остальное — он, тихоня, до нее, может, и вообще мужчиной-то не был. Может, и не снилась ему такая.

Свершились ее намерения наилучшим образом. За нос такого провести нетрудно: приласкай — и верти им, любому слову поверит.

Она стала хорошей женой. Лучше желать нельзя.

Потому и угождала, что дорожила положением своим?

Какую твердость, какую волю надо иметь, чтоб с такой тайной жизнь прожить. Не выдать себя, не обмолвиться.

Нет; всю жизнь не пропритворяешься. Привычка. Роль становится натурой: бывшее так отойдет, и не поймешь: приснилось ли... Привязалась постепенно; были и радости, и счастье, и всякое; жизнь была.

Он оказался хорошим человеком, хорошим мужем: она не ошиблась.

Брак обошелся ей в жестокую цену; она стремилась к нему более всего на свете; та боль скрепляла его.

А вынужденность его не могла хоть сколько-то не тяготить.

Но был еще единственный ребенок и его счастье.

5

— Женщины... смейся и плачь. Вообрази: он все знал. Знал он!..

И отдавал отчет в жути ее положения.

Что он должен был делать? Оставаться безучастным?

Поддержать, утешить — чем мог? не те дела: как поможешь...

Аборт ей сделать, на себя взять? Криминал, риск, судьбу на карту... а вдруг неудача, последствия, дознаются...

Она пошла бы ли еще на это. Восемнадцать лет, все в первый раз, жгучая гордость, трепет перед оглаской... понимал: ей и на признание не решиться.

Она здорово держалась! Как понять: самообладание? Или, очень вероятно, то запредельное состояние изнеможения, когда махнешь на все: „Будь что будет“, опущены руки, неси течение к неминуемой развязке, истрачены вера и воля, и существу враждебны мучительные усилия к спасению, противоречащему всеподчинившейся логике событий: блаженный наркоз засыпающего на морозе. Опасно затрагивать человека в подобном пассивном смиреннии с пока неопределенно отодвинутой гибелью. Его оцепенение чувств — неровное равновесие подтаивающей лавины. Легчайшее прикосновение извне может послужить к катастрофе. Как отточить ситуацию до ювелирной чуткости... Оскорбишь своим знанием: а она головой отрицательно замотает в ужасе — и после покончит с собой. И все благие намерения.

И тут она явно ищет с ним сближения. Встреча, вторая. Взгляды, интонации, позы, весь этот женский бедный арсенал...

Он не дурак был, трезвая голова, на свой счет не обольщался. Все понял. Понял и согласился про себя, что для нее это выход и спасение. Так... Это максимум и одновременно едва ли не единственное, чем может он реально ей помочь.

Тут надо немало души. У него достаточно.

...Он не показал ей, что знает: ни тогда, ни позже. Зачем? Истинное благородство выше показа.

Вообще собственное благородство вдохновляет к идеализации мотивов. Ну: на одной чаше весов — возможно, жизнь невесты друга и их ребенка; на другой — что, собственно? одиночество — не постыло ли... развестись всегда можно; алименты? ерунда... Чужой ребенок? никто не знает, зато знает он: самолюбие спокойно — уже полдела.

Вначале скрыл — щадя ее и боясь оттолкнуть. Жертвы она могла не принять. Приняв — тяготилась бы обязанностью, благодарность по долгу рождает подсознательную жажду раскрепощения, неприязнь.

А позже — обнаружили свои прелести и преимущества. Как жена полностью устраивала. Семья — куда лучше. Девочка славная растет; а больше-то детей не было, может, у него своих и не могло быть. Признайся — простит ли унижение, не потеряешь ли ребенка, которого привык считать своим и любишь, к чему все приведет... Нет, если устраивающее тебя положение стабилизировано — не следует нарушать его чем бы то ни было.

Не покинет краешком и лестная надежда, что и сам не так плох — почему самого и вправду полюбить нельзя; хоть разуму известно — да слова, да чувства, да ночи, да тщеславие мужское неистребимое...

Вдобавок тайное знание вселяет силу и власть. Хранишь последним оружием; в таких соображениях и лучший не волен, пусть даже совесть не позволит и в крайнем случае использовать. Отсюда — дополнительная выдержка, снисходительное достоинство вооруженного к слабому.

Разнообразны благие намерения, по которым мы скрываем от ближних знания о них. Тактичность, жалость, любовь, расчет, великодушие и душевный

комфорт... Разве всегда один супруг жаждет знать все о другом? А зная — жаждет выложить? Или зная, что другой знает нечто о нем, — жаждет услышать? Несказанное — незаконно к существованию, отчасти и не существует. Мало ли некасаемых семейных мин тикают механизмами к забвению.

6

— Фьють-тю!.. Не укладывается в толк. Ну... е-мое! Чего я сейчас не могу понять — почему раньше это никому не пришло в голову. „Кому это выгодно?“ Но кто б, непосвященный, свел воедино...

Конечно. Он любил ее.

Одному ему, другу, Брянцев поведал секретно: беременна, теперь жениться; в тот же вечер. А он, знакомый издали, он полюбил — да тут Брянцев рядом... все предпочтения, она влюбилась; не суйся. И Брянцев (не трепач отнюдь), эдакий симпатяга, живая душа, с ним и делился заветным: как целовались... как женщиной ее сделал. Та еще пыточка. Молчал: крепок был, да неволью поведением зависишь от сильного. Молчал — до обморочной ревности, стиснутые зубы немели, небось воображение рвалось, как кинолента, на словах обнаженных, сокровенном полупшепоте, в темноте, под последнюю папироску, как это бывает.

Планы безумные перебирал. Надеялся еще на что-то? Женитьбой — на искорку ему дунуло. Конеч. И одновременно: случись что с Брянцевым — как ей, беспомощность: шаткий момент, единственный шанс. Простая логика, и холодок от нее. Все продумал, все рассчитал, все учел. Семь раз отмерил...

И на следующий день как раз стипендия. С ребятами немного выпили в общежитии и пошли домой.

Пришли, Брянцев говорит, посидев: пойду к ней схожу, не так поздно еще. (Она с подружкой комнату снимала.) Он — пошли, говорит, вместе в гости. Пожалуйста. Случай представляется: он сам предлогов искал вечером вдвоем прогуляться из дому; да тут еще снег сыплет. И специально пальто на вешалке в коридоре оставил, и шапку, только куртку и фуражку старую надел. Тепло, машет, закаляюсь. А март, и снежок.

Только вышли — погоди, говорит, папирсы забыл. Быстро вернулся, включил настольную лампу (окно на другую сторону, не видно, но верхний зажечь — по ответу заметить можно), чтоб в коридоре через щель дверную пробивалось, и комнату не замкнул, ключ изнутри оставил. Будто он дома — для хозяйки, предусматривая алиби.

И сунул в куртку, рука в кармане, припасенный обрезок стального стержня.

На улице сугробы, темно, пусто. И перед углом, где у высокого забора намело, тропка узкая в снегу, Брянцев первый шел — он его по темени и хряснул. Тот осесть — еще раз! Шапку сорвал — и упавшего еще два раза, наверняка. Отвалил его к забору, снег ногой закидал, и стержень в снег. (Голой рукой не брал, без отпечатков, в газету завернул, и руки в перчатках.) Ходом обратно. Газету скомкал — в уборную. Порошило — отряхнулся. Минуты три прошло, не дольше. Повстречается хозяйка или спросят — в уборную, скажет, выскакивал.

При расследовании прошел чисто. Никаких причин, ссор, выгоды. Видел последний, подтвердил. Из дому не выходил. Хозяйка подтвердила. Никаких улик и подозрений. Нервами он будь-будь обледал. Да что и в лице — друг все-таки, некоторые переживания уместны.

...Сошелся его расчет. В точности и тоньше. Девка очутилась при гробовом интересе. А он норовил

попадаться на глаза — хотя и остерегаясь. Пусть было ей уж куда не до дедуктивных выкладок — но ее-то и могла озарить истина, зарвись он увлечению. Кто б ей поверил, нет улик... все равно выдать себя недопустимо.

Предусмотренный вариант: знает от Брянцева, предлагает для выручки фиктивный брак. А там — тихой сапой обрабатывать. Семья, отец ребенку, опора, благодарность... Вероятно, получилось бы. Такие берут не мытьем, так катаньем.

Сложилось же для его желаний намного удачнее. Действительно, когда решаешься твердо любить любой ценой — судьба поворачивается навстречу.

Жестокое испытание обнаружилось, главная трудность. Любил — сильней законов божеских и людских. Подушку грыз и плакал — двадцатичетырехлетний мужик, который в двадцать старшим лейтенантом был и на фронте ротой командовал. И — прикосновение первое, поцелуй первый, первая ночь. Сознание отрывается. От касаний ее плавится, от наготы слеп.

А волю любви дать не смей! Себя теряй — помни! Поймет — гибель!

Кара и истязание. Превозмог.

(Ситуация: балансирование на проволоке. И так-то чужая любовь ей тяжка, и догадаться может, — и чтоб уверилась в покое за собственный обман.)

Месяцами; годами. Не скоро бросил беречься, раскрепостился: со временем, мол, полюбил так; и она уже привыкла...

Оттого еще и любил всю жизнь так сильно, что первый жар не изгорел, калился?..

Ладно, в заботливости мог не сдерживаться — на характер, склонный к порядку, спишетя: семья — значит, заботиться надо.

Но вот сомнение: таким макаром себя давить, ломать, — что хочешь задавить можно. Уж не медовый месяц, не первый годок, — столько напряжения по укоренившейся привычке постоянно, что и вправду незаметно для самого любви уже может не оказаться...

Но прожил. С любовью, и с тайной захороненной. Все же кремень... Кремень.

По сути — изверг, чего там... Убийца, и не просто... Друга — накануне свадьбы. Девушку любил — своей рукой обездолил. Ребенка — осиротил.

Но это — любил!.. Подумать — и жуть оказаться на ее месте... и не одна, наверно, замерла сладко, чтоб и ее кто настолько любил...

7

— Нет у меня ощущения свершившейся катастрофы. Странно: естественность и закономерность. Пережил заранее?.. Только не раскаянье. (Глупцы каются. Человек всегда поступает единственно возможным именно для него во всей совокупности данных обстоятельств образом. Кается — из иного положения, и будучи сам иным, изменчив. Кающийся неадекватен совершающему поступок: свидетельство изменения; и свидетельство забывчивости и непонимания человеческой природы, в первую очередь собственной: если есть хорошая память, развитое воображение и честность с собой — сознаешь абсолютную неизбежность прошлого.)

С собой не хитрю. Даже сейчас — я горжусь тем, что сделал: хотел — и смог! Самоутверждение?.. Тщеславие перед собой как зрителем?.. О Боже, — и наедине с собой, силясь быть честным, — насколько трудно, если вообще возможно, отделаться от роли, которую играешь перед собой же! Несовпаде-

ние личности с идеалом?.. „Оно“, „Я“, „СверхЯ“... Что надумано? Что истинно? Как отделить одно от другого? и возможно ли?.. Мы формируем себя на основе импульсов, эмоций, которые в свою очередь зависят обратной связью от образа мыслей и убеждений, — где определить сердцевину истины, вожаделенную точку верного отсчета? И существует ли она?

По здоровом размышлении я отвечал себе — нет. Нет. Лишь степени приближения к ней. Проще: до конца себя не познаешь, но можно достаточно глупо.

Почему я не покончил с собой? Незачем. Взвешено, отмерено, отрезано... Подбита черта. Что под ней? Восемь лет заключения и потеря всего в жизни (да хоть бы и самой жизни) — нет, недорогая цена за женитьбу на единственно любимой женщине и четверть века счастливой жизни с ней. Счастье... соответствие всех условий жизни твоим истинным потребностям... Я жаждал — и получил. Единственное: так ли? Если был счастлив и потерял все — за чем остался жить?..

Вот такая штука — с каждым серьезным поступком меняешься ты, и меняется мир для тебя. Поэтому ты никогда не получаешь именно то, чего добивался. В самом лучшем случае — получишь близкое (в собственном восприятии, разумеется, а не как нечто объективное). Но поскольку любовь, ценность духовная, субъективна, именно здесь цель менее всего оправдывает средства. Платишь дорого — можешь возненавидеть или разочароваться, добившись; платишь дешево — можешь охладеть... Добиваясь — перестаешь быть собой! Вплоть до парадоксального рассуждения: любить — желание обладания и одновременно желание ей счастья; но счастлив любящий; любовь редко взаимна — разлюби, пусть ломая себя, чтоб легче и вернее добиться

любви, — и исполнишь долг любящего: дашь ей счастье любви, причем овладеешь ею; да только, разлюбив, не пошлешь ли все к чертям за ненадобностью?.. Нет; задача не имеет решения.

Но если б только в этом было дело... Если б я мог сейчас с уверенностью сказать себе, что да, любил ее настолько, и отсюда все последующее...

Брянцев был блестящ. Умен, остер, обаятелен, красив. В молодости не понимаешь исключительности ближних. Для юнца знакомая красавица — просто симпатичная девчонка, гений сосед — просто способный человек, герой — просто не трус. Наживая долгий опыт, сознаешь им цену. Им и себе.

Он был легок. Я никогда не был легок. Может ли быть тяжелый человек счастливым? Почему нет. Но обычно счастливы легкие. Два человека — жизнь их одинакова: один полагает себя счастливым, а второй — несчастным. Претензии мешают? Характер, характер!..

Он был счастлив. Удачлив. Меня воспринимали при нем, не самого по себе. Причем — он меня в такое положение не ставил. Отнюдь — великодушен был, добр; благороден, черт возьми. Да если всем наделен и никакая конкуренция не опасна — чего ж не быть благородным. Все равно первый — да еще и благородный. Сильному просто быть добрым, его самолюбие лишь выигрывает. Он от этого еще больше на свету, а ты — в тени. А он и на тебя посветит — его не убудет.

И это — не заслуженно, не горбом, а — благодетельствован природой. Я занимался ночами — он слыл корифеем. Я был умнее — он блистал. Я был глубже — он вешал лапшу на уши. И все его любили — меня же принимали как его друга.

Мог ли я в глубине души не желать ему низведения с высот до надлежащего уровня — ниже моего:

и чем ниже, тем лучше!.. Зависть? Зависть. Даже — я желал его гибели. Даже — ненавидел. Несправедливо, несправедливо! ему быть таким, а мне таким! Его дружба мне льстила: я ненавидел и за то, что воспринимаю лестным его благоволение: что же, я ниже его? Почему, за что?

Но — другу — вряд ли я много сильнее желал ему бед, чем любой — ближнему. Редко ли люди, сочувствуя словами и лицом, да и поступками, и переживая искренне — в глубине души испытывают удовлетворение от неудач и несчастий ближнего: тем удачливее и значительнее воспринимают они собственное существование. Инстинкт самоутверждения?.. (Отчего мелькают иногда противоестественные мысли об убийстве самых родных людей? Фрейдизм, мазохизм... убогое сознание, глубоки его колодцы.)

Возможно, я просто низкий завистник. Элементарный подлец. Подлец с волей и крепкими нервами. И с фронта — с умением убить человека деловито и без истерик. А убил бы я его, не будь на фронте? Трудно ответить. В жизни каждое лыко в строку.

Как искренне он делился своими успехами! Как подкупающе, заразительно полагал, что я тоже должен радоваться его радостям! Откуда этот животный эгоцентризм жизнерадостных людей?

Мы познакомились одновременно, я полюбил — она уже влюбилась в него, конечно... я не подавал виду — я не имел шансов. Я любил — а он рассказывал мне, как продвигаются дела. И я поддакивал поощрительно!

Флюиды, говорят, флюиды... Чуть! Он бы умер на месте от одних моих флюидов — он здравствовал, и все шло ему в руки само. Он таскал девок — я любил один раз. Я становился как стеклянный от звука ее голоса — он с ней спал и передавал мне

подробности. Я встречал ее в институте — доверчивая девочка, ясное сияние, — и представлял, что они делают вдвоем и как делают, ее лицо и тело, и жил отдельно от себя, отмечая со стороны, что это я, и я живу.

Да я бы сжег этот институт, весь этот город со всеми обитателями, чтоб ничего этого не было и она любила меня! Чего мне было бояться? Я воевал и видел, сколько стоит человеческая жизнь. Жениться на любимой — что, меньше смысла, чем взять высоту или держать рубеж?

Я рассчитал правильно. Гарантий не было — но я получал максимальные шансы. Я сделал все что мог.

Но дальше... Убийство из ревности — старо как мир. Смягчающее обстоятельство. Кто не стремится устранить соперника... Во многие времена подобное числилось в порядке вещей. Но если б и сейчас это было в порядке вещей...

Когда я убил его — как-то сместилась система ценностей. Я продолжал ненавидеть его — за то, что она его все равно любила, все равно он был ее первым, все равно она, полуребенок, моя любимая, была от него беременна. И — мне было его и ее жаль. И — я чувствовал себя и здесь униженным: он вынудил убить друга в затылок, а сам никогда не поступил бы так! но сам никогда не попал бы и в подобное положение, удачливый красавец! А попал бы? проиграл бы благородно... Но от чего в силах отказаться — того не хотел по-настоящему.

Но вот что — я не торопился в том, ради чего убил, — и не мог объяснить себе причину этой неторопливости. Изменилось что-то, сдвинулось... Я наблюдал за ней — именно наблюдал; я знал один, каково ей, и следил с холодностью и удовольствием естествоиспытателя, что она предпримет. Злорадство? Месть за оскорбленное чувство?

Страх за свою шкуру, боязнь, что она догадается? Торможение реакций в результате стресса?..

Так или иначе — женитьба на ней уже не представлялась мне обязательной! Более того — времени мне вовсе не хотелось жениться на этой девочке, беременной от другого, не любящей меня и, в общем, не стоящей ни меня, ни всего, что я сделал! Еще более: мне представлялось, как славно, если б они поженились с Брянцевым, и я бы пил на их свадьбе, и у них родился ребенок, и так далее.

Короче — я воспринимал ее как чужую. Не как возделенную, ради обладания которой убил друга. На черта я все заварил, пытал я себя? Что за помрачение на меня сошло, что за сумасшествие? Порой доходило до того, что я мысленно молил Брянцева и ее о прощении.

Неужели я настолько ненавидел Брянцева и завидовал, что не ее любил и ревновал к нему, а его ревновал к еще большему счастью, чем он и так имел? Я отвечал себе: не может этого быть! Отвечал без уверенности...

Или — сладко лишь запретное? Удовлетворенное самолюбие успокаивается? Я и сейчас не могу толком разобраться... Однако — что-то сместилось во мне. Или в мире для меня. Или сам я сместился в мире. Что-то сместилось.

Я не допускаю, что перешел в иное качество лишь вследствие убийства. Я пробыл два года в пехоте на передовой — навидался смертей и убивал сам; опуская то уже, что я врач, а здесь и этот профессионализм играет роль.

Возможно, я отчасти ненавидел ее — виновницу убийства мною друга; подсознательно мучился сделанным — и настраивался против нее?..

В любом случае — прежняя любовь исчезла. Я пребывал в неожиданном для себя и диком состо-

янии: и в дикости обретал какое-то мазохистское удовлетворение.

И тут события приняли наилучший для меня оборот — наилучший для меня бывшего и совершенно ненужный для меня нынешнего. Она решила все скрыть и выйти за меня замуж.

Я почувствовал себя полновластным хозяином положения. Но и в то же время почувствовал себя жертвой — жертвой собственного воплощенного плана, который теперь диктовал мне мое прошлое, настоящее и будущее; я пытался противиться, бессильный. Теперь уже она вынуждала меня к действию. И неприязнь моя увеличивалась. Презрение! — предает память Брянцева, их любовь! пытается провести, обмануть меня! мелкая душа!..

Жалость, остатки внутренней привязанности, комплекс вины, просто физическое влечение — и отчуждение, брезгливость, злорадство, нежелание взвалить обузу, — я колебался. Себя я расценивал как отъявленного негодяя — не без известного удовольствия, но к ней относился свысока! Я переступил предел — происходящее словно отделилось стенкой аквариума. В редкие моменты эта стенка преодолевалась жалостью — когда отмечал подавляемое дрожание ее губ, удерживаемые на глазах слезы; но проходило быстро — я был трезв. (Итак, если играть словами — напротив, пьян до остекленения?)

Я стал рассеян; это приписывали гибели Брянцева. Однажды, когда я, очнувшись, ответил невпопад, был вопрос: „Ты что? Влюбился, что ли?“ Сжавшись от укола, я механически отыграл: „Да“. Пустяк — но я не мог отделаться от впечатления, что это явилось той точечкой, которая все завершила; перевесившей каплей...

Нет; главное — я знал, что такое настоящая усталость: она ложится на нервы, и делаешься без-

различен к самому-рассамому желанному. Надо пересилить себя — и выполнять намеченное. Это как второе дыхание. Желания возвращаются о-отдыхом и приведением к норме нервов из перенапряжения. Отказаться в состоянии изнеможения от разрешенного (изнеможение еще надо уметь определить, обычно самому оно представляется успокоением и трезвостью), когда чувства и разум услужливо доказывают нерациональность дальнейшей борьбы и никчемность результатов — это, собственно, и есть малодушие. Умение достигать — скорее, не умение добиваться желаемого, а умение заставлять себя добиваться представляющегося ненужным, но задуманного когда-то; а иначе серьезные дела и не делаются.

Начавши, кончай. Иначе для меня все теряло смысл. Это был долг перед собой уже. Больше: это было как заполнение пустого места, причем приготовленного, специально освобожденного, так сказать, места в собственной сущности. Трудно выразить, сформулировать — но так требовалось самим моим существованием.

Фактически я руководствовался чисто рассудочными доводами. Явился вывод и убеждение: я должен поступить так.

Я женился на ней.

Я женился на ней — ну, так обрел ли я желаемое?..

Еще и потому на работе за все хватался: меня никогда не тянуло домой. „Жил работой!..“ На работе я был сам собой, и вроде действительно неплохой хирург, и вот это терять действительно жаль: здесь все ясно, просто и по-человечески...

Дома... Забота, внимание... Если б она меня любила!.. все бы могло быть иначе... Но она тоже скрывала — свое. Она любила его. А в чем-то — ты победитель, Брянцев, чтоб ты сгорел, и чтоб я сго-

рел, и ничего тут не поделаешь. Здесь ты сильнее. Высшая справедливость?..

Но если б она меня любила... Тогда бы, быть может, и я бы мог ее полюбить... Трудная порода — однолюбы... Она — тебя. Я — ее, ту, до всего. Оба, как говорится, сразу выложили все отпущенные нам на жизнь запасы любви.

Я хотел любить ее. Да, понимал, ощущал, что стоит за ее безупречным поведением. Мы обрекли себя оба, и каждый тайно от другого, не признавать льда между нами — двойной преграды, а растопить ее можно только с двух сторон. Вот — примерная семейная жизнь. Что не жить? любви ни к кому, друг другу подходим, накрепко повязаны, и маска делается лицом... если бы! И лицо-то забылось, да не все в душе на заказ переделаешь. Можешь торжествовать из могилы, Брянцев, — она тебе верна, она тебя любит, я проиграл... чего еще?

Но как глупо и невероятно вышел конец. Как глупо!.. буквально чудится какая-то непреложность, но ведь ерунда это все, я не мистик, не неврастеник, не верю в рок... глупо... Ты достал меня...

В вашу первую ночь она подарила тебе колечко — серебряное недорогое колечко. Ты показывал его мне. Ты носил его в часовом кармашке.

Тем вечером я помнил о нем. Не следовало, чтоб его нашли на тебе — могли запросто докопаться до нее, — я его вытащил. Кинуть в снег? Скоро стает, вдруг найдут, — чепуха!! — но... В уборную? Зима, все замерзло, будет лежать, а если кто приметит... черт его знает... В щель пола сунуть? в комнате не было щелей, ковырять — еще обратят внимание на свежую. И, глупость, психопатия, но — слеп, безумен, любил тогда — где-то и сохранить хотелось. Так, говорят, и сыплются на мелочах. Не предусмотрел я заранее, значения не придал — а после уж в

мандраже был некотором, естественно, да и домой поживее вернуться требовалось. Отжал я ножом стальной уголок своего чемодана, забил его туда, и бумажки вслед забил, и некуда было ему деваться, никаких случайностей, а специально — в голову никому не придет.

...Дочку я любил, очень. Она очень похожа на мать... Она ничего не скрывала. Ничего не знала. Она любила меня. И я — единственную ее любил. Кого мне еще было любить? Наверно, любил в ней и ее мать, которую любить не мог... Не любил ли я и тебя в ней, Брянцев?.. Не любил ли и свою жертву? разве не любят жертв... какой-то извращенной, но сильной любовью...

Она вошла в комнату, и я увидел на ее руке это колечко.

Под моим взглядом она невольно отдернула руку. Потом растерянно показала: „Колечко...“

Я обернулся: глаза жены расширились: ужас истины пустил стремительный росток.

Потемнение опустилось на меня.

Как будто это она — нашла свое колечко, и теперь ее ничего здесь не держит, все было заблуждением, опечаткой, сном, она опять молода и сейчас уйдет, все поправила. Я взглянул на жену, постаревшую, словно прошедшие годы и грехи разом прочитались на ее лице, и понял, что эта моя жизнь — ошибка, я не на той женился, а надо жениться на дочери. И логически подумал, что могу это сделать, так как она мне, во-первых, не дочь, а во-вторых, меня любит. А следом подумал, что раз она нашла колечко, то теперь она уже не выйдет за меня замуж, и я теряю ее навсегда. И, значит, все, что я делал, было напрасно, и вся жизнь была напрасна... Очевидно, выражение моего лица вызвало у жены крик, и этот крик превратил догадку и озарение в свершившийся факт.

И все сразу, вдруг, стало до жути и абсолютно ясно.

Дочь ничего не понимала. Она стояла — уже вне моей жизни. „Уйди!“ — кощунственно закричал я, и она отступила испуганно, она, а не жена! повернулась и быстро вышла. Я ждал в отчаянии, что она подойдет вопреки сказанному и обнимет меня, и все будет хорошо, но она в сердцах, хлопнув, закрыла дверь, и я увидел в окно, как она вышла из подъезда и прошла по дорожке мимо кустов, и идет к углу, и, когда она свернула за угол, я понял, что все кончено.

Ощущение... прибегая к сравнениям — будто поезд пошел не по той стрелке, а все осталось там, на развилке. Я люблю дочь?.. иначе, чем раньше... не совсем как дочь... уж очень сильно похожа. Из жены же — теперь вынута для меня и та немногая суть, которая была. Смысла не осталось.

8

— „Хватило мужества... Жив человек в нем...“ Походит даже на истину — мог ведь избежать, наверное... Жена догадалась? Э, выкрутился бы: нервы, устал, то-се... мало ли чего наплести можно, разуверить человека в том, чего он и сам не желает: мало ли безумных ложных откровений подчас в мозгу выстреливает.

Нет же — попер в милицию! Совесть заела? душа груза не вынесла, потребность возникла страданием искупить? вот уж вряд ли... не тот человек!

Рассудить: чего добился? Жене — за что еще такое страдание, мало ли намучилась в жизни, — от него же. Дочь — уж ни в чем не виновата, ради нее хоть прежнее сохранить стоило. Больница, область лишились хорошего хирурга, еще не одну жизнь

спас бы, много добра принес. А вера в людей, наконец? эдак каждого черт те в чем подозревать начнешь.

Планида такая? по истине своей поступил? так что угодно оправдаешь, удобный взгляд. Избавляться подобной ценой, за счет других, от собственного душевного дискомфорта — тот же суперэгоизм. Никто так не беспощаден, не причиняет столько зла, как стремящийся превыше всего к приведению жизни в соответствие с некоей истиной и ставящие эту истину выше конкретного блага конкретных людей. Нет добра в такой честности. Мертвого не воротить — так искупи хоть посильным добром.

Нет, братец: взвалил — так уж тащи до конца. Ишь, ушлый: он о душе задумался, а другие по его милости страдай заново.

Одно ясно: такому — лишь свое желание в закон.

Самолюбие вознеслось, гордыня обуяла — снова презреть судьбу, поступить наперекор? Надоело все, ненужным стало — так уйди тихо, по-человечески, не руша жизни близким, — ну найди способ. Или — считал сделанное своеобразным подвигом, главным в своей жизни, — и свербило где-то, чтоб все узнали? ажнули, оценили решимость!.. — типичная горделивость преступника.

И получается, что такое признание — продолжение и повторение преступления; нет оправдания жестокости — по сути беспцельной.

А вероятнее — все проще, по-шкурному: боялся, что жена все равно сообщит — а за явку с повинной смягчат ему, учтут.

9

— Человек любит надеяться, что самое тяжелое — позади... Трудно сказать, что хуже: остаться без настоящего или остаться без прошлого. Но

мне — мне суждено было потерять прошлое и настоящее разом.

Господи, разве я не хотела, не пыталась полюбить его? Но он такой был... добропорядочный и мелкий, без изюминки и изъяна... весь от и до. Внутренне себе чувство — тем вернее не могла действительно чувствовать... Лучше б пил, бил!.. ах, тоже — лишь кажется...

Теперь... я должна ненавидеть — и не чувствую ненависти...

Брянцев, Брянцев... ох... так же далеко, как та, восемнадцатилетняя — я... Теперь я понимаю спокойно, никогда не было уверенности у меня, что он женится. Нет, не мне одной он обещал... не мне одной...

Если он действительно любил меня... Тогда он должен был бы быть рад, что жизнь моя шла счастливо. Счастливо?! Но поглядеть на других... Господи, прости мне мои кощунственные мысли.

Разве он не положил свою жизнь ради меня? Кто из них положил свою жизнь ради меня?.. Все спуталось... Он сделал это из-за меня! И узнав... это отталкивает, пугает... и притягивает меня в нем.

Он не понял... лучше б сказал, что все знает и женится из жалости!.. я могла бы полюбить... Сказать самой! но дочь так любила его; и он ее... я жалею...

Его слова... отрекался, прощался... не любовь ли подталкивала к решению? Отчаявшийся, опустошенный — не пытался ли в глубине души последним средством, фактически самоубийством, отказываясь от обладания — обрести мою любовь? Если так... Нас связывает большее, чем просто двадцать пять лет, прожитые вместе. Он всей жизнью пророс в меня насквозь, — сейчас, когда его нет, по боли я ощутила это. Я должна проклясть!.. но мужчины

поступали так испокон века... кому хватало мужества... Я ищу оправданий — как соучастница...

Можно любить преступника — не ничтожество. Я сопротивлялась признаваться себе... Я прожила жизнь с ним, моим любимым. И сейчас, полюбив, — должна потерять. Дочь... Единственное, в чем я уверена, что знаю определенно: она, она есть у меня. Опять: отказаться от любимого — ради дочери... любимой моей дочери, которую я боюсь возненавидеть.

10

— Нет правды выше верности. Чем еще сохранить себя самое среди всеразъедающих сомнений. Кем бы ни оказался человек — был один кров и хлеб. Но тот, кто убил твоего отца... тот, кто сам был отцом, — которого любила, которым гордилась...

Прислушайся к голосу крови: судить мать?.. где право! Но вся его жизнь — следствие любви! вся ее жизнь — следствие предательства! Каждый платит. А я? „за грехи отцов“... Когда любишь — ищешь свою вину. Я бы хотела, чтоб его не существовало вообще! и хочу принять и на себя ту тяжесть, что на нем. Я чувствую себя виноватой — в чем?.. разве можно разлюбить самых родных людей — что бы ни обнаружилось на их совести: они постигнуты не знанием — нутром; они те же для тебя!

И все-таки... стена, пролегла стена... за этой стеной они... он — преступный... жалость к нему? уважение? боль... он ближе мне, чем-то, чем она. Она — единственный родной человек, он — должен стать чужим! но в душе они смещаются с предназначенных разумом мест: он — ближе, она — дальше.

От чего бы ты ни отрекался — ты отрекаешься от себя. Но невозможно обрести себя, отрекаясь вторично. Мера верности — поступок, а не время. Он остался верен: она не должна жить с тем, кого знает как убийцу любимого; она не должна остаться с его безнаказанностью. Она! которая стыдилась родить меня без формальностей — от любимого! „незаконнорожденная...“, не упомянула мне об отце! Пусть же хоть сейчас сумеет быть верной; она должна ждать его, она должна остаться с ним. Не только ради него — ради себя; иначе что же от нее останется?

Мне трудно жить с ней, даже видеть... Я уеду отсюда... выйду замуж, стану ей помогать... Мы никогда больше не сможем быть втроем, это невозможно... Но с ней я не буду — ради него? скорее, может, ради нее же.

11

— Меньше всего руководствовался я снисхождением, „гуманизмом“. Будь моя воля — не жить ему. Это как человек. А как судья — что ж, закон. Рассуждая логически, житейски, не следовало ли бы вообще его не наказывать? Исправляться ему — некуда, так сказать. Исходи наш закон из десяти- или двадцатилетнего срока ненаказуемости за давность — так и случилось бы. Справедливо?

Конечно — повинная... Заяви хоть жена — суд не имел бы ни единой улики; хозяйка та умерла, дом снесен... абсолютно недоказуемо.

„Фактически — всей остальной жизнью своей он искупал совершенное преступление, являя и своим трудом, и своим поведением, без преувеличения сказать, пример для любого члена общества...“

Именно — здесь закавыка. Так у людей может составиться представление, что нет разницы между преступником и порядочным человеком. Убил — и живи дальше на благо ближних и собственное. Подрывается вера в целесообразность закона?.. гораздо хуже, закон — лишь отражение необходимости жизни; подрывается вера в необходимость быть человеком.

Но — с колечком, а!.. Конечно — он избавился от него на следующий же день. Такие делал один кустарь-ремесленник, старичок и сейчас жив, промышляет помаленьку. И дочь их — просто купила похожее! Он его и увидел.

НЕБО НАД ГОЛОВОЙ

Когда дело подходит к тридцати пяти, усилия — чтоб сохранить форму — начинают напоминать режим олимпийского чемпиона. Но поскольку вам за это не платят — раз вы не актриса и не манекенщица (и вам нужно работать, растить двоих детей и содержать дом в порядке) — стремление оставаться красивой женщиной приобретает ту подлинную глубину, искусственную замену которой спортсмены находят в условностях рекордов. Однако своеобразное бескорыстие вашего желания имеет последствиями результаты, ощутимые чисто конкретно. Вы не ревнуете своего мужа; напротив — он ревнует вас, — в той мере, в какой это необходимо, — если вы не дура. В парикмахерской вам, не исключено, сделают именно такую прическу, какую вы хотите, — при условии, что парикмахер мужчина, разумеется. В часы „пик“ мужчины хоть иногда помогают вам сесть в автобус, а начальство (опять же, конечно, мужчины) не слишком вам хамит — другим больше, во всяком случае. Дочки (а старшей ведь уже четырнадцать) обожают вас и стараются подражать, что совсем не плохо в наши времена, когда... где же крышка? ага, вот она; так. Тра-ля-ляля пу-рум...

Н-да, „наши времена“, „ваши времена“: стареем, матушка, стареем. Забавно: и не то что не хочется (кому ж хочется), и не то что грустно, — а вот не

понять до конца. Осознаешь себя точно так же, как в двадцать пять, и как в восемнадцать, и как в детстве, насколько я в состоянии помнить свое детство: ты — это ты, умная, хорошая, все понимающая, грешная иногда; а окружающий мир — ты понимаешь его, и он таков, каким ты его понимаешь; меняется понимание — меняется окружающий мир, но он все равно тебе понятен, и осознание системы этой — „ты — мир“ — в принципе неизменно, и все странное и скверное случится не с тобой, хотя ты стареешь и знаешь прекрасно, что именно с тобой — то все и приключится, порой уверен — и спокоен — приобретаешь мужество? теряешь остроту чувств? привычка, привычка к тому, о чем когда-то думал с ужасом; а вот внутренне до конца не осознаешь. Появляются морщины, болезни — сначала пугаешься и грустишь, потом — что ж, живут же люди, и ничего, ты еще не хуже всех; но иногда пронзит вдруг на краткое мгновение, что — все! это жизнь проходит! не будет иначе! и мертвящая тоска оледенения, и финишная ленточка ближе, а цвета-то она, сволочь, черного...

Тьфу, черт...

А пока — пусть глупо — чувствуешь себя девочкой. (Старушка в трамвае как-то обращается к двум подружкам своего возраста: „Выходим, девочки“. Я ощутила, как у меня щеки побледнели.) Ладно, с моей внешностью еще можно; на вид мне от силы тридцать — при ярком солнце, — а в тридцать у нас ведь — „девушки“ и „молодые люди“; весьма мило. И не то беда, что тридцатилетних мужиков воспринимают как мальчиков, а то, что они и сами себе часто мальчиками кажутся; анекдот получается: семнадцатилетние считают себя самостоятельными и всё могущими, а тридцатилетние — уже не считают. Но женщин подобное положение вещей, пожалуй, вполне бы устраивало — ая, когда дело

доходит до дела, вдруг вспоминают, что „девушка“ — начинающая стареть женщина, у которой и то уже чуть-чуть не так, и это слегка не эдак.

В семнадцать я полагала, что предел молодости — до двадцати одного. В двадцать один — до двадцати пяти. И так далее. Сейчас я хочу держаться до пятидесяти. Почему нет? Джина Лоллобриджида в микробикини на фотографии, где ей сорок четыре, выглядит... о ч-черт, опять лук подгорел! ф-ф, горячо! так, есть пятно...

„... Прости, что не поздравил тебя с восемнадцатилетием...“

Тр-реклый шпингалет! Чаду полно. Сюда бы и сунуть Лоллобриджида в ее купальнике. Последись за собой четыре часа в день, как же. За тобой последят.

Ну конечно, колготки готовы. И ведь хотела снять, так нет. Гадский стол, в который раз из-за него. Все, с полочки достаем новый, а этот — на помойку, дешевле обойдется. Ей-богу, выкину.

Приятно позволять себе такие пустяки. Сейчас на наши с Сенькой зарплаты, ну, плюс крошки халтуры, жить можно, чего там. Денег, правда, все равно никогда нет, но это уже закон природы; зато есть то, что на эти деньги можно купить: не то чтобы совсем все, но в пределах ушибленного скромностью разума.

Когда поженились-то мы с Сенькой на третьем курсе — ревела потихоньку из-за рваных капронов. Он принесет — так знала отлично, что на себе экономит, паршивец. Ладно, говорит, должен же я способствовать приличному виду хотя бы одной красивой женщины. О-ля-ля... Красивой, красивой... Была, вроде. Ах, мои сладкие, на одной красоте, это уже само собой, не только далеко не уедешь, но и

вообще разобьешься вдребезги, так, что костей не соберешь. Дадут тебе зеленый свет, а там — бац! шлагбаум. Не в красоте счастье, все давно знают, да только выводов не делают из того, что знают, так уж повелось, и примеров кругом — сколько угодно. Но если вы не дура и не сволочь... — хотя преуспевают, естественно, красивые недурь сволочи... Хм, таков мир. Впрочем, и я, вроде бы, — тьфу-тьфу — преуспеваю. Тоже сволочь? Нет, кажется.

Да и преуспевание — тоже... Горбом тянешь, гори оно все! И на работу — давка, и с работы — давка, и в очередях — давка, и директор — паразит, а не поддакнешь ему — выживет, и готовки эти обедов осточертели, и друзья эти Сенечкины вечно в доме топчутся, а мне убирай, Сенька рубашки и носки

„Не думай, я ни на что не надеюсь. Просто я счастлива, что где-то, очень далеко от меня, есть ты на свете“.

желает менять ежедневно — стирай, и давление мое проклятое, Ирка вечно капризничает, Танька хамит — четырнадцать, милый возраст, а Сенька раскатывает по командировкам, и остается только надеяться, что сей образцовый муж мне не изменяет.

Черта с два женился бы на мне Сенька, не будь я в девятнадцать такой, какой была.

Когда девушка взрослеет и входит во вкус своего положения, ей совершенно необходимо, чтобы мужики кругом складывались в штабеля. Она просто-таки все силы к этому прикладывает. А после начинает выбирать среди тех, кто остался стоять, при этом глядя в другую сторону. Не надо бы хорошим мужикам быть дураками, пусть даже так им на роду написано. Хотя если уж человек теряет голову, то не все ли равно, много в ней чего было или вообще ничего нет.

Сеньку я отбила у Лерки Станкевич, и очень быстро. Лерочка его доводила сценами ревности, а я всячески ему советовала на ней жениться. Сама я изображала пламенную влюбленность в Муратова, и, когда мы с Сенькой познакомились покороче, сделала его поверенным своих „тайн“. Тянуло Сеньку ко мне не больше, чем к любой другой смазливой девчонке; сделав пробный заход и решив, что здесь ему все равно не отколетса, он пустился со мной в откровенности. Мужчина находит порой наслаждение в откровенности с неглупой приятельницей, к которой его влечет и спать с которой он не надеется; а Сеньке только минуло двадцать.

Дошло, однако, до того, что я готовилась уверовать в дружбу между мужчиной и женщиной, когда б не тихая Сенькина ненависть к Муратову. О третьи лишние! — все счастливо влюбленные по чести должны соорудить вам благодарственный памятник, вроде как собаке Павлова.

Ну, а потом произошло то, что в конце концов должно было произойти, и все встало на свои места.

„Ты снилась мне сегодня. Это было счастье для меня. Я не могу написать все — ты оскорбишься. Но я ведь не виноват. Я никогда не был так счастлив. И знаю, что никогда этого не будет в жизни, отлично знаю. Не сердись. Мне все-таки трудно без тебя“.

На следующий день выглядел он спокойным, и, уж конечно, слегка небрежным, самодовольным и очень уверенным — пока, встретившись вечером, я не объявила ему, что случившееся — ужасная ошибка, прихоть настроения, и впредь я намерена хранить верность Муратову, коего и люблю.

Люди устроены настолько примитивно — тоскливо подчас становится. Два дня Сенька ходил

бледный и садился не в свои автобусы. На третий он превозносил, как чудо, то, что и следовало превозносить впредь, и больше носа не задирал, смертельно боясь меня потерять.

Год он приставал с просьбами о женитьбе. У мужчин загорится — будто на шиле сидят. Как пить дать, не дожидаться б мне Сенькиного предложения, знай он, сколько я мечтала выйти за него замуж. Но через год в этом возникла необходимость, и мы устроили свадьбу. Славный Муратов никак не мог взять в толк, почему его не пригласили, и страшно обиделся.

Дворец бракосочетания — это, конечно, кошмар, но невесте так никогда не кажется; в белом платье и фате я ощущала себя совершенно нереально. Больше всего я боялась, как бы в новых туфлях не поскользнуться на лестнице. И путались ленты, привязанные к букету. Единственный в жизни раз была тогда удлинненно-интеллигентной Сенькина физиономия. От волнения он никак не мог надеть мне на палец обручальное кольцо; пришлось самой. Весьма символично.

И денек стоял — второе июня шестьдесят пятого года. А нынче май восьмидесятого... Шуточки делов. Таким макаром еще пяток лет — и будем мы пить на Танькиной свадьбе.

„Меня не приняли в летное, но нет, я не утратил мечты стать офицером, через месяц с небольшим я еду в Красноярское радиотехническое училище войск ПВО страны. Не знаю, как у меня в дальнейшем сложится судьба, но если я буду офицером (а я им все-таки буду), я буду счастлив оттого, что и крупинка моего труда будет вложена в то, что небо над твоей головой всегда будет чистым“.

А там, глядишь, бац! — бабушкой-дедушкой заделаемся. Ну, не в сорок, так в сорок пять. Забавно...

За Танькой небось мальчишки бегают. Красивая девочка растет. У меня-то еще в детском саду поклонники завелись. А в шестом классе Беляев трагические письма писал. Димка Носик покупал мороженое — до ангины довел. А на выпускном вечере я танцевала только с Куявским, мы целовались в темном спортзале, руки у него были липкими от вина, и он наставил мне пятен на белое платье.

А с Сенькой все началось на первом курсе, когда мы ездили на пляж в Серебряный бор. Он единственный успел загореть и дурачился, развлекая всех, а лицо такое — взглянешь — и на душе светлей. У него и сейчас такое лицо. Разве чуть порезче стало. Но это лучше даже. Мужественный.

Как мы жили с ним студентами! Он говорит, что на отработках — и топает разгружать вагоны. Я ему котлетки жарю и говорю, что уже обедала, — сама на картошке сижу. А потом друг другу — сцены на нервах.

Сейчас бы, может, и рада картошку лопать, да талия ползет — диету не придумать... Гимнастика, бассейн... Больше семидесяти двух сантиметров — ни за какие блага. Поедем в августе на юг — и как я там, спрашивается, должна выглядеть? Сеньке опять девки

„Вот только сегодня вечером удалось уединиться в Ленинской комнате. Я только сейчас сменился с дежурства, стоял дневальным, как раз по очереди попал с субботы на воскресенье. Увы, так мало у меня сейчас времени. У меня жизнь и служба идут своим чередом, будни воинские, ничем примечательным не отличаются“.

будут глазки строить. Машину вести мне, конечно, придется. Сенька за рулем — это верблюд на лыжах. Через пять минут ровного шоссе он начинает самоуглубляться и норовит вмазать в первый встречный

„Вот уже три года я в училище. Не за горами уже самостоятельная служба, офицерские погоны. У меня другие интересы, занятия, все изменяется. Правильно устроена жизнь, конечно, в некоторой степени. Может, вся моя любовь просто призрак, может, она построена моими мечтами. Нет, это не так. Я любил, люблю и буду любить тебя. Я всегда и всюду буду благодарить тебя за то, что благодаря тебе я узнал настоящую любовь, которая вечна“.

грузовик. Когда защитит докторскую, ему лучше оборудовать место в багажнике — и он сохранней, и всем спокойнее.

Эдак он к Танькиной свадьбе профессором станет. И как студентам преподает — непонятно. Ирка через десять минут занятия с ученым палой ревет и бежит ко мне: это он объяснял ей задачи для третьего класса. Задачи, признаться, идиотские, но и сама она бестолковка. Ладно, пусть растет гуманитарием. Таньку я, признаться, больше люблю. И кажется, обе это чувствуют; скверно.

„Конечно, быть командиром подразделения сразу непросто. Места здесь красивые, лес, сопки. Но зимой очень холодно, недаром нам дают северный паек. Сколько времени прошло, целая жизнь. А началось все в девятом классе, когда наш класс ездил на картошку. В автобусе я от нечего делать стал разглядывать тебя. Потом стал думать о тебе и дома. Так все и началось... Моя лю-

Бовь к тебе была все сильней и сильней. Эх, жизнь...

Так, борщ, похоже, готов. Сейчас свистну Таньке — пора на стол накрывать, Сенька вот-вот явится. Похудел он у меня что-то в последнее время.

„Шесть лет, как я не видел тебя. Ты меня, конечно, и не помнишь, я ничего для тебя не могу значить. Я даже не писал тебе, зачем это. И все равно я любил тебя, и ты любила меня, и я целовал твои губы, я зарывался лицом в твои волосы, я клал голову тебе на колени, я гладил их, гладил твои руки и плечи, ты ничего этого не знала, ты была далеко, ты не думала об этом, это была не ты, но все равно это была ты, все равно! И это ты засыпала на моей груди, это ты прижималась ко мне и целовала мои глаза, это ты плакала, когда я уезжал, и обнимала меня на вокзалах, и это всегда будешь ты, ты, и никуда, никуда тебе от этого не деться!..“

Гроза прошла. Май, и земля зеленая. Радуга.

Под головокружительной ее аркой, среди вытянувшихся топольков, стоит крашеная под серебро пирамидка с красной звездой.

С фотографии, маленькой, несколько выцветшей уже, смотрит легко светловолосый юноша в военной тужурке.

лейтенант
Руслан Степанович
Полухин
1946—1969

Небо яснее, искры вспыхивают в мокрой траве, в металлических прутьях пирамидки.

А ВОТ ТЕ ШИШ!

Осенняя набережная курортного города.

- Приветствую!
- Виноват?..
- Багулин? Я не ошибся.
- Решительно не могу припомнить...
- Вы изменились меньше, чем я. Тридцать шестой, Москва, а?
- А-а!.. да-да... но все же?..
- А избушка под Тулой, зима?
- Так-так-так-так... ну же!

Багулин,

около 70 лет, хорошо сохранившийся, рослый, седина малозаметна в густых русых волосах. Одет тщательно, с учетом моды; манера держаться добродушно-покровительственная. Чувствуется, что человек этот себя уважает и собой доволен, к тому имея основания.

Арсентий,

того же возраста, но выглядит старше. Худощавый, нервный; некоторую неуверенность в себе прикрывает иронией и порывистой решительностью. Новая одежда топóрщится на нем, вызывая сходство с манекеном в провинциальном универмаге. Впечатление производит

неопределенное: не знаешь, чего ждать от такого человека.

Обозначим их для краткости просто Б. и А.

Чуть отодвинувшись, они оценивают друг друга.

А. Вот — встреча...

Б. Вот встреча! Через века, а!

А. Какими судьбами здесь?

Б. (*хозяйски поведя рукой*). Живу.

А. Здесь? Давно?

Б. Четвертый год. Вышел на отдых — и осел на берегу теплого моря.

А. (*завистливо вздыхает*). Королевский вариант. Хорошо обосновался? Как квартира?..

Б. (*с естественностью*). Купил дом. Сад. Аркадия, понимаешь, и идиллия!..

А. Мечта. Мм. Мечта. Большой?

Б. (*скромная улыбка*). Не слишком. Шестьдесят пять метров. Четыре комнаты, кухня, веранда. Но уютно, знаешь. Жизнь мечтал пожить в своем доме. Купил кресло-качалку! Вечером сядешь в нем на веранде, пледом накроешься, книжку возьмешь, цикады стрекочут, море шумит... Винцо домашнее свое — чистый виноград... Слушай! Едем ко мне! Мигом. Я на машине. Посидим... Ты-то как?

А. У тебя машина?

Б. Да вот же — синие „Жигули“. Ну, едем. Приглашаю. Мы с женой вдвоем, дочка в Киеве, сын в Ленинграде, попробуешь вино...

А. (*сглатывает, покачивает головой, смотрит на часы*). У меня самолет через три часа.

Б. Куда?

А. В Москву.

Б. Ты там?

А. Да...

Б. Так и прожил?

А. Да...

Б. И откуда сейчас?

А. Из Ставрополя. Впереди гроза, вот посадили, торчим здесь.

Б. Э, так еще сто раз вылет отложат. Едем! От меня позвоним в аэропорт, справимся, — телефон я себе поставил, я тут у них как-никак депутат горсовета.

А. *(мнется)*. Не могу... У меня там встреча назначена...

Б. *(шутливо грозит)*. Небось какая-нибудь дама?.. Ох ты старый жук!..

А. *(смущенно)*. Что ты, ну... Может, если хочешь, там посидим в ресторане, а?

Б. Зря. Точно не можешь?

А. *(вздыхает)*. Точно.

Б. *(напористо)*. Ну!

А. Нет... надо в аэропорт.

Машину Багулин ведет элегантно и со вкусом — он все делает элегантно и со вкусом. На лице Арсентия удовольствие от комфорта, в позе некоторая напряженность.

Б. Работаешь еще?

А. На пенсии...

Б. Какая?

А. Девяносто четыре.

Б. Что ж... Кем ушел?

А. Инженером.

Б. Старшим?

А. Просто инженером.

Б. *(сочувствует со своего высока, уяснив социальный статус старого знакомого)*. Эх, Сенька!..

Как был ты добрым с юных лет — так небось и ехали всю жизнь на твоём горбу, кому не лень. Да... Семья есть?

А. Нет, знаешь.

Б. Женат хоть был?

А. Да как-то все так...

Б. Да. Ясно... Сейчас-то — что делал в Ставрополе?

А. С похорон...

Б. Вот как... Кто?..

А. Сестра.

Б. *(соболезнуя барстванным лицом)*. Годы наши... Крепись, старина. Мы мужчины, дело такое...

А. *(спокоен)*. Да. Конечно.

Полупустой по дневному времени ресторан, жизнь аэропорта за стеклянной стеной. Столик в углу; распоряжается за ним, безусловно, Багулин.

Б. Не „Реми Мартен“, но коньячок сносный.

А. *(причмокивает)*. Напиток!.. Дорог, слушай, дьявол.

Б. *(полагая, что уловил смысл)*. Ты — мой гость сегодня. Да, да, дискуссия закрыта.

А. *(кротко подчиняясь)*. Завидую людям, умеющим жить. Всегда завидовал.

Б. *(принимая на свой счет должное; с самодовольством как нормой поведения)*. Умение зависит от тебя самого. Вот ты так и остался в Москве. Зачем? Чего всю жизнь цеплялся? Вот я — подался на Восток. Надо было решиться? — надо. Не просто? — ничего страшного. Результат? — налицо. Кандидатская? — пожалуйста. Докторская? — просим. Директор института? — будьте любезны. Трудом? — трудом. Но без этого дико-столичного суетливого напряжения и дворцовой грызни.

А. Я всегда знал, что ты развернешься в жизни. Не сомневался... Ты всегда умел поступать по-крупному. Не боялся резко класть руля... Не всем это дано. Я рад, что ты добился многого. Состоялся. Ты и должен был.

Б. (*учит*). А чего, чего бояться? Осмотрелся, оценил — и давай!

А. (*прислушиваясь к трансляции объявления рейса на Гамбург*). За границей, вероятно, бывать приходилось...

Б. (*небрежно*). Случалось. Англия, Индия, Алжир. Работа, конечно, график жесткий, но присутствовали, прямо скажем, возможности и для удовлетворения любопытства. Такова логика — не боишься медвежьих углов — так видишь мир.

А. (*он уже под хмельком*). Помню давние разговоры. Помнишь!.. Да! Братъ судьбу за глотку. Старость... гм... вторая молодость... Молодец. Завидую. Прожил.

Б. (*великодушно*). Ну, и у меня не совсем все по планам выходило. Жизнь, как известно, вносит коррективы.

А. (*с мгновенным проблеском глаз*). Это точно. Вносят.

Б. Но ты на жизнь не вали! Ты голова был, спокойный, дотошный, что я, не помню! Тогда еще говорили: не будь лежачим камнем, умей добиваться!.. Эх, журавеле... журавелов в небе.

Беседа приобретает некоторую бессвязность, которую можно отнести на счет алкоголя. Каждый следует скорее мыслям собственным, чем отвечая собеседнику. Впрочем, такой стиль позволяет яснее понять их настроения.

А. Пиджак у тебя шикарный.

- Б. Лайка. У нас — четыреста рублей. Дочь из ГДР привезла.
- А. Это она — в Киеве?
- Б. Преподает в университете.
- А. А внуки?..
- Б. Двое.
- А. У нее дружная семья. Да?
- Б. (*крохотная пауза*). Хорошая семья.
- А. Это замечательно.
- Б. А у тебя?
- А. А у меня? Да. А у меня — я. Холостяк. Я говорил, да?
- Б. Ах-х, гуляка!
- А. (*горестно*). Я не гуляка. Я — так... я — чижик... Вот у тебя было... и семья... а я старый неудачник!..
- Б. Думать надо! Бороться надо! (*Неискренне обнадёживаят.*) Может, еще женишься?
- А. У тебя и сын в Ленинграде...
- Б. (*с теплотой*). Год назад Горный институт кончил. Сейчас в Метрострое, к Новому году вот премию получил. Собирается в будущем году в аспирантуру.
- А. Ты — победитель, да?
- Б. Гм. Бр. А что ж.
- А. Да! Вот... Слушай, а зачем ты здесь?
- Б. (*похлопывает его по плечу*). На второй круг пошли. Рассказывал же. Пошли трения в институте, мне надоело... горите вы все, думаю. Жалость и презрение: старички, сосущие проценты с прошлого. Хромает такой задохлик по институту, восемь месяцев из двенадцати помирает и оклемавается, что и знал — перезабыл... грех один... Нет! — красиво и вовремя. Людям не мешать и самому в удовольствие пожить. Доктор я? — доктор. Директор? — директор. Награды

имею? — имею. Право на отдых заслужил? — горбom заработал. Живу хорошо? — как бог в отставке. Пенсии двести, и сбережений на мой век хватит, дом в саду и машина в гараже.

А. И качалка на веранде.

Б. Да.

А. И цикады стрекочут.

Б. Стрекохут, стервы.

А. И запах магнолий. И море шумит.

Б. *(возможно, подозревая иронию, но не желая допускать подобной мысли)*. Ах, старина... Вот сидим мы с тобой сейчас... Неважно это все... Время все уравниет... Как подумаешь иногда — а зачем оно все было... зачем ломался, уродовался... Может, ты-то правильной жил... Спокойно...

А. Что было — всегда с тобой. Есть такая гипотеза — живешь всегда во всех своих временах.

Б. *(абсолютно согласный)*. Полагаешь?

А. Ты жизнью прожитой доволен?

Б. Да.

А. Вот.

Б. *(утешает)*. Не надо ни о чем жалеть!..

А. Сейчас посмотрим.

Б. Что?

А. *(Бледнеет. Смотрит ему в глаза долгим трезвым взглядом. Тишина буквально материализуется до синевы и звона. Странное жутковатое ощущение возникает.словно безумием пахнуло.)* Ты — помнишь — двенадцатое — января — тридцать — шестого — года?

Б. *(слегка замороженно)*. Нет...

А. *(гипнотическим голосом)*. Угол Мира и Демущкина. Пятый этаж. Комната.

Б. Ф-фу, Господи! Ну конечно! Как ее звали-то... Да Зинка! Акоюн, Чурип!..

- А. А вечер двенадцатого января? Зима, снег, патефон, Лещенко.
- Б. А что тогда такое было-то?
- А. Ты — в сером костюме. Акоюн принес коньяк. Елка. Танцевали и уронили елку. Она стояла в ведре с водой, ведро опрокинулось, воду подтирали.
- Б. Смутно... Черт его знает... Нет, наверное... Допустим. А что?
- А. Ты не помнишь, что было тогда?
- Б. *(в недоумении от его тона)*. Да нет же... А что?
- А. Совсем-совсем не помнишь?
- Б. *(чистосердечно)*. Клянусь — нет.
- А. Размолвочка вышла...
- Б. *(со смехом)*. Какая даль, Боже мой!.. Не подрались?
- А. *(мрачно)*. Куда там... мне с тобой. Да и твое обаяние... все симпатии были на твоей стороне. Ты всегда умел — выставить недруга ослом и мерзавцем.
- Б. Дружи-ище! Что за воспоминания! Клянусь — ничего не помню! Ну хочешь — хоть не знаю за что, — попрошу сейчас у тебя прощения? Ну — хочешь? Кстати — в чем было дело-то?..
- А. *(с театральной торжественностью)*. Поздно.
- Б. Верно!..
- А. Поздно. *(Вертит рюмку, опускает глаза.)* Ты — ты не помнишь... Что я для тебя... оскорбление походя, право победителя... Были времена — я должен был бы убить тебя или застрелиться. А ныне — ничего, глотаем и утираемся...
- Б. *(холодно)*. Ты, похоже, не умеешь пить. Никогда, припоминаю, не отличался.
- А. С тех пор я многое умею. Будь спок. *(Наливает.)*
- Б. *(отчужденно)*. Твое здоровье.
- А. Твое понадобится тебе больше.

- Б. Чувствую, нам лучше расстаться сейчас. *(Делает движение, чтобы встать.)*
- А. *(удерживает жестом)*. Прослушайте десятиминутную информацию. Так ты не помнишь? Начисто? Я так и подозревал. Ладно... *(Откидывается на стуле, глубоко переводит дыхание, закуривает. На лице его появляется улыбка, которая в сочетании с угрюмым выражением придает ему неожиданную жесткость, даже властность.)* Начнем. Ты помнишь Ведерникова, не правда ли?
- Б. Слава Богу. Естественно. Был у него несколько раз на приеме в Москве.
- А. Знаю. *(Неожиданно показывает Багулину фирменную этикетку на изнанке галстука. Этикетку на внутреннем кармане пиджака.)* Правится?
- Б. Англия... то что надо.
- А. На инженерскую пенсию, *мм?* Уда-ачник... А фамилия Забродин тебе говорит что-нибудь? Из аппарата референтов Ведерникова?
- Б. Слышал, похоже...
- А. Прошу *(протягивает паспорт)*.
- Б. *(озадачен)*. Не понимаю...
- А. Я сменил фамилию перед войной. Взял фамилию жены. По некоторым обстоятельствам.
- Б. *(еще не осознал)*. Ты-ы?!
- А. К вашим услугам. Ведерников два года как помер. Ушел и я. У новой метлы свой аппарат.
- Б. Ты — Забродин?!
- А. Осознал, похоже. Далее. Улавливаешь, нет? Ведерников тебя не слишком жаловал, а?
- Б. Сволочь был первостатейная.
- А. *(укоризненно)*. К чему категоричность. Деловые отношения!.. У такого человека всегда аппарат — своего рода фильтр-обоганитель между ним и

сферой его деятельности. А в аппарате тоже люди. Большинство пружин ты, естественно, не знал. А я не главный был винтик, но — в центральном механизме.

Вникаешь?

Когда в сорок восьмом году ты не получил комбинат, а прислали Гринько — это были просто три строки в докладной записке Ведерникову. Как и кем составляются записки, ты общее представление имеешь. А Гринько был, в общем, здорово нужен на Свердловск! Но — ма-аленький доворотик в начальной стадии движения. Ты ведь прицеливался тогда на комбинат — а он был фактически у тебя в кармане уже.

Б. *(ошарашенно и недоверчиво)*. Ты... ерунду ты городишь!..

А. Хорошенькая ерунда! Гринько принял комбинат, ты стал замом, и после первого же квартала он свалил на тебя все шишки — он-то новый, а ты сидел уже два с половиной года. И тебя удвинули в Кемерово, где ты абсолютно правильно сориентировался, перешел в КТБ и занялся наукой.

Б. *(говорить ему, в общем, нечего)*. Та-ак...

А. *(в тон ему)*. Та-ак... И написал кандидатскую по расчетам нагрузки кабелей, и ВАК промаршировал ее два с половиной года, та-ак?

Б. Ну...

А. Тпру!.. И за это время Плотников защитил в Москве свою диссертацию: фактически твой метод с расширенным применением. И его заявка была признана оригинальной, и ты остался даже без приоритета, а тема эта стала плотниковской, и он сделался на ней членкором! Как тормозится диссертация в ВАКе, тебе, надеюсь, не нужно долго объяснять. Что Плотников работает на Ведерникова, ты тоже если и не знал, то мог догадывать-

ся. А кто приложил руку, чтоб ты не проскользнул? Пра-авильно...

Б. Слушай... Погоди... Слушай!.. *(махнет рукой протестующе, как бы пытаясь задержать.)*

А. *(с лицемерной печалью)*. Мне очень жаль, что ты не помнишь то двенадцатое января на Демущкина. *(Стучает ладонью по столу, начальственно и уверенно.)* Ты защитился, и как раз пошло расширение. И твое КТБ логично должно бы было отпочковаться и расшириться в институт. А вместо этого был создан однопрофильный институт в Омске! Ай-яй-яй, какая досада, а? И сел на него Головин! И сейчас Головин — в Министерстве! Ведерников? А что ему: „Доложить!“ Естественно — доложил. Оч-чень, кстати, он мою память ценил. И благодаря моей памяти Каплин не взял тебя в Челябинск. А Плотников за это время стал доктором и получил Государственную! Так?

Б. Ну... *(совершенно смят, растерян и потерян.)*

А. Щербину помнишь?

Б. Зав. по кадрам?

А. Именно. Двоюродная сестра моей жены была его женой. Понял?

Б. Вот ка-ак...

А. И ты опять крутнулся, и перебрался в Красноярск, и скромно сел на отдел — отдел! Отдаю тебе должное — перспективный отдел, точно рассчитал. И защитил докторскую ты только в шестидесятом году — а был тебе уже пятьдесят один, и перспективным ты быть потихоньку переставал. И ВАК продержал твою докторскую еще четыре года, и когда ты в шестьдесят шестом получил институт — это был потолок. Потолок!

Б. *(с выпущенным воздухом)*. Во-он оно что...

А. В шестьдесят восьмом тебе представился последний шанс, помнишь? Симпозиум в Риме через

доклад в Москве, опять же через Ведерникова; определение основного направления дальнейших работ. И ты не поехал. Поехал Сеницын. И кончилось тем, что Сеницын тебя съел. Вот и вся твоя карьера.

Б. (тихо). Я всегда чувствовал... Я всегда предполагал... Чья-то рука...

А. Верно чувствовал. Продолжаю. Раздел мелочей быта. Только, прошу, без эксцессов. Ну — когда ты еще такое узнаешь, а? Гамбургский счет. Мне, видишь ли, немного обидно, что ты совсем забыл тот вечер двенадцатого января.

Да. Мне всегда нравилось на тебя смотреть: такой красивый, уверенный, такой любимый женщинами. Рога очень тебе идут. Вообще, когда жена на двенадцать лет моложе — это чревато, ты не находишь?

Б. (тихо, наливаясь). Сотру, мразь!..

А. (холодно). Сначала имеет смысл получить информацию, нет? Итак: пятьдесят пятый год, и она одна едет на курорт, Крым, ах, прелесть!.. Ты на что рассчитывал, юга не знаешь? И без меня обошлось бы. Но — можешь запомнить адресок: Москва, Воронцов проезд, двенадцать, сорок семь. Гонторов Алексей Семенович. Можешь процитировать своей супруге и насладиться ее реакцией. Это, видишь ли, мой старый знакомец, профессиональный, я бы сказал, бабник. Жизнь на это дело положил! После него ей с тобой в постели ну никак не могло быть интересно. Ты же в это время утрясал в Москве собственные дела. Ну, я и спросил как-то по телефону Будникова, где семейство твое. А Леша — Гонторов — как раз в отпуск ехал. Я и порекомендовал ему, с присовокуплением личной просьбы.

Б. Ложь, бред, ахинея!!

- А. Не думаю... Леше нет надобности хвастать... Да он и письма мне показывал... Полюбопытствуй, заявись к нему. Да и поройся получше в памяти — как она вела себя с тобой первое время после того отпуска, — поймешь. Ты ж слеп и самоуверен, как все супермены.
- Б. *(мотая головой)*. Вранье! Просто дохнешь от зависти, старый хрыч, перст без подпорки!
- А. *(иронично)*. Я?.. Не смейся. Я почти прадедушка. Четверо внуков. Какая зависть?
- Б. *(упрямо цепляясь)*. Все врешь. Нет никого и ничего у тебя! И не было!..
- А. *(издевательски)*. Прошу в гости. Приму в приличной квартире, те же шестьдесят метров, что у тебя. Дача — сносная, хотя и не в Кунцеве, все удобства. Еще что? Машина. Не люблю тупорылых „фиатов“. Серая „Волга“, скромно и со вкусом. Не веришь? *(С наслаждением, медленно, вынимает из внутреннего кармана роскошный бумажник, из него — пачку фотографий и водительские права.)* Прошу.
- Б. *(неохотно борется с недоверием и любопытством. Смотрит.)* Что ж. Поздравляю. Что еще имеете сообщить?
- А. Не вспомнил двенадцатое января?
- Б. *(взрываясь)*. Нет!! Будь оно проклято! Кровавое двенадцатое января *(с истерическим смешком)*.
- А. *(светским тоном)*. Напоследок — пара милых пустяков. Дочь твоя кафедру в Киеве не получила и вряд ли получит. Колесницкому она, видишь ли, не нравится. Наберись нахальства — позвони ему, спроси, не поступала ли ему информация из Москвы. Колесницкий подчинен Семенову, а Семенов дружен со Щербиной. Крайне просто.
- Б. Все?
- А. С аспирантурой твоего наследника, куда он уже раз не прошел, вариант аналогичный.

Б. Все?

А. И логическое завершение. Сиди мужественнее, экс-мужчина. Нахожу уместным сейчас двум врагам, сидящим лицом к лицу и подводящим итоги, выпить за здоровье друг друга. *(Пьет.)* А здоровье у тебя, милый мой, ни к черту *(его начинает разбирать смех)*. Ха-ха-ха! Удачник! Ха-ха-ха!

Б. *(уничтоженный, скрывая тревогу)*. Ну?

А. *(бессердечно)*. Ха-ха-ха! У тебя язва, да? Ха-ха-ха! Ох, прости! Ха-ха!.. *(Утирает слезы.)* У тебя рак, любезный. Рак. И жена это знает. И дети. И если ты найдешь способ заглянуть в свою карточку, тоже узнаешь. И если просто перестанешь прятать от правды голову под крыло, то припомнишь все симптомы и сам поймешь.

Б. Откуда ты знаешь?

А. Разве я не могу по-хорошему поинтересоваться у врача здоровьем старого друга, дабы, скажем, облегчить его страдания дефицитным лекарством из Москвы?

Теперь — все.

Да. Объяснение.

Я-то, видишь ли, хорошо запомнил вечер двенадцатого января тридцать шестого года. Это не прощается. Жизнь с плевком твоим в душе прожил. Вот и разделал тебя под орех. Наилучшим способом.

А сейчас — позвонил, узнал в горисполкоме твой день и часы приемные, специально прилетел. Ну, отдохнул заодно пару дней — можешь справиться в „Приморской“ о моем счете. И встретил тебя — как хотел, нечаянно. Выслушал сначала твою собственную версию счастливой жизни. Ха-ха-ха! Удачник... Приехал пенсионер доживать старость в домик с садиком, так и тут скоро скапсуется.

Б. Да что хоть было в тот чертов вечер?!

А. Вот вспоминай и мучься.

Б. *(последняя вспышка сил)*. А меня ведь еще хватит на то, чтобы сейчас избить тебя.

А. Фу. Несolidно. Два старых человека. Меня ведь хватит еще на то, чтобы отравить тебе последний год существования. Излишки площади, излишки участка, заявление в милицию об избиении, письмо из Москвы — и никто тебя здесь не защитит. Все. Свободен.

Б. *(не находит ничего крепче театральной формулы)*. Будь ты проклят.

А. *(ласково и недобро)*. Не волнуйся. А то еще вмажешься куда на своей жестянке, ГАИ — а ты пил, откупаться, ремонт...

Некоторое время молча, неподвижно смотрят друг на друга.

Причем сейчас

Багулин

— старик за семьдесят, очень усталый, одетый со смешной и жалкой претензией.

Арсентий

— собранный, жестокий, полный того, что принято называть нервной энергией. Строен, худощав, дорогие вещи сидят на нем свободно и небрежно.

Багулин поднимается и уходит, и хотя идет он сравнительно нормальной походкой, но кажется, что он горбится и шаркает ногами.

Уже темно. За стеклянной стеной в густой сини — мигающие огни самолетов. Зажигается свет.

Арсентий смотрит вслед Багулину, достает носовой платок, оттирает лицо и шею — и словно это был фокус с волшебным платком — неуловимо преобразается в того старика, каким был в начале встречи.

А. *(внимательно оглядывает стол, считает в уме, достает бумажник, считает деньги. Облегченно).* Хватает. Так и думал. Придется ехать общим. Ладно, меньше двух суток... *(Говорит с собой негромко и спокойно, как человек, давно привыкший к одиночеству.)* Вот уж поистине — старческое безделье и сарказм... Но крепко я его придавил. Крепко... Всему вроде поверил, а!.. А что — я весной месяц этим развлекался: все сходится... людей половина уже перемерла, — и при желании не опровергнет. С женой даже если — Лешка подтвердит... нет-ст, психологически я тебя прищучил, Багулин. И диагнозу своему ты теперь до конца никогда не поверишь... нехай тебя покрючит. *(Закуривает, кашляет, разгоняет дым рукой.)* Кхе! Кх-хе!.. Да. А ведь — боялся я тебя всегда, Багулин. И сейчас — тоже... — побаиваюсь. Ты — сильней... крупней, так сказать. И ничего — ничего мне было с тобой не сделать. Не убивать же, в самом деле.

Вот — сыграл наверняка. Без малейшего риска, друг мой. И разрушил изрядно всю твою жизнь, не правда ли? Не более чем сменой точки зрения.

Смешная жизнь — уничтожается сменой точки отсчета, а!..

А ведь даже пощечину дать тебе не посмел... Так и прожил с фигой в кармане. И под конец эту фигу показал. Ничтожество... А ты — да, так или иначе ты величина. Или — мнимая величина, если я тебя — так?

Но ты не помнишь... Что же — тот вечер в итоге обошелся тебе дорого. Вспоминай! *(Хитикает.)* Это было не двенадцатого января, а шестого марта, ты можешь вспоминать долго!..

Ох, паспорт менять обратно... Ну вот же засела заноза у старого обалдуя! Десять рублей... а пенсия двадцать четвертого. Ну... не помирать же под чужой фамилией. Поиздержался я, поиздержался... У Лешки одолжу, посмеемся в субботу над этой комедией!.. *(Проходящей официантке.)* Счет, пожалуйста.

ПОПРАВКИ К ЗАДАЧАМ

Августовское солнце грело приятно. Ляства уже набирала желтизну. Маршал дремал на скамеечке. Он услышал шаги и открыл глаза. Генерал с молодым усталым лицом стоял перед ним. В первые моменты перехода к бодрствованию маршал смотрел с неясным чувством. Старческая водича пояснела в его глазах. Генерал был в форме того, военного, образца. „Забавно“, — маршал понял, улыбнувшись: это он сам стоял перед собой и ожидал, возможно, указаний.

— Ну, как командуется? — спросил он.

— Трудно, товарищ маршал, — ответил генерал, поведя подбородком, и тоже улыбнулся.

— Трудно... — повторил маршал. Третью веку назад, подтянутый в безукоризненно сидящей форме, он был хорош... — А иначе и не должно.

Пологий склон переходил в лес на высотах. Его наблюдательный пункт находился в сотне метров. НП был такой, как он любил: основательный блиндаж накатов в шесть и рядом вышка, пристроенная к высокой сосне, маскируемая ветвями. Маршал пришел в определенно приятное расположение духа.

Генерал достал портсигар.

— Кури, — разрешил маршал. — „Казбек“? Правильно, — одобрил. — Садись, не стой. Это мне

перед тобой теперь стоять надо, — пошутил он и вздохнул.

Тихо было. Спокойно. Даже птички пели.

— Волнуешься?

— Гм... Да как вам сказать, — затруднился генерал.

— Главное что, — приступил маршал и задумался... Рядом сидящий, в значимости энергии главных дел жизни, в нерешенности тревог, ощущался им по-сыновнему близким, и было в этой приязни нечто приличное, и зависть была, и снисходительное сожаление. Явился вот, поправок небось ждет, замечаний... — Главное — тебе надо контрудар выдержать, не пуская резервы. Заставить их израсходовать на тебя все, что имеют. Иначе — хана тебе. Прорвут. Чем это пахнет, ясно?

— Ясно...

— Иначе срыв всей операции, а тебя разрежут и перемелют. Сейчас от твоей армии все зависит. Успех двух фронтов зависит от тебя.

Генерал пошевелил блестящим сапогом. Рука с папиросой отдыхала на колене, обтянутом галифе.

Маршал развивал мысль. Знание и победы утратили абсолют, — томление списанных ошибок овладело им; анализ был выверен; он смотрел на генерала с надеждой и беспокойством.

— А... стиль руководства? — спросил генерал.

Маршал сказал:

— Над собой ты волю чувствуешь постоянно, и под тобой должны. Одного успокоить, довести до него, что все развивается нормально. На другого — страху нагнать, чтоб и в мыслях у него не осталось не выполнить задачу. Тут уж актером

иногда надо быть!.. — Он глянул и рассмеялся. —
Эть, как я тебя учить стал, а?..

— Ничего, — рассмеялся и генерал. — Все верно! А в деталях? — спросил он.

— Да у тебя лично вроде так, — сказал маршал недовольно, добросовестно сверяясь в памятью. — Только, — покрутил пальцами...

— Общей достоверности не хватает?

— Вот-вот, — поморгал, подумал. — Ну, давай, — напутствовал. — Командуй! — И остался на своей скамеечке.

Поковырял палкой лесную землю, сухую, соленую.

Растеснил воздух нежеванный механический звук мегафона:

— Все по местам! Перерыв окончен!

На съемочной площадке приняла ход деловитая многосложная катавасия.

Генерал подошел к режиссёру.

— Что, Кутузов? — спросил режиссер и изломил рот, нарушив линию усов.

— Получил краткое наставление по управлению армией в условиях мобильной обороны, — сообщил генерал.

Режиссер крикнул, махнул рукой и наставил мегафон:

— Свет! Десятки! Пиротехникам приготовиться!!

Генерал со свитой полез на вышку. Звуковики маневрировали своими журавлями; осветители расставляли провода; джинсовые киноадыютанты сновали, художник требовал, монтажники огрызались, статисты дожевывали бутерброды и поправляли каски; запахло горячей жостью, резиной, вазелином, озоном, тальком, лежалым тряпьем; опе-

ратор взмывал, примериваясь. Режиссер заступал за предел напряжения не раз до команды: „Внимание! Мотор!“, пока щелчок хлопущки не отсек непомерный черновик от чистой работы камеры.

Переводя дух, потный, он закурил. Сцена шла верно. Картина двигалась тяжело. У него болело сердце. Он боялся инфаркта.

Черная „Чайка“ маячила за деревьями. В перерыве маршал вступил с объяснениями. Маршал, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но передвижение техники в этом районе и направлении выглядит явно бессмысленным, а пиротехнические эффекты вопиюще не соответствуют действительности. Режиссер, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но если привести натуру в копию действительности, то на экране ничего не останется от этой самой действительности.

— Все делается единственно верным образом. И благодаря вам тоже, — любезность иссякла; прозвучало двусмысленно. Он отошел в осатанении от консультанта.

Недоказуемость истины бесила его.

Он отвечал головой за каждый кадр. Это была его главная картина. Он боялся инфаркта.

Маршал мешал как мог. Он стал злом привычным.

Генерал перегнулся с вышки.

— Ви-ид отсюда, — поделился он.

Тяготимый неисчислимыми условиями, — дубль! — назначил режиссер, желая гарантии, терзаясь потребностью идеального совпадения кадра с постигнутой им истиной.

„Дубль...“ — хмыкнул маршал.

Ему не было нужды лезть на вышку, чтобы от-

четливо увидеть картину сражения. Он знал ясно, как за тем увалом, на невидимом отсюда поле, заглатывая паленый воздух, артиллеристы бьют по безостановочно и ровно подминающим встречное пространство танкам, как сводит на трясущихся рукоятках руки пулеметчиков, как сближает прицел вжатая в окопы пехота. Он знал хорошо, что будет здесь сейчас, если танки панцерной дивизии пройдут через порядки его ИПТАПов.

ИДЕТ СЪЕМКА

Начинается съемка.

Приходит директор картины и принимает валидол. Ждет рабочих, идет на поиски.

Приходят рабочие (они тоже уже приняли), ждут директора.

Приходит художник, ждет директора. Характеризует все тремя словами. Считает с рабочими мелочь, один уходит.

Приходит некто. Ему отвечают кратко, и он идет.

Приходит осветитель с девицей. Лезет в свою будку с девицей.

Приходит оператор и говорит художнику, что сегодня ни черта не выйдет. Художник возражает, что вообще ни черта не выйдет.

Приходят два неглавных актера и объясняют, почему ни черта не выйдет.

Приходит помреж. Все объясняют ему, почему ни черта не выйдет. Он парирует, что и не должно.

Приходит гример. Оценивает обстановку и лезет в будку к осветителю.

Приходит ассистент режиссера, раскладывает свой столик, достает бумажки. Садится с двумя неглавными актерами играть в преферанс.

Приходит главная героиня и плохо себя чувствует.

Гример выпадает из будки осветителя. Оценивает обстановку и подсаживается к преферансистам.

Приходит режиссер. Смотрит — на героиню, в зеркало, на героиню, в зеркало, на героиню, в зеркало. Раздражается. Хочет посмотреть на директора. Хочет посмотреть на дурака, который еще с директором свяжется. Обоих не видит. Капризничает. Не видит главного героя — хочет видеть. Видит помрежа — не хочет видеть.

Приходят не то чтобы все, но непонятно, кто еще не пришел, потому что уже пришли непонятно кто.

Начинается съемка.

Приходит директор и принимает валидол. Идет на поиски главного героя.

Режиссер принимает решение приступить. Все бросают курить. Расходятся по местам. Ждут. Закуривают.

У помрежа не оказывается рабочего плана.

У оператора не оказывается высокочувствительной пленки.

У долльщика не оказывается сил катать тележку с оператором.

У ассистента не оказывается денег расплатиться за преферанс.

У героини не оказывается терпения переносить это издательство.

Приходит главный герой, играть отказывается. Он уже приходил два часа назад, — его послали. Директор унижается. Герой оскорблен. Помреж унижается. Герой возмущен. Ассистент унижается и просит отсрочить долг за преферанс. Герой негодует. Режиссер унижается. Герой неудовлетворен, но согласен.

Режиссер просит внимания и понимания.

Художник просит заменить декорацию.

Оператор просит рапид:

Долльщик просит катать оператора помедленнее.

Помощник оператора просит поставить его оператором.

Директор просит не сжечь павильон.

Герой просит героиню целовать естественнее.

Героиня просит чего-нибудь соленого.

Осветитель просит девицу. Девица не соглашается.

Режиссер просит свет. Осветитель против. На штангах ламп не повышается напряжение. У режиссера повышается напряжение.

Съемка продолжается.

Директору нужен валидол.

Художнику нужно воплотить декорацию.

Гримеру нужна французская морилка и колонковая кисточка.

Героине нужно полежать.

Режиссеру нужна лошадь.

Рабочим нужен перерыв, они устали.

Перерыв.

Оператор клянет пленку.

Долльщик клянет оператора.

Художник клянет рабочих.

Рабочие клянут тарифные ставки.

Директор клянет медицину.

Ассистент клянет преферанс.

Героиня клянет женскую неосмотрительность.

Осветитель клянет женскую осмотрительность.

Режиссер клянет всех вплоть до братьев Люмьер.

Гример оценивает обстановку и идет пить пиво. Все идут пить пиво.

После перерыва дело налаживается.

Директор принимает волакордин.

Герой попадает в образ.

Долльщик попадает в ритм, катая тележку с камерой.

Героиня попадает под тележку с камерой.

Осветитель не попадает.

Героиню тошнит. Она говорит, что на сегодня все.

У оператора кончилась пленка. Он говорит, что на сегодня все.

Режиссер говорит всем, что на сегодня все. Съемка окончена, всем спасибо.

ХОЧУ БЫТЬ ДВОРНИКОМ

Есть люди, которые хотят познать все, и есть люди, которым тошно от того, что они уже познали. И вот вторые молчат, чтобы не было хуже, а первые встречаются всюду, надеясь сделать лучше. Чем нервнируют окружающих.

Такие люди не приемлют реальность, как карась не приемлет сковородку. Шкворча от прикосновений мира, они полагают, что и для мира эти соприкосновения не должны пройти бесследно. Их активные попытки остановить след вызывают у мира, в лице начальства и жены, обострение инстинкта самосохранения, что имеет следствиями полный набор неприятностей, именуемый жизненным опытом. И когда они сочтут, что их жизненный опыт уже достаточен, они утихомириваются и складывают сказки о сивках, которых укатали крутые горки — куда их никто не гнал, — когда нормальные кони скакали по нормальным дорогам, бодро взмахивая хвостами, и ели на стоянках овес.

И взоры их обращаются к детям.

Они, взрослые, учат их, детей, как бы они, взрослые, достигли того, чего должны достичь они, дети, если б они, взрослые, могли этого достичь. Это называется передавать опыт.

Для детей начинается та еще жизнь. Знаю по себе.

Детские мечты редко сбываются. Хочешь стать дворником, а становишься академиком. Хочешь вставать раньше всех, вдыхать чистую прохладу рассвета, шурша гнать метлой осенние листья, поливать асфальт из шланга, собирать всякие интересные вещи, потерянные накануне прохожими, здороваться с идущими на работу жильцами — все тебя знают, все улыбаются, и никакое тебе начальство не страшно, их много, а дворников не хватает, не понизят тебя — некуда, не уволят — самим улицы мести придется, а вместо этого таскаешься со скрипкой в музыкальную школу, с огромной папкой — в художественную, с портфелем пособий — на курсы английского языка, получаешь взбучки после родительских собраний, маршируешь строем в пионерских лагерях, занимаешься с репетиторами, трясешься перед выпускными экзаменами, наживаешь неврастению после конкурсных, сессии, курсовые, диплом, распределение, мама в обмороке, папа звонит старым друзьям, женишься, стоишь в очередях, получаешь квартиру, покупаешь мебель, защищаешь кандидатскую, а дети подрастают, и только хочешь, чтобы они были счастливы.

И без остановки, начальству нужны статьи, жене — шуба и машина, детям — штаны и велосипеды, потом — карманные деньги и свобода, потом — высшее образование, потом им нужны жены и мужья, а тебе нужна неотложка.

Дети разъезжаются по городам, женятся, становятся на ноги, перестают тебе писать, хорошо еще, поздравляют с праздниками, когда ты становишься дедушкой, выходишь на пенсию и получаешь возможность делать все, что душе твоей угодно.

И получив, наконец, возможность делать все, что душе моей угодно, я пошел в ЖЭК и легко устроился дворником. И теперь я встаю раньше

всех и вдыхаю чистую прохладу рассвета, шурша гоню метлой осенние листья, и все жильцы знают меня, и, идя на работу, здороваются со мной и улыбаются. И я поливаю асфальт из шланга и думаю, неужели мир устроен так, что обязательно надо сделать круг длиною в жизнь, чтобы прийти к тому, чего хотел. Наверное, это неправильно. И вся надежда, что хорошую сивку горки не укатают.

МИМОХОДОМ

— Здравствуй, — не сразу сказал он.

— Мы не виделись тысячу лет. — Она улыбнулась. — Здравствуй.

— Как дела?

— Ничего. А ты?

— Нормально. Да...

Люди проходили по длинному коридору, смотрели.

— Ты торопишься?

Она взглянула на его часы.

— У тебя есть сигареты?

— А тебе можно?

Махнула рукой:

— Можно.

Они отошли к окну. Закурили.

— Хочешь кофе? — спросил он.

— Нет.

Страхивали пепел за батарею.

— Так кто у тебя? — спросил он.

— Девочка.

— Сколько?

— Четыре месяца.

— Как звать?

— Ольга. Ольга Александровна.

— Вот так вот... Послушай, может быть, ты все-таки хочешь кофе?

— Нет, — вздохнула она. — Не хочу.

На ней была белая вязаная палочка.

— А рыжая ты была лучше.

Она пожала плечами:

— А мужу больше нравится так.

Он отвернулся. Заснеженный двор и низкое зимнее солнце над крышами.

— Сашка мой так хотел сына, — сказала она. —

Он был в экспедиции, когда Оленька родилась, так даже на телеграмму мне не ответил.

— Ну, есть еще время.

— Нет уж, хватит пока.

По коридору, вспушив поднятый хвост, гуляла беременная кошка.

— Ты бы отказался от аспирантуры?

— На что мне она?..

— Я думала, мой Сашка один такой дурак.

— Я второй, — сказал он. — Или первый?

— Он обогатитель... Он хочет ехать в Мирный.

А я хочу жить в Ленинграде.

— Что ж, выходи замуж за меня.

— Тоже идея, — сказала она. — Только ведь ты все будешь пропивать.

— Ну что ты. Было бы кому нести. А мне некому нести. А если б было кому нести, я бы и принес.

— Ты-то?

— Конечно.

— Пойдем на площадку. — Она взяла его за руку...

На лестничной площадке сели в ободренные кресла у перил.

— А с тобой, наверно, было бы легко, — улыбнулась она. — Мой Сашка точно так же; есть деньги — спустит, нет — выкрутится. И всегда веселый.

— Вот и дивно.

— Жениться тебе нужно.

- На ком?
- Ну! найдешь.
- Я бреюсь на ощупь, а то смотреть противно.
- Не напрашивайся на комплименты.
- Да серьезно.
- Брось.
- А за что ей, бедной, такую жизнь со мной.
- Это дело другое.
- Бродяга я, понимаешь?
- Это точно, — сказала она.

Зажглось электричество.

- Ты гони меня, — попросила она.
- Сейчас.
- Верно; мне пора.
- Посиди.
- Я не могу больше.
- Когда еще будет следующий раз.
- Я не могу больше!

Одетые люди спускались мимо по лестнице.

- Дай тогда две копейки — позвонить, что задерживаюсь. — Она смотрела перед собой.
- Ну конечно. — Он достал кошелек. — Держи.

ЛЕГИОНЕР

Его родители эмигрировали во Францию перед первой мировой войной. В сороковом году, когда немцы вошли в Париж, ему было четырнадцать. Он был рослый и крепкий подросток.

Родители были взяты заложниками при облаве в квартале. Он прочитал на стене объявление о расстреле:

Он бежал в маки. Цель, смысл жизни — мстить. Было абсолютное бесстрашие отпетого мальчишки: отчаяние и ненависть.

Всей мальчишеской страстью он предался оружию и войне. В пятнадцать лет он был равным в отряде. Он вел зарубки на ложе английского автомата. В сорок четвертом, когда партизаны вступили в Париж прежде авангардов генерала Леклерка, ему было восемнадцать лет и он командовал батальоном франтиреров.

Он праздновал победу в рукоплесканиях и цветах. Но война кончилась, и ценности сменились. Герой остался нищим мальчишкой без профессии. Он пил в долг, поминал заслуги и поносил приспособленцев. Был скандал, драка, а стрелять он умел. Замаячила гильотина.

...Он записался в Иностраннный легион. Вербочный пункт отсекал слезку, прошлое исчезало, кончался закон: называл любое имя.

Он умел воевать, а больше ничего не умел: любить и ненавидеть. Любить было некого, а ненавидел он всех. Капралом был румын. Взводным — немец. Власовцы, итальянцы, усташи, четники, уголовники и нищие крестьяне.

На себе стоял крест: десятилетний контракт не сулил выжить. Он дрался в Северной и Экваториальной Африке, в Индокитае. Легион был надежнейшей частью: не сдавались — прикончат, не бежали — некуда, не отступали — пристрелят свои. Держались, сколько были живы и имели патроны.

Он узнал, что такое легионерская тоска — „кяфар“. Пронзительная пустота, безысходность в чужом мире (джунгли, пустыня), бессмысленность усилий, — безразличие к жизни настолько полное, что именно оно и становилось основным ощущением жизни.

Разум и совесть закуклились. Отребье суперменов, „солдаты удачи“, наемное зверье — они были вне всех законов. Вырезали. Добивали раненых. Выполняли приказ и отводили душу. Личный состав взвода менялся раз за разом. Он был отчаян и везуч — выжил.

По окончании контракта он получил счет в банке и чистые документы: щепетильная Франция одарила легионеров всеми правами гражданства. Лысый, простреленный, в тридцать выглядевший на сорок, он жил на скромные проценты. Гулял по бульварам. Молодость прошла; проходила жизнь. Кончились пятидесятые годы. Запахло алжирской войной. Только не воевать: его трясли кошмары. Русские эмигранты говорили о родине и тянулись в Союз. Он вспомнил свое происхождение. Родители рассказывали ему об Одессе. Он пришел в советское посольство.

...В тридцать три он начал новую жизнь. Аппе-

тит к жизни всколыхнулся в нем: здесь было все иначе.

Он поступил в электротехнический институт. Влюбился и женился. Родился ребенок; защитили дипломы; получили комнату. Он уже говорил по-русски без акцента, зато акцент появился во французском.

Нормальный инженер вставал на ноги. Терзаясь и веря, он рассказал жене о себе. Она плакала в ужасе и восхищении. Не верила, пока не свыклась.

Всех забот у него, казалось, — что подарить жене и детям. Лысенький, очкастенький, небольшой, а крепок, как дубовый бочонок.

Авантюристическая жилка ожила в нем и заиграла. Он занялся альпинизмом, горными лыжами, отпуск работал спасателем в горах. Потом увлекся дельтапланером. Парил под белым парусом в синем небе и хохотал.

ПРАВИЛА ВСЕМОГУЩЕСТВА

„Что бы я сделал, если бы все мог“.

— А вы?

Мефистофель с хрустом ввернул точку:

— А я могу больше: одарить этим вас. — Он отер мел и обернулся к ученикам: — Соблазняет? Прошу дерзать!..

Тема была дана.

Здесь надо пояснить, что Мефистофеля, вообще, звали Петром Мефодиевичем. Или Петра Мефодиевича звали Мефистофелем? как правильно? Велик и могуч русский язык; не всегда и сообразишь, что в нем к чему. Валерьянка вот не всегда соображал, и скорбные последствия... простите, не Валерьянка, а Вагнер Валериан. „Школьные годы чудесные“ для слабых и тихих, ох, не безбедны, а еще дразнить — за какие ж грехи невинному человеку десять лет такой каторги.

Но — о Петре Мефодиевиче: он здесь главный — он директор средней школы № 3 г. Могилева. А по специальности — физик. Но любит замечать по чужим предметам.

Прозвище ему, как костюм по мерке: черен, тощ, нос орлом, лицо лезвием — и бородка: типичный этот... чертик с трубки „Ява“. Но это бы ерунда: он все знает и все может. Поколения множили легенду: как он выкинул с вечера трех хулиганов

из Луполова; как на картошке лично выполнил три нормы; как по-английски разговаривал с иностранной делегацией; а некогда на Байконуре доказал свою правоту самому Королеву и уволился, не уступив крутизной характера.

Петр Мефодиевич непредсказуем в действиях и нестандартен в результатах. Когда Ленька Мацилевич нахамил химозе, Петр Мефодиевич сделал ему подарок — книгу о хорошем тоне, приказав ежедневно после уроков сдавать страницу. К весне измученный, смирившийся Мациль взмолил, что жизнь среди невежд губительна, а станет он метрдотелем в московском ресторане.

После его урока географии Мишку Романова вынули в порту из мешка с мукой: он бежал в Австралию. Замещал историчку — и Валерьянка всю ночь рубился с римскими легионами; проснулся изнеможенный — и с шишкой на голове! На Морозова только полыхнул угольными глазами — и Морозов зачарованно выложил помрачающие ум карты; он клялся, что действовал под гипнозом, оправдываясь дырой на том самом кармане, прожженной испепеляющим взором Петра Мефодиевича.

А однажды у стола выронил фотографию, а Генчик Богданов подал: так Генчик уверял, что на фотке молодой Петр Мефодиевич в форме офицера-десантника и с медалью.

Вследствие вышеизложенного Петр Мефодиевич титуловался заслуженным работником просвещения и писал кандидатскую по педагогике с социологическим уклоном: ныне модно. И ему необходимо надирать материал и личные контакты по статистике. (Опять я, кажется, неправильно выражаюсь.)

Теперь понятно, почему Мефисто... простите,

Петр Мефодиевич обломал кайф классу, праздновавшему болезнь русачки срывом с пятого-шестого сдвоенных русск. яз-а и лит-ры. Петр Мефодиевич нагрязнул лично, пресек жажду свободы и дал взамен свободу воображаемую в рамках педагогики: ход, высеченный мелом на влажном коричневом линолеуме доски.

— Почему нерешительность? М? Чего боимся? — подтолкнул Петр Мефодиевич.

Класс вперился в доску. Сочинение на свободную тему: искус и подвох... Школа — она приучит соображать, прежде чем раскрывать рот, будьте спокойны. С этой задачей она справляется неплохо. Некоторые так вышколены, что потом всю жизнь... но мы отвлекаемся.

„Что сделал, если б все мог“, — хо-хо! Эх-хе-хе... Так им все и скажи: нашел дурных. А потом кому диссертация, а кому колония для малолетних? Класс поджался и замкнул души.

— Писать донос на себя самого? вот спасибо, — суммировал общественное подозрение скептик Гарявин. — Милые идеи у вас, Петр Мефодиевич.

— Я еще мал для душевного стриптиза, — пробурчал коротышка Мороз.

А Олежка Шпаков успокоительно поведал:

— Я, если б мог, вообще бы ничего не делал.

Свалившаяся вседозволенность озадачивала неясностью цели: одно — стать отличником, чтоб они все отцепились, а другое — превратить недостатки настоящего в цветущее будущее.

— Тяжкая стезя? — ехидно посочувствовал Петр Мефодиевич. — Морально не готовы? Или — не хочется?..

— Все — это сколько? В каких пределах? — осведомился вдумчивый Валерьянка, Вагнер Валерьян, и показал руками, как рыбак сорвавшуюся

рыбу: широко, еще шире, и вот рук уже не хватает.

— Все — это все, — кратко разъяснил Петр Мефодиевич, вамахнув рукой вкруговую. — Ни-ка-ких ограничений. — Он гордо выпрямился. — Я освобождаю вас от химеры, именуемой невозможностью.

Освобожденный от химеры класс забродил, как закваска.

— Напишем, чего думем, а потом ваша наука не туда пойдет, — посочувствовала пышка Смелякова.

— А отметки ставить будете?..

— А без этого нельзя, — соболезнующе сказал Петр Мефодиевич.

— Э-э... — укорил Курочков, прославленный изобретатель самопадающих в двери устройств. — Удобная позиция: не ограничивать нас ни в чем, чтоб мы себя сами ограничивали во всем.

— Отметки пойдут не в журнал, а в мою личную тетрадку, — обнадежил Петр Мефодиевич, улыбаясь провокаторски.

— Час от часу не легче, — отозвался из-за спин спортсмен Гордеев.

— А фамилий можете вообще не ставить, — последовал сюрприз. — Это для меня роли не играет...

О?! Класс взревел, словно у него отлетел глушитель. Отчетливо запахло счастьем, свободой; возмездием.

А Петр Мефодиевич, погружаясь в огромную черную книгу с иностранным названием и физическими формулами на обложке, поддакнул:

— Вы всемогущи! То, о чем всегда мечтали люди, — дано вам!

Дотошный Валерьянка снова потянул руку:

— А это всемогущество — предоставляется нам всем? Или как будто мне одному?

— Только тебе, одному на свете за всю историю. Решайся! — второй такой возможности не представится никогда.

А не писать можно, опасливо хотел спросить Валерьянка... но жалко упускать такую возможность... И только поинтересовался:

— А — как же все? Остальные?

— Этого вопроса не существует, — отшел Петр Мефодиевич. — Нет остальных, — вскричал он. — Есть только ты, всемогущий, который сам все делает и сам за все отвечает.

Он потряс черной книжкой, извил пасс худыми руками, кольнул бородкой. „Гипнотизирует“, — суеверно подумал Валерьянка и успел сравнить угольные глаза с пылесосом, всасывающем его.

И неожиданно улыбнулся, принимая условия игры — как бы открывая их в себе: да, он всемогущ. Он: один. Здесь и сейчас.

И очень просто.

Он покачнулся и сел.

И посмотрел на белый прямоугольник — раскрытый лист...

Лист был чист и бел. И в то же время неким внутренним зрением он словно провидел на нем абсолютно все. Ему оставалось только сделать это. В смысле написать. В смысле — это означало одно и то же.

1) Начнем с яйца (вареного или жареного?): прежде всего Валерьянка элементарно хотел есть. Последние уроки, вот и подсасывало. Аж желудок скрипел, как ботинок (кстати, их тоже ели, только варить долго).

На обед предполагались котлеты с картошкой и борщ, но тут уж Валерьянка щадить себя не стал.

Он угостился шоколадным тортом и закусил его ананасом (интересно, каковы на вкус эти ананасы?). Желудок застонал в экстазе, и голодный чародей охладил его дрожь двумя порциями пломбира. Какое легкомыслие — две! Двенадцать! А если бефстроганов смешать с вишнями и залить какао, что выйдет? — блюдо богов! Жаль, что их нет и они этого не знают.

Нет грез слаще, чем гастрономические грезы голодающего. Как говорится, жизнь крепко меня ударила, но сейчас я ударю по жратве еще крепче. Валерьянка зарылся в яства, как роторный канавокопатель: он давал сеанс одновременной жратвы.

Черствая жизнь обернулась своей съедобной стороной. Вместо супов и каш были семечки. В полях самовыкапывался картофель фри в масле, а на лугах паслись бифштексы. Конфетные города шумели лимонадными фонтанами. С домов отваливались балконы из пирогов, водопровод плевался компотом, а в унитазе... э, стоп, это чересчур.

В газетных киосках давали варенье. Школьный буфет награждал пирожным в компенсацию за каждый отсиженный урок. Арбузы и персики катились по улицам, тормозя перед светофорами. Мармеладный милиционер в шоколадной будке махал копченой колбасой.

— Дорогу жиртресту! — скомандовал милиционер, и Валерьянка обмер и провалился. Верно — он стал „плечист в животе“: он был просто приделан к этому дирижаблю, а где застегивались брюки, торчало опорное колесико, как у самолета. Где-то внизу переступали, с натугой толкая вес, нечищенные (не достать) ботинки...

Правда, мороженое вызвало хроническую анги-ну, избавившую от школы, но не такой же ценой... а если вместо этого гланды вырежут?..

Его дразнили на улице и лупили во дворе. Спасибо вам за такие возможности!

2) Прожорливый волшебник закручинился. Мочь все — занятие не для слабых: шагнул шаг — и последствий не оберешься...

Скажем, еда: возьмется ниоткуда — или все же откуда-то? Если да, то откуда? А вдруг там после этого голодают? и ОБХСС ищет... Тень тюремной решетки пала на веер кошмарных картин:

арбузная бахча укатилась на север, и сторож продает свое имущество — шалаш, берданку и пугало, покрывая убытки. Продукция кондитерской фабрики испарилась в неизвестном направлении, но клятвам директора вторит саркастический смех прокурора. Магазин пуст, и денег в кассе, естественно, не прибавилось: ревизия вызывает конвой.

Ничего себе закусили. Теперь требуется какое-то сверхмогущество, чтобы вызволить невинных из скверных ситуаций...

Может, лучше всем за все платить? Но тогда — кому, сколько, а главное — чем?.. на такую диету мама с папой отреагируют касторкой и клизмой в лучшем случае, но не карманными деньгами — на его аппетит их зарплат не хватит.

Еда должна браться ниоткуда — это решит массу трудностей. Порядок возможен при одном условии: чтобы все делалось из ничего.

А есть явно или тайно? Тайно — нехорошо, явно — еще хуже: могут занести в Красную книгу и в зоопарк как достопримечательность.

Ясно одно: толстеть отменяется. Проблему питания лучше всего решить таким образом, чтобы вообще не есть, но всегда быть сытым. А на фига такое всемогущество, если даже не поест толком?..

А если потечет пироговая крыша? Вода-то лад-

но, подставил таз и порядок, а варенье потечет? это замучишься потолок облизывать.

Благое предприятие рушилось девятым валом проблем. Всомогущество требовало продуманности и организации. И оно было организовано: Валерьянка придумал

Первое правило всемогущества:

Что бы ни делалось — это хорошо, и ничего плохого не будет.

И, упорядочив этим всеобщий хаос, переключился на следующую страницу славных деяний, где

3) В подъезде его по обычаю приветствовал падла Колька Сдориков из 88 квартиры: в зад пиннок, в лоб щелбан: „Привет, Валидол!“

Пусть победит достойный (хоть раз в жизни)! Изыщная поза, легкое движение, и — поет победная труба, воеет „скорая“, спешат санитары, связку гипсовых чурок задвигают в машину: поправляйся, Коля, уроки я тебе буду носить.

— Всех не перебеешь! — доносится мстительно из-под гипса.

— Перебею, — холодно парирует Валерьянка. — Рубите мебель на гробы.

Вендетта раскручивается, как гремучая змея: в карательную экспедицию выходят, загребая пыль, дворовые террористы — жать из Валерьянки масло, искать ему пятый угол, снимать портфель с проводов. Трепещет двор и жаждет зрелищ: балконы усеяны, как в Колизее (девочки опускают большой палец: не щадить!).

— Открываем долгожданный субботник по искоренению хулиганства, — возвещает Валерьянка. — Концерт по заявкам жертв проходит под де-

визом „За одного битого двух небитых бьют“. Соло на костях врагов!

Страшный восьмиклассник Никита-башня рушится, как небоскреб (длинного бить интересней — он дольше падает). Похабщик Шурка висит на дереве: фрукт поспел, пора и падать. Дурной Рог перепахивает клумбу: жуткая роза среди цветов. А обзывала-Чеснок влетел в песочницу, одни ноги дрыгаются (и те кривые).

С балконов летят цветы и рукоплескания: „Свободу храброму Спарт... тьфу... Валерьянке! Освободить его от физкультуры до конца школы!“

Поигрывая сталью мускулов, Валерьянка превращает поверженных в тимуровскую команду и гонит носить воду бабуле Никодимовой. (А на черта ей вода, у нее ж водопровод?.. Его прорвало! Чем меньше удобств, тем больше можно заботиться о человеке.) И под гром оваций...

4) Ага; вот заявятся родители этих битых обалдуев — будет гром оваций...

Толпа ярилась в прихожей, разрывая рубахи и тряся кулаками в жажде крови. А впереди сурово качал гербовой фуражкой участковый, предлагая пройти в милицию — и далее, лет на... сколько влепят?

Что бы ни сделал — одновременно получается и противоположное... Отпадает всякая охота действовать, если в итоге неприятности вечно забывают удовольствие. Нет худа без добра — а вот есть ли добро без худа?.. Тоже нет?

Да где же справедливость?! Сейчас будет. И Валерьянка ввел

Второе правило всемогущества:

*Что бы ни делалось — справедливость
ненаказуема.*

Но один считает справедливым одно, другой — другое... туманная вещь эта справедливость: рехнешься мозги ломать в каждом отдельном случае. Помногу думать над всем — вообще ничего сделать невозможно, разолился од. И в окончательной, исправленной и докопленной редакции

**Второе правило всемогущества
звучало так:**

Что бы ни делалось — все довольны.

Это означало то же самое, но было гораздо проще и удобнее.

О! Спяющие родители в очередь жали ему руку, благодаря за чудесное перевоспитание их бандитов. „У вас огромные педагогические способности“, — позавидовал доцент пединститута Малинович. Участковый отдал честь и пригласил возглавить детскую комнату милиции: „Только вы в состоянии исправить современную молодежь“. А тренер Лепендин из 25 дома восхитился: „Бойцовский характер! Вы — феномен атлетики! Бокс по тебе плачет: жду завтра на тренировку“.

5) В зале Валерьянка сделал заявление — исключительно в целях славы спорта — о включении его в сборную Союза. Тренер имел предложить сборную по нахальству и украсить скромностью. Непонятливый (по голове, видать, много били).

Валерьянка украсился скромностью и на построении нокаутировал неверующую секцию одним боковым ударом. Шеренга сложилась, как веер, и хлопнулась, как кегли. В заключение тренировки он нокаутировал тренера, что было квалифицировано как действие, заслуживающее минимум звания мастера спорта.

...На чемпионате мира сборная была представлена во всех одиннадцати весовых категориях одним человеком (так зато это ж был человек!). Что позволило значительно сократить расходы на содержание команды и тренеров. Экономилось и время: бои кончились досрочно — на тринадцатой секунде: две тратилось на сближение с противником, одна на удар и десять — счет рефери над поверженным.

— Чего считать: снимай шкуру, пока теплый, — добродушно шутил чемпион; публика восхищалась его обаятельным остроумием. Восторженным репортерам Валерьянка охотно открыл свой спортивный секрет победы:

— Я бью только два раза: второй — по крышке гроба.

Экономленное в боях время он уделял пропаганде спорта.

— Было бы здоровье, — говорил он, — а остальное купим. Сила есть — ум найдут. Плюс утренняя зарядка!

Триумф был заслуженный и сокрушительный. Фотография: Валерьянка на пьедестале весь в лентах и венках, как юбилейный монумент — сияла со всех изданий от „Пионерской правды“ до „Курьера Юнеско“. Одиннадцать золотых медалей положили начало музею наград, в который ЖЭК переоборудовал его комнату.

По утрам подъезжал грузовик с цветами, кубками и вымпелами. Сантехник Вася сидел у дверей и выдавал посетителям тапочки, а физрук Пал Иванович проводил экскурсии, рассказывая о школьных годах героя и первых успехах, бессовестно приписывая их себе (или наоборот — каюсь в близорукости: эх, не сумел разглядеть...).

Председатель спорткомитета отдавал Валерьянке рапорт и благодарил за облегчение и образцо-

вую организацию работы: весь спорткомитет руководил теперь одним человеком — им; а он неизменно оправдывал, поддерживал, защищал, не срамил, умножал, поднимал и радовал, побеждая всех, везде и во всем, на воде, в небесах и на суше.

Он вывел в чемпионы мира футболистов, уронил в воду судей результатами плавания, сломал штангу взятием тонного веса и метнул молот из Лужников на стадион Кирова. Он обыграл Карпова, дав ему феразя феры; Карпов похудел на десять кило.

Большой спорт превратился в физкультуру, потому что смысл рекордов исчез: все они принадлежали Валерьянке. Бывшие чемпионы вытерли слезы спортивной злости и возглавили группы здоровья. Самые отчаянные и честолюбивые смотрели кино, анализируя его приемы и оспаривая вторые места.

Международная федерация присвоила ему почетное звание супермастера по всеборью, а в награду остальным отлила его золотую статуэтку с крылышками и надписью: „Валерьянка — бог победы“.

Уфф!..

6) Зинка, по глупости родителей — старшая сестра, а по нудной натуре — придира, отреагировала на это так (завидует):

— Вырос-таки спортсменом. Лоботряс. Предупреждала я. У тебя ум в пятках, а образование в кулаках. Не стыдно, неуч?..

— Балеты долго я терпел, — сказал Валерьянка и превратил ее в кобру, предусмотрительно лишенную ядовитых зубов. Кобра в отчаянии раскачивалась над задачником по алгебре, не имея рук записать решение. В крохотном мозгу с трудом умещалась лишь та мысль, что один плюс один —

это много; иногда даже слишком. На капюшоне у кобры блестели очки во французской пятидесятирублевой оправе — Зинкина гордость. Пока кобра пыталась сквозь эти очки учить „Луч света в темном царстве“, Валерьянка развратил ее обратно, а сам познал все и стал президентом Академии наук. Был большой академический праздник. Академики от радости прямо давились друг на друга, поздравляя его. Премия за открытие всего он отдал на... на что лучше?.. на то, что государству нужнее, оно само определит. (Личный автомобиль — инвалиду Яну Лукину, шофера — на стройку кирпичи возить.)

— Пора нам изобрести все и оторваться от всех еще дальше, — напоминал Валерьянка во вступительной речи.

— Пора, — обрадовались старенькие академики, не чаявшие дожить до полного торжества науки над природой.

— Неучи, — укорил Валерьянка, качая головой размера 65. — У вас ум в пятках, а образование в кулаках!

Пристыженные академики покраснели. Самые сознательные сложили с себя звание и пошли работать в школу. Даже почин такой объявили: „Узнал сам — научи других!“.

Валерьянка подарил Академии стадион для бега трусцой и диетическую столовую, а саму Академию упразднил за ненадобностью. Чего надо — он сам откроет. Они же все такие старенькие — просто зверство гонять их на работу: куда смотрит общественность?.. Пусть отдохнут на заслуженной пенсии. Как поется, старикам везде у нас почет. Все равно они уже плохо соображают.

Хотя у академиков, наверно, мозги устроены иначе, чем у других: чем старше, тем умней? Тогда Валерьянка вывел на Кавказе вид академи-

ков-долгожителей, а самого старшего, двухсотлетнего, назначил своим вице-президентом.

— В каком ффраке вы полетите на конгресс в Париж, коллега? — осведомился вице-президент. — Вам пойдет алое с золотом.

7) Путь славы уперся в благосостояние. Ум умом, а пожить хочется.

По городу Валерьянка раскатывал на белом „мерседесе“, а на природе — в желтом „лендреве“. Он облачился в белые кроссовки, синие джинсы, клетчатую сорочку, алый пуссер и черный вельветовый пиджак. На руке тикали и звонили часы „Роллекс“, палец охватывал золотой перстень с печаткой, а на груди блестел орден. Он невзятяжку курил сигареты „Ява-100“ и жевал земляничную резинку. Он поражал взор и слепил воображение.

Фарцовщики льстиво здоровались, а прохожие рыдали от зависти. Они б еще не так зарыдали, если б знали, что джинсов у него целый чемодан, а кроссовок три пары.

Видеомагнитофон услаждал его „Белым солнцем пустыни“, стереомаг гремел „Машину времени“, а с проигрывателя забрасывала юного набоба миллионом алых роз Алла Пугачева.

— Мой сын — барахольщик, — презрительно отвернулся папа. — Оброс рухлядью, жалкий потребитель — в доме шагу ступить негде!

Сами обростете — другое запоете! Валерьянка подарил родителям четырехкомнатную квартиру — чтобы они не возникали. Начальник чего-то главного перерезал ленточку в подъезде. Сборная штангистов затащила новую мебель. Сводный оркестр вышиб из труб „Взвейтесь кострами“. Родители просили у крутого сына прощения и разных хороших вещей.

8) И вот тогда — к нему робко приблизилась Люба Рогольская... Она потеревила передник, в раскаянии заплакала и прошептала:

— Прости меня, Валериан, что я не пошла с тобой на каток... Меня родители не пустили...

Валерьянка знал, что она врет, но простил. Благородства в нем было еще больше, чем ума.

Они посетили каток, кино, цирк и буфет, а потом... все так делают... может, не надо?.. Валерьянка покраснел, оглянулся и женился.

Свадьбы, конечно, не было — чувствам реклама противопоказана: задразнили бы на фиг. Идиоты. В гробу он из всех видел. (Траурная вереница влачится по проспекту. Рупора рвали рокот из „Последнего дьюма“: „Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня“. На балконе стоял Валерьянка — весь в белом: и показывал гробам фигу.) (Но он не зверь же был: назавтра всех оживил. Пусть живут и помнят. Рыцари еще есть, просто возможностей у них нет.)

Любовь пропела свою журавлиную (соловьи-ную? лебединую? жавороночью? а птицы горлицы как будет прилагательное?) песнь: они жили счастливо — выходили из подъезда вместе, при всех держась за руки. А дома имели супружеское счастье целоваться. Без света тоже.

Летом ходили в походы и купались в речке, а на обед Люба варила компот и пекла пирожки. Все остальное время она слушала, что он ей рассказывает, и ждала его с чемпионатов и конгрессов: она оказалась идеальной женой.

(Все это здорово — но что дальше с ней делать?..)

9) Как, однако, быстро разнообразие семейной жизни исчерпывается до однообразия. А настоящему мужчине хочется решительно всего — ис-

пытать, совершить, попробовать: какая к чертям семья, пожили и хватит, — дел невпоровот! время летит!..

Чтоб успешней выполнять все намеченное, Валерьянка раздвоился: один открывал звезды, другой валял лес. Мало! И он размножился до полного покрытия потребностей.

Он варил сталь и суп, рыл каналы и золото, сеял пшеницу и добро, разведывал нефть и вражеские секреты, сдавал кровь и рапорты, спускался в шахты и поднимался до мировых проблем; он успевал везде и делал все.

Деятельность завершилась космосом. Пульс был отличный, и особенно аппетит. Все бортовые системы функционировали лучше нормального. Он проявил отъявленное мужество в критических ситуациях, предусмотренных заранее, а годовую программу выполнил полностью за неделю: в невесомости-то легко, не устаешь, это не металлолом таскать. Пролетая над всеми, он наблюдал их в подзорную трубу: поприветствовал всех, кого надо приветствовать, и послал им в поддержку свой привет. А кому надо — тем он прямо сказал, что надо, сверху. Без дипломатии. Не стеснясь. На агрессоров он плевал из открытого космоса. На каждого лично. На главных — по два раза. А на базы еще не то, эти поджигатели потом замутились дезинфекцию проводить.

Один из... них? (или надо сказать — один из его?) забил блатное место: служил моделью для фото-, теле- и кинорепортеров, избавленных от метаний по миру: снимай себе спокойно всю жизнь его одного и подписывай что хочешь. Благодарные за такой технический переворот в репортерстве, фотошники провозгласили своего кормильца лучшей моделью столетия и мистером Солнечная си-

стема. (Если на других планетах и обнаружат марсианина, вряд ли он окажется красавцем.)

10) Мистер Система выглядел всем мистерам мистер. Так что девочки краснели, а мужчины бледнели, и те и другие предлагали дружить, — понимая под дружбой вещи несколько разные, но безусловно приятные.

Валерьянка перевел классические ковбойские шесть футов два дюйма в метрические меры и получил сто восемьдесят восемь: отличный рост, и на кровати помещаешься. Вес его равнялся, согласно занимательной математике Перельмана, весу рослого римского легионера: восьмидесяти килограммам. Окружность бицепса — шестьдесят сантиметров, талии — пятьдесят: кинозвезды матерились, культуристы плакали.

Волосы вились черные, глаза синие, подбородок квадратный, нос перебитый. Ровные белоснежные зубы ему вставили в Голливуде. Нет, на „Мосфильме“. Что у нас, своих зубов мало?

Легкая походка, тяжелый бас, мягкая улыбка, твердый характер. И все что надо тоже будь здоров.

А возраст ему пришелся, в котором Александр Македонский дрался на Ганге, а Наполеон стал первым консулом: тридцать лет.

Конечно — таким и жить можно!..

11) Расправившись с первоочередными задачами, он вдарил по культуре. Культура взлетела вверх и больше оттуда не спускалась.

Он написал тысячу книг, и их перевели на тысячу языков. Эта сокровищница мысли и стиля венчала мировую литературу, а заодно и философию с прочей гуманитарной ерундой, для понимания которой много знать не надо. От прозы Валерьянка перешел к поэзии, и тогда Пушкин

перешел на второе место, а Евтушенко и Данте спорили за третье.

Наконец с литературой было покончено. После его гениального вклада сказать уже было нечего: прозаики создавали его биографию, а поэты ее воспевали.

Очередь в Эрмитаж, где поражали его картины, тянулась от Русского музея, где потрясали его скульптуры; нетленным шедевром высилась мраморная статуя Любы Рогольской в закрытом купальнике с веслом. Под веслом плакал Хаммер, сидя на мешке с долларами, и пытался всучить миллион. Куда мне твои доллары? получи фотографию бесплатно.

О нем пели песни, а он сочинял симфонии, как Моцарт, и дирижировал ими, как Сальери (кажется, они дружили?!). За билет на его концерт отдавали Пикуля или тонну макулатуры. Зал в экстазе скандировал: „Ва-лерь-ян-ку!“ (Походило на праздник мартовских котов или съезд сердечных больных.) „Ла Скала“ вылетел в трубу и на стажировку к нам.

Он достиг всего и был похоронен на... э, стоп, давай назад. Еще есть время. Трудился-трудился — и что же? пожалуйста закапываться? дудки. Кто все может — может обождать умирать. Э?

12) Что ценно во всемогуществе — трудись сколько хочешь, отдыхай сколько влезет. Валерь-янка слегка устал.

Он посетил дискотеку и карнавал в Рио-де-Жанейро, гульнул в настоящем ресторане, уволил официантов и заменил дружинниками. В весеннем лесу пил кокосовый сок и охотился в джунглях на царей природы — браконьеров. На кинофестивалях в Каннах и Венеции запретил за безобразие „детям до шестнадцати“, а главного приза удостоил „Отроков во Вселенной“. Он просветил Фелли-

ни, и тот стал снимать вполне понятные подросткам фильмы. После чего сел в надувную лодку (он, а не Феллини, понятно) и отбыл в кругосветное путешествие, наказав Сенкевичу в „Клубе кинопутешествий“ не перевернуть:

(тем более что акулы грызлись с рыбадызором в Днепре, неприхотливые верблюды ели пираний на Амазонке, а пингвины преодолевали пустыню в сумках кенгуру: географию Валерьянка смутно полагал превратившейся из науки для извозчиков в науку для дипломатов и вместе с зоологией изучал творчески: он не ждал милостей от природы, и ей не приходилось ждать их от него).

13) Путешествие в одиночку имеет тот плюс, что о нем можно рассказывать что угодно, и тот минус, что рассказывать это некому — пока не вернешься. Валерьянка сменил лодку на пиратский бриг, здраво рассудив, что возможности к перемещению во времени и в пространстве у него совершенно равные, но первое куда легче из-за массы замечательных книг: воображаемое путешествие требует и действительности воображаемой.

Восемнадцатый век затрещал под напором жизненной активности хроникера; хрустнули и времена соседние.

Благородные индейцы во главе с Оцеолой, вождем семиолов, вышибли колонизаторов в Гренландию: не успевших смыться захватчиков пристрелил Зверобой-Соколиный глаз. Сын Чингачгунка оказался далеко не последним из могикан, а переодетой дочерью, которая вышла замуж за Зверобоя, и они произвели такой демографический взрыв — заселили материк гуще японцев.

Ветер великих перемен достиг парусов капитана Блада: он сказал Арабелле, что она дура и второго такого фига найдет, дядю-плантатора повесил, из пиратов организовал трудолюбивый коллектив,

рабов объединил в республику хлопкоробов, а сам вообще плюнул на эти вшивые острова и стал королем Англии, дав Ирландии свободу, а власть народу, и, получив персональную пенсию, сделался профессором медицины.

Тем самым д'Артаньяну отпала надобность переться в Лондон, а мушкетерам проливать кровь за реакционную королеву. Атос заколол кардинала на дуэли и простил миледи, ставшую начальником разведки; д'Артаньян получил маршала в двадцать лет и женился на мадам Бонасье и Кэти сразу, чтоб никого не обидеть; Арамис додумался до атеизма и, как человек интеллигентный и со связями, был назначен министром культуры; все деньги и ордера отдал Портосу — много ли у него еще радостей в жизни; с Испанией заключили мир, испанцы тоже люди, и Сервантес посетил Париж в рамках культурной программы.

Адмирал Клуба отважных капитанов, Валерьянка направил капитанскую отвагу в русло прогресса:

Капитан Гаттерас кончил мореходку, покряхтел на экзаменах и пробился к полюсу на атомоходе „Сибирь“. Капитан Грант выучил морзянку, вызвал яхту по радио и по семейной профсоюзной путевке поплыл в Сочи: отвага отвагой, а здоровье беречь надо; не пройдешь комиссию — и визу закроют. Пятнадцатилетний капитан организовал в команде контрразведку и благодаря бдительности избежал приключений с лишениями.

А Робинзон держал в пещере вертолет, и Пятница, кончив аэроклуб, раз в год возил его домой в отпуск; а иначе это зверство.

14) Что за прекрасное поле для фантазии — история! Вот где раздолье. Валерьянка недоумевал: сколько трагических несправедливостей и прямо вздора — и как еще бедная история умудрилась

двигаться куда надо... пора поспособствовать ее движению! Надо торопиться переделать историю! — времени до звонка все меньше. И:

Спартак установил в Риме народную власть, а гладиаторы стали вести секции каратэ. Кстати о Риме. Папа римский при всем народе сознался, что Бога нет. Можно себе представить радость римлян.

Монастыри были преобразованы в гостиницы и институты. Мрачное средневековье стало светлым. Джордано Бруно сам сжег всех инквизиторов. Магеллан дружил с туземцами и стал Заслуженным путешественником Португалии. Наполеон протянул руку помощи Робеспьеру и установил мир и братство в Европе.

Вещий Олег присоединил Царьград к Руси и сделал прививку от змеиного яда. Батые от волнения хватил инфаркт, а татаро-монголы перешли к прогрессивному оседлому образу жизни на целинных и залежных землях.

Стрельцы помогали Петру чем могли. Петр жил сто лет и прорубил окна во все страны. Крепостного права не существовало, народовольцев не вешали, декабристы победили.

История была прополота, как ухоженная грядка. Валерьянка беспощадно корчевал сорняки и закрашивал позорные пятна.

15) Прошлое стало не хуже будущего, а в настоящем наступил порядок. Все оружие было уничтожено, войны запрещены, а счастье торжествовало на всех пяти континентах. Безработица ликвидировалась заодно и самим капитализмом: капиталисты понурились в очереди на раздачу цветной капусты и кефира (полезно-то полезно, но как мерзко!).

Болезни искоренили, а кстати и докторов, — довольно этих садистов в белых халатах с их шприцами, всем и так хорошо. Население сплошь стало

стройным и умным. Расовые и национальные различия исчезли (половые пока на всякий случай остались): все смуглые и высокие. Женщины в основном блондинки.

За добро платили добром, потому что зла нигде не было. Военных преступников перерабатывали на мирные нужды, а милитаристы перевоспитывались и охраняли мир. У всех все было, поэтому никто ничего не воровал, и тем не менее все работали. Не дрались, не пили, не курили, не ругались, а врали только из гуманизма.

Умерщвлять таких людей рука не поднимается, и Валерьянка даровал человечеству бессмертие. И процветание — чтобы умереть не хотелось.

16) Он растопил Антарктиду, пресек экологическую катастрофу и извлек энергию из космических лучей. Зима радовала снегом, лето — солнцем, а дожди для сельского хозяйства лили ночью.

В тених паслись мамонты и бизоны. Волки и тигры питались концентратами морской капусты. Ружье и рогатка украшали Музей пережитков прошлого.

Меж прозрачных зданий и сосен ездили велосипеды и лошади. Труд стал умственным, а все остальное — техническим. В семь часов двадцать минут все делали зарядку. А детей в семьях была куча, и растить их помогали восьмирукие хозяйственные роботы и идеальные няньки — овчарки-колли.

17) Дети мигом устроили скачки на овчарках, а за ними в панике тнались хозяйственные роботы, роняя из восьми рук кошелки и веники. Валерьянка ужаснулся своему созидательному гению:

воды растаявшей Антарктиды захлестнули ароматные сосны и прозрачные здания. Степи и во все не осталось: расплодившиеся мамонты и ту-

пые жвачные бизоны сожрали всю траву, — черные бури сметали тигров и волков, захиревших на капустной диете, как привидения. И среди этого кошмара полчища старцев делали утреннюю зарядку — они были бессмертны. Валерьянка допускал отклонения от идеала: времени нет детально обдумывать, какое ж дело застраховано от ошибок? — на подобные неприятности он заблаговременно готовил

Третье правило всемогущества:

Что бы ни делалось — все можно будет переделать.

Дамбы, санаторный отстрел и вечная молодость. Это нам раз плюнуть.

18) Бессмертных людей прибывало, и Земля завесилась табличкой: „Свободных мест нет“. Вот и звезды пригодились. Всем взлет!

Братья по разуму выкарабкались из „летающих тарелок“, маха флагом дружбы и сотрудничества. А где вы раньше были, граждане? Теперь мы сами с усами, над вами шефство оформим. Звездолеты бороздили обжитую Вселенную: колпаки над планетами, искусственная атмосфера, синтетика и кибернетика: счастье...

Так. А что же дальше?.. Все? Жаль... Еще оставалось время. И чистое место в тетради.

— Сашка, ты что делаешь? — прошептал он через проход.

— Д'Артаньяна королем, — трудолюбиво просопел Гарявин.

Иванов играл в баскетбол за сборную мира. Лаева уничтожала все болезни. Генка Курочков строил двигатель вечный универсальный на космическом питании. Новые идеи отсутствовали...

— Петр Мефодиевич, я все, — сообщил Валерьянка. — Можно сдать?

— Как так — все? — изумился Петр Мефодиевич. — Раньше срока сдавать нельзя. Ты должен сделать все, что только можешь.

— А зачем? — скучно спросил Валерьянка. Он устал. Надоело.

— Задание такое, — объяснил Петр Мефодиевич.

Валерьянка вздохнул и задумался.

— А вдруг я сделаю что-то не то? — усомнился он.

— Это не мое дело, — отмежевался Петр Мефодиевич, вновь прикрываясь своей черной физикой с формулами. — Решай сам. „То“, не „то“... Все — „то“! Всомогущество и безделье несовместны. (Безделье — частный случай всомогущества.)

...И под чарующим дурманом личной безответственности — коли фамилий и отметок не будет — в Валерьянке зашевелилось искушение, выкинуло длинный хамелеоновский язык, излучило раду-гу... Где и когда же, если не здесь и сейчас?..

19) „Если нельзя, но очень хочется — то можно“. Валерьянка казнил себя безнравственностью и оправдывался желанием, подозревая его у всех.

...Он правил в хрустальном дворце. Пенилось море о мраморную ступень, и шептали пальмы. Под сенью фонтанов, истому оркестра он отведывал яств и напитков. Дворец ломился золотом, личные яхты и самолеты ждали сигнала. Толпа повиновалась движению его бровей. Он был Султан Всего.

Султан воровато оглянулся, прикрыл тетрадь локтями и последовал в гарем. В гареме цвели все красавицы мира, проводя время в драках за очередь на его внимание. Гарем представлял со-

бою среднеарифметическое между спортивным лагерем „Буревестник“ и римскими банями периода упадка, и упадок там был такой — кто хочешь упадет. Кинозвезды по его команде показывали такое кино, куда даже киномехаников не допускают.

Он мгновенно удовлетворял любые свои прихоти — и мгновенно удовлетворять стало нечего... Скука кралась к незадачливому султану.

— Друг мой, железный граф, — плакал он на груди Атоса. — Я чудовище. Я погряз в пороках.

— Жизнь — обман с чарующей тоской, — вздыхал Атос. — Вы еще молоды, и ваши горестные воспоминания успеют смениться отрадными.

— Жизнь пуста, — разбито говорил Валерьянка.

— Выпейте этого превосходного испанского вина, — меланхолично предлагал Атос.

Валерьянка запивал виски ромом, купался в шампанском и сплевывал коньяк. Крутилась рулетка, трещали карты, рассыпались кости: он сорвал все банки Монте-Карло, опустошенный Лас-Вегас играл в классики и ножички. Тьфу...

20) В каждом холодильнике отогревался водочкой Дед Мороз с подарками. Канарейки пели строевые песни с присвистом. Животные заговорили и рассказывали людям все, что о них думают. Обезьяны наконец-то превратились, посредством упорного труда, в людей и влились в братскую семью народов вселенной...

Всемогущество начало тяготить, как пресловутый чемодан без ручки: тащить тяжело, бросить жалко...

Валерьянка попробовал ввести для интереса ограничения и препятствия своим возможностям, но самообман с поддавками не прошел: преодолеть искусственные трудности, созданные себе самим, — занятие для идиотов.

— Петр Мефодиевич, а отказаться от всемогущества можно?

— Нельзя.

Учитель-мучитель... Ну, чего еще не было? Пробуксовка...

На одной планете обезьяны посадили людей в зоопарк. По будильнику кровать стряхивала спящего в холодную ванну. Ветчина охотилась на мясников. Девчонки, вечно желающие быть мальчишками, стали ими — различия между мужчинами и женщинами исчезли: ну и физиономии были у некоторых, когда они обнаружили это отсутствие различий!.. Детей не будет? — зато никто не вякает, алиментов не платить, стрессов меньше; а народу и так полно.

21) Он слонялся по ночному Парижу (шпага бьет по ногам) и затевал дуэли, коротая время. Время еле ползло. Мертвый якорь. Непобедимый бретер был прикован к всемогуществу, как каторжник к ядру. Раздраженный непреодолимым грузом, он трахнул этим ядром наотмашь.

„Веселый Роджер“ застил солнце, и теплые моря похолодели от ужаса, пиратский флот точил клинки. Не масштаб: Валерьянка спихнул Чингизхана с белой кошмы и нарек Великим Каганом себя. Пылали и рушились города, выжженная пустыня ложилась за спиной.

От его имени с деревьев падали дятлы. Он ехал на вороном, как ночь, коне, — весь в черном, с золотым мечом. При виде его люди теряли сознание, имущество и жизнь. Зловещий палач следовал за ним — Тристан-Отшельник из „Собора Парижской богоматери“.

Прах и пепел. Бич народов — Валерьянка, так его и прозвали.

Черный звездолет „Хана всему“ вспарывал кос-

мос, и обреченно метались на своих курортных планетах бестолковые красавцы.

22) Зачем он дал себе волю?! Может, вырвать эту страницу? Но выпадет и еще одна — из другой половины тетради: слишком заметно, и бессвязно получится...

Не видно никакого смысла в его последних действиях! Хм...

— Петр Мефодиевич... в чем смысл жизни? — решился Валерьянка.

— Сделать все, что можешь! — захохотал настырный пастырь.

Академию наук мобилизовали искать смысл жизни. Академики рвали седины, валясь с книжных гор. Пожарники заливали пеногонами дымящиеся ЭВМ. Смысл!

Творить добро? Для этого надо, во-первых, знать, что это такое, во-вторых, уметь отличать его от зла, в-третьих — уметь вовремя остановиться. Хоть с бессмертием: чего ценить жизнь, если от нее все равно не избавишься? Или со Спартакoм — а что тогда делать Гарибальди? И Возрождения не будет — чего возродить-то? Если всюду натворить добра, то в жизни не останется место подвигу, потому что подвиг — когда легче отдать жизнь, чем добиться справедливости. Исчезнет профессия героя — это не простят!

Несостоявшиеся герои всех эпох и народов гнались за Валерьянкой, потрясая мечами и оралами. Бежали полярники, тоскующие без льдов, доктора, разъяренные всеобщим здоровьем, строители, спившиеся без новостроек, — весь бессмертный безработный мир, кипящий местью и ненавистью к нему, своему благодетелю...

А навстречу неслись, смыкая окружение, спортсмены, лишённые рекордов, топыря могучие

руки, и красавицы, озверевшие в гареме от одиночества.

— За что?.. — задыхался удирающий Валерьянка. — Я же вам... для вас!.. А если печально... стойте — ведь есть

Четвертое правило всемогущества:

Чтобы ни делалось — я не виноват.

Камнем, бесчувственным камнем надо быть, чтоб сердце не разбилось людской неблагодарностью!

23) Валерьянка стал камнем.

Тверд и холоден. Все нипочем. Века, тысячелетия.

Когда надоело, он пророс травинкой. Зелененькой такой, мягкой. Чуть корова не сожрала.

Фигушки! Он сам превратился в корову. Во жизнь, ноу проблем: жуи да отрыгивай. Только рога и вымя мешают. И молоко, гм... доить?.. Лучше быть собакой. А если на цепь? Улететь птицей. А совы?

Утек он рекой в океан. Так прожил себе жизнью, наверное, семьсот, и...

24) — Заканчивайте, — предупредил Петр Мефодиевич. — Пора.

Ах, кончить бы чуть раньше — на том, как все было хорошо! И пихнула его нелегкая вылезти со своей готовностью: сидел бы тихо. А теперь ерунда какая-то вышла... все под конец испортил.

В тетрадке осталась одна страница. Хоть у него почерк размашистый, но — сколько успел накатать! Наверно потому, что не задумывался подолгу, а — без остановок.

Переписать бы... Уж снова-то он не наворотил бы этих глупостей, сначала обдумал бы как следу-

ет толком. Вообще нельзя задавать такое сочинение без подготовки. Предупредили бы заранее: обсудить, посоветоваться...

Он перелистал тетрадь в задумчивости. Словно бы раздвоился: один, единый во всех лицах, суетился в созданной им, благоустроенной до идеала (или до ошибки?) и испорченной Вселенной, а второй — как будто рассматривал некую стеклянную банку, внутри которой мельтешили все эти мошки, — эдакий аквариум, где он поставил опыт...

— Все, — приказал Петр Мефодиевич. — Ошибки проверять не надо.

...опыт, подошедший к концу, его удручает. И Валерьянка, повинувась сложному искушению — подгоняемый командой, влекомый этим последним чистым листом, втянувшийся в дело, раздосадованный напоротой чушью: уж либо усугубить ее до конца, либо кое-что перечеркнуть, и вообще — играть так уж играть, на всю катушку! — грохнул к чертям эту стеклянную банку, дурацкий аквариум, этот бестолковый созданный им мир, взорвал на фиг вдребезги. Чтоб можно было с чистой совестью считать все мыслимое сделанным, а тетрадь законченной и следующее сочинение начать в новой.

И в этот миг грянул звонок.

...Валерьянка сложил портфель и взял тетрадь. И растерялся — помертвел: тетрадь была чистой. Как...

Он только мечтал впустую!! Ничего не сделал! Лучше б хоть что-нибудь! Чего боялся?!

И увидел под партой упавшую тетрадь. Уффф... раззява. Он их просто перепутал.

— Урок окончен, — весело объявил Петр Мефодиевич, подравнивая стопку сочинений. — Обнадежен вашей старательностью.

Замешкавшийся Валерьянка сунул ему тетрадь, поспешая за всеми.

— Голубчик, — укоризненно окликнул Петр Мефодиевич, — ты собрался меня обмануть? — И показал раскрытую тетрадь: чистая...

— Я... я писал, — тупо проямлил Валерьянка, не понимая.

— Писал — или только хотел? М?

Наваждение. Сочинение покоилось в портфеле между физикой и литературой: непостижимым образом (от усталости?) он опять перепутал: сдал новую, уготованную для следующих сочинений.

— Извините, — буркнул он, — я нечаянно.

Петр Мефодиевич накрыл тетради своей книжкой и встал со стула.

Тут Валерьянка, себя не понимая (во власти маңдража — не то от голода, не то от безумно кольнувшей жалости к своему чудесному миру, своей прекрасной истории и замечательной вселенной), сбобел и отчаялся:

— Можно, я исправлю!

— Уже нельзя, — соболезнующе сказал Петр Мефодиевич. — Времени было достаточно. Как есть — так и должно быть, — добавил он, — это ведь свободная тема.

— Какая же свободная, — закричал Валерьянка, — оно само все вышло — и неправильно! а я хочу иначе!

— Само — значит, правильно, — возразил Петр Мефодиевич. — От вас требовалось не придумать, а — ответить; ты и ответил.

— Хоть конец чуть-чуть подправить!

— Конец и вовсе никак нельзя.

— А еще будем такое писать? — с надеждой спросил Валерьянка.

— Одного раза вполне достаточно, — обернулся

из дверей Петр Мефодиевич. — Дважды не годится. В других классах — возможно... Ну — иди и не греш.

В раздевалке вопила куча-мала, Валерьянку съездили портфелем, и ликование выкатилось во двор, блестящий лужами и набухавший почками. Гордей загнал гол малышне, Смолякова кинула бутерброд воробьям, Мороз перебежал перед троллейбусом и пошел с Лалаевой.

Книжный закрывался на перерыв, но Валерьянка успел приобрести за пятьдесят семь копеек, сэкономленных на завтраках, гашеную спортивную серию кубинских марок.

— Ботинки мокрые, пальто нараспашку, — приветствовала его Зинка. — Не смей шарить в холодильнике, я грею обед!

Холодильник был набит по случаю близящегося Мая, Валерьянка сцапал холодную котлету и быстро сунул палец в банку с медом, стоящую между шоколадным тортом и ананасом.

АПЕЛЬСИНЫ

Ему был свойствен тот неподдельный романтизм, который заставляет с восхищением — порой тайным, бессознательным даже, — жадно переживать новизну любого события. Такой романтизм, по существу, делает жизнь счастливой — если только в один прекрасный день вам не надоест все на свете. Тогда обнаруживается, что все вещи не имеют смысла, и вселенское это бессмыслие убивает; но, скорее, это происходит просто от душевной усталости. Нельзя слишком долго натягивать до предела все нити своего бытия безнаказанно. Паруса с треском лопаются, лохмотья свисают на месте тугих полотнищ, и никчемно стынет корабль в бескрайних волнах.

Он искренне полагал, что только молодость, пренебрегая деньгами — которых еще нет, — и здоровьем — которое еще есть, — способна создать шедевры.

Он безумствовал ночами; неродившаяся слава сжигала его; руки его тряслись. Фразы сочными мазками шлепались на листы. Глубины мира яснили; ошеломительные, сверкали сокровища на острие его мысли.

Сведущий в тайнах, он не замечал явного...

Реальность отковывала его взгляды, круша идеализм; совесть корчилась поверженным, но бессмертным драконом; характер его не твердел.

Он грезил любовью ко всем; спасение не шло; он истязался в бессилии.

Неотвратимо — он близился к ней. ОНА — стала для него — все: любовь, избавление, жизнь, истина.

Жаждающе взбухли его губы на иссушенном лице. Опущенный полумесяц ее рта тлел ему в сознании; увядшие лепестки так трепетали.

Он вышел под вечер.

Разноцветные здания рвались в умопомрачительную синь, где серебрились и таяли облачные миражи.

На самом высоком здании было написано: „Театр комедии“.

Императрица вздымалась напротив в бронзовом своем величии. У несокрушимого гранитного постамента, греясь на солнышке, играли в шахматы дряхлеющие пенсионеры.

— Ваши отцы вернулись с величайшей из войн, — сказал ему старичок.

— Кровь победителей рвет ваши жилы! — кричал старичок, голова его дрожала, шахматы рассыпались.

Чугунные кони дыбились вечно над взрыбленной мутью и рвали удила.

Регулировщик с красной повязкой тут же штрафовал мотоциклиста, нарушившего правила.

Солнце заходило над Дворцом пионеров им. Жданова, бывшим Аничковым.

На углу продавали белые пачки сигарет — и красные гвоздики.

У лоточницы оставался единственный лимон. Лимон был похож на гранату-лимонку.

Человечек схватил его за рукав. Человечек был мал ростом, непреклонен и доброжелателен. Человечек потребовал сигарету; на листе записной

книжки нарисовал зубастого нестрашного волка в воротничке и галстукe, и удалился, загадочно улыбаясь.

Он зашел выпить кофе. За кофе стояла длинная очередь. Кофе был горек.

Колдовски прекрасная девушка умоляла о чeм-то мятого верзилу; верзила жевал резинку.

Он перешел на солнечную сторону улицы. Но вечернее солнце не грело его.

Пока он размышлял об этом, кто-то занял телефонную будку.

Дороги он не знал. Ему подсказали.

В автобусе юноша с измученным лицом спал на тряском заднем сиденье; модные дорогие часы блестяли на руке.

На улице Некрасова сел милиционер, такой молоденький и добродушный, что кругом заулыбались. Милиционер ехал до Салтыкова-Щедрина.

Девчонки, в головокружительном обаянии юности, смеясь, спешили к подъезду вечерней школы. Напротив каменел Дворец бракосочетаний.

Приятнейший аромат горячего хлеба (хлебо-завод стоял за углом) перебивал дыхание взбухших почек.

„Весна...“ — подумал он.

ЕЕ не оказалось дома.

Никто не отворил дверь.

Он ждал.

Темнело.

Серым закрасил улицу тягостный дождь. Пряча лица в поднятые воротники, проскальзывали прохожие вдоль закопченных стен. Проносились автобусы, исчезая в пелене.

Оранжевые бомбы апельсинов твердели на лотках, на всех углах тлели тугие их пирамиды.

ПАУК

Беззаботность.

Он был обречен: мальчик заметил его.

С перил веранды он пошуршал через расчерченный солнцем стол. Крупный: серая шершавая вишня на членистых ножках.

Мальчик взял спички.

Он всходил на стенку: сверху напали! Он сжался и упал: умер.

Удар мощного жала — он вскочил и понесся.

Мальчик чиркнул еще спичку, отрезая бегство.

Он метался, спасаясь.

Мальчик не выпускал его из угла перил и стены. Брезгливо поджимался.

Противный.

Враг убивал отовсюду. Иногда кидались двое, он еле ускользал.

Укус смял. Он дернулся, припадая. Стена была рядом; он срывался.

Не успел увернуться. Тело слушалось плохо. Оно было уже не все.

Яркий шар вздулся и прыгнул снова.

Ухода нет.

В угрожающей позе он изготовился драться.

Мальчик увидел: две передние ножки сложились пополам, открыв из суставов когти поменьше воробьиных.

И когда враг надвинулся вновь, он прынул вперед и ударил.

Враг исчез.

Мальчик отдернул руку. Спичка погасла.

Ты смотри...

Он бросал еще, и враг не мог приблизиться.

Два сразу: один спереди пятился от ударов — второй сверху целил в голову. Он забил когтями, завертелся. Им было не справиться с ним.

Коробок пустел.

Жало жгло. Была белая боль. Коготь исчез.

Он выставил уцелевший коготь к бою.

Стена огня.

Мир горел и сжимался.

Жало врезалось в мозг и выело его. Жизнь кончилась. Обугленные шпешки лап еще двигались: он дрался.

...Холодная струна вибрировала в позвоночнике мальчика. Рот в кислой слюне. Двумя щечками он взял пепельный катышок и выбросил на клумбу.

Пространство там прониклось его значением, словно серовато-прозрачная сфера. Долго не сводил глаз с незаметного шарика между травинки, взрослея.

Его трясло.

Он чувствовал себя ничтожеством.

ЦИТАТЫ

„А старший топорник говорит: „Чтоб им всем сгореть, продам“.

Плотников, „Рассказы топорника“.

„Джефф, ты знаешь, кто мой любимый герой в Библии? Царь Ирод!“

О.Генри, „Вождь краснокожих“.

„Товарищ, — сказала старуха, — товарищ, от всех этих дел я хочу повеситься“.

Бабель, „Мой первый гусь“.

Однако! Я заржал. Ничего подбор цитаточек!

Записную книжку, черненькую, дешевую, я поднял из-под ног в толкотне аэропорта. Оглянулся, помахав ею, — хозяин не обнаружился. Регистрацию на мой рейс еще не объявляли; зная, как ощущается потеря записной книжки, я раскрыл ее: возможно, в начале есть координаты владельца.

„Я б-бы уб-бил г-г-гада“.

Р.П. Уоррен, „Вся королевская рать“.

„Хотел я его пристрелить — так ведь ни одного патрона не осталось“.

Бр. Стругацкие, „Парень из преисподней“.

„Я дам вам парабеллум“.

Ильф, Петров, „12 стульев“.

Удивительно агрессивные записи. Какой-то литературовед-мизантроп. Читатель-агрессор. Зачем ему, интересно, такая коллекция?

„Расстрелять, — спокойно проговорил пьяный офицер“.

А. Толстой, „Ибикус“.

„К тому времени станет теплее, и воевать будет легче“.

Лондон, „Мексиканец“.

Нечто удивительное. Материалы к диссертации о милитаризме в литературе? Военная терминология в художественной прозе?.. Я перелистал несколько страниц:

„У нас генералы плачут, как дети“.

Ю.Семенов, „Семнадцать мгновений весны“.

„Имею два места холодного груза“.

Б.Богомолов, „В августе сорок четвертого“.

Я перелистнул еще:

„Заткнись, Бобби Ли, — сказал Изгой. — Нет в жизни счастья“.

Ф.О'Коннор, „Хорошего человека найти нелегко“.

„И цена всему этому — дерьмо“.

Гашек: трактирщик Паливец, „Швейк“.

„Лежи себе и сморкайся в платочек — вот и все удовольствие“.

Н.Носов, „Незнайка“.

Эге! Незвестный собиратель цитат, кажется, перешел на вопросы более общие. Отношение к более общим вопросам бытия тоже не сверкало оптимизмом.

Странички были нумерованы зеленой пастой. На страничке шестнадцатой освещался женский вопрос:

„Хорошая была женщина. — Хорошая, если б стрелять в нее три раза в день“.

Ф.О'Коннор, „Хорошего человека найти нелегко“.

„При взгляде на лицо Паулы почему-то казалось, что у нее кривые ноги“.

Э.Кестнер, „Фабриан“.

„Жене: „Маня, Маня“, а его б воля — он эту Маню в мешок да в воду“.

Чехов, „Печенег“.

Облик агрессивного человеконенавистника обогатился конкретной чертой женоненавистничества. Боже, что ж это за забавный человек?

Но вот цитаты, посвященные, так сказать, гостеприимству:

„Я б таким гостям просто морды арбузом разбивал“.

Зощенко.

„Увидев эти яства, мэтр Кокнар закусил губу. Увидев эти яства, Портос понял, что остался без обеда“.

Дюма, „Три мушкетера“.

„Не извольте беспокоиться, я его уже поблевал“.

Колбасьев.

„Попейте, — говорят, — солдатики. Так мы им в этот жбанчик помочились“.

Гашек, „Швейк“.

„У Карла всегда так уютно — говорит один из гостей, пытаясь напоить пивом рояль“.

Ремарк, „Черный обелиск“.

Цитаты были приведены явно вольно. Некоторые даже слегка перевраны. Уж Чехова и Зощенко я помнил.

Но зачем они владельцу книжки? Эрудиция начетчика? Остроумие бездельника, отлакированное псевдообразованием? Реплики на все случаи жизни? Блеск пустой головы? Конечно, цитирование с умным видом может заменить в общении и ум, и образованность...

И тут же наткнулся на раздел, близкий к моим размышлениям:

„И находились даже горячие умы, предрекавшие расцвет искусств под присмотром квартальных надзирателей“.

Салтыков-Щедрин, „История одного города“.

„Проклинаю чернильницу и чернильницы мать!“

Саша Черный.

„Мосье Левитан, почему бы вам не нарисовать на этом лугу коровку?“

Паустовский, „Левитан“.

Объявили регистрацию на мой рейс. Оценив толпу с чемоданами, я взял свой портфельчик и подошел к справочному: пусть объявят о пропаже. У стеклянной будочки топталось человека четыре, и я, не отпускаемый любопытством, листал через пятое на десятое:

„Если б другие не были дураками — мы были бы ими“.

В.Блейк.

„Говнюк ты, братец, — печально сказал полковник. — Как же ты можешь мне, своему командиру, такие вещи говорить?“

Серафимович, „Железный поток“.

„Ничего я ему на это не сказал, а только ответил“.

Зощенко.

Страничка 22 вдруг касалась как бы национального вопроса:

„Его фамилия Вернер, но он русский“.

Лермонтов, „Герой нашего времени“.

„А наша кошка тоже еврей?“

Кассиль, „Кондуит и Швамбрия“.

„Меняю одну национальность на две судимости“.

Хохма.

Я приблизился к окошечку, взглянул на длинную еще очередь у стойки регистрации — и, отшагнув и уступая место следующему за мной, полистал еще. В конце значились какие-то искалеченные, переименованные поговорки:

„Любишь кататься — и катись на фиг“.

„Чем дальше в лес — тем боже мой“.

„Что посмеешь — то и пожмешь“.

Последняя страница мелко исписана фразами из анекдотов — все как один бородатые, подобные, видимо, тем, за какие янки при дворе короля Артура повесил сэра Дэнейди-шутника.

„Массовик во-от с таким затейником!“

„Чего тут думать? трясти надо!“

Переделанные строки песен:

„Мадам, уже падают дятлы“.

„Вы слышали, как дают дрозда?“

„Лица желтые над городом кружатся“.

Это уже походило на неостроумное глумление. Я протянул книжку милой девочке в окошечке справочного и объяснил просьбу.

— Найдена записная книжка черного цвета с цитатами! Гражданина, потерявшего, просят...

Я чуть поодаль ждал с любопытством — подойдет ли владелец? Каков он?

Объявили окончание регистрации. Я поглядывал на часы и табло.

В голове застряли несколько бессвязных цитат:

„Жирные, здоровые люди нужны в Гватемале“.

О.Генри, „Короли и капуста“.

„И Вилли, и Билли давно позабыли, когда собирали такой урожай“.

Высоцкий, „Алиса в стране чудес“.

„Поле чудес в стране дураков“.

Мюзикл „Буратино“.

„И тут Эдди Марсала пукнул на всю церковь. Молодец Эдди!“

Сэлинджер, „Над пропастью во ржи“.

„Стоит посадить обезьяну в клетку, как она воображает себя птицей“.

журн. „Крокодил“.

„Не все то лебедь, что над водой торчит“.

Станислав Ежи Лец.

„Умными мы называем людей, которые с нами соглашаются“.

В.Блейк.

„Почему бы одному благородному дону не получить розог от другого благородного дона?“

Бр. Стругацкие, „Трудно быть богом“.

„В общем, мощные бедра“.

Там же.

„Пилите, Шура, пилите“.

Ильф, Петров, „12 стульев“.

„А весовщик говорит: Э-э-эээ-ээээээээ...“

Зощенко.

„Приходить со своими веревками, или дадут?“

Мне вспомнился однокашник (сейчас ему под сорок, а все такой же идиот), у которого было шуток шесть на все случаи жизни. Через полгода знакомства любой беззлобно осаживал его: „Степаша, заткнись“. На что он, не обижаясь, отвечал — тоже всегда одной формулой: „Запас шуток ограничен, а жизнь с ними прожить надо“. И живет!

Вспомнил и старое рассуждение: три цитаты — это уже некое самостоятельное произведение, они как бы сцепляются молекулярными связями, образуя подобие нового художественного единства, взаимобогащаясь смыслом.

Я уже давно читаю очень медленно — возможно, реакция на молниеносное студенческо-сессионное чтение, когда стопа шедевров пропускается через мозги, как пулеметная лента, — только пустые гильзы отзвываются. И с некоторых пор стал обращать внимание, как много афористичности, да и просто смака в массе фраз настоящих писателей; обычно их не замечаешь, проскальзываешь. Возьми чуть не любую вещь из классики — и наберешь эпиграфов и высказываний на все случаи жизни.

Причем обращаешь внимание на такие фразы, разумеется, в соответствии с собственным настроением: вычитываешь то, что хочешь вычитать; на то они и классики... В принципе набор цитат, которыми оперирует человек, — его довольно ясная характеристика. „Скажи мне, что ты запомнил, и я скажу тебе, кто ты...“

И тут он подошел к справочному — торопливый, растерянно-радостный. Средних лет, хорошо одет, доброе лицо. Странно...

Улыбаясь и жестикулируя, он вертел в руках свой цитатник, что-то толкуя девушке за стеклом. Она приподнялась и указала на меня.

Он выразил мне благодарность в прочувственных выражениях, сияя.

— Простите, — сознался я, мучимый любопытством, — я тут раскрыл нечаянно... искал данные владельца... и увидел...

Как вы объясните человеку, что прочли его записи, а теперь хотите еще и выяснить их причину? Но он готовно пришел на помощь:

— Вас, наверно, позабавил подбор цитат?

— Да уж, заинтриговал... Облик вырисовывался такой... не соответствующий... — Я сделал жест, обрисовывающий собеседника.

— А-а, — рассмеялся он. — Видите ли, это рабочие записи. По сценарию один юноша, эдакий пижон-нигилист, произносит цитату — характерную для него, задающую тон всему образу, определяющую интонацию данной сцены, реакцию собеседников и прочее...

— Вы сценарист?

— Да; вот и ищу, понимаете...

— И сколько фраз он должен произнести?

— Одну.

— И это все — ради одной?! — поразился я.

— А что ж делать, — вздохнул он. — За то нам и платят: „За то, что две гайки отвернул, — десять копеек, за то, что знаешь, где отвернуть, — три рубля“.

Я помнил это место из старого фильма.

— „Положительно, доктор, — в тон сказал я, — нам с вами невозможно разговаривать друг с другом“.

Он хохотнул, провожая меня к стойке: все прошли на посадку.

— Вот это называется пролегомены науки, — сказал он. — „Победа разума над сарсапариллой“.

Мне не хотелось сдаваться на этом конкурсе эрудитов.

— „Наука умеет много гитик“, — ответил я, пожимая ему руку, и пошел на перрон. И вслед мне раздалось:

— „Что-то левая у меня отяжелела, — сказал он после шестого раунда“.

— „Он залпом выпил стакан виски и потерял сознание“.

Вот заразная болезнь!

„Не пишите чужими словами на чистых страницах вашего сердца“.

„Молчите, проклятые книги!“

„И это тоже пройдет“.

ХОЧУ В ПАРИЖ

Хотение в Париж бывает разное. На минуточку и навсегда, на экскурсию и на годик, служебное и самодеятельное, необоснованное и законное, неотвязное и мимолетное, всерьез и в шутку: „Я опять хочу в Париж. — А что, вы там уже были? — Нет, я уже когда-то хотел“. Всемирная столица искусств и мод, вкусов и развлечений, славы и гастрономии, парфюмерии и любви — о далекий, манящий, загадочная звезда, сказочный Париж, совсем не такой, как все остальные, обыкновенные и привычные, города. Париж д'Артаньяна и Мегрэ, Наполеона и Пикассо, Людовиков и Брижит Бардо. Бельмондо, Шанель, Диор, Пляс Пигаль, Монмартр, бистро, мансарды... ах — Париж!.. Вдохнуть его воздух, пройти по улочкам, обмереть под Нотр-Дам, позавтракать луковым супом, перемигнуться с пикантной парижанкой, насладить слух разноязыкой речью, кануть в вавилонские развлечения, кинуть франк бездомному художнику, растаять в магазинном изобилии, купить жареных каштанов у торговки, узнать вкус абсента и перно... ах — Париж! Хрустальная мечта, магнетическое сияние, недостижимый идеал всех городов, искус голодных душ. Вернуться и до конца дней вспоминать, рассказывать, где ты был и что ты видел, — или рискнуть, преступить, сыграть с судьбой в русскую рулетку, остаться, слиться с его плотью, стать его частицей, — или гордо покорить,

пройти сквозь нищету, подняться к сияющей славе, добиться всемирного успеха, денег, поклонения, репортеры, экипажи-скачки-рауты-вояжи, летняя вилла в Ницце, особняк на Елисейских полях... Один знаменитый весельчак композитор поведал телезрителям, что весну он предпочитает проводить в Париже. Тонкая шутка не была понята: миллионы безвестных и рядовых тружеников дрогнули в возмущенной зависти к наглому счастливцу, ежегодно празднующему весну в Париже, где цветут каштаны и доступные женщины на берегах Сены под сенью Эйфелевой башни. Короче, кому ж неохота в Париж. А спроси его, что он в том Париже оставил? Побывать, походить, посмотреть... даже не обарахлиться, это и в Венгрии можно... а печально: жить, зная, что так до смерти и не увидишь его, единственный, неповторимый, легендарный, где жилали все знаменитости, и помнили, и вздыхали ностальгически: „Ну что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж?“ Неистребимая потребность, бесхитростная вера: есть, есть где-то все, чего ни возжаждаешь — красота, легкость, романтика, свобода, изобилие, приключение, слава; смешной символ красивой жизни — Париж. Боже мой, как невозможно представить, что из Свердловска до Парижа ближе, чем до Хабаровска. Как невозможно представить, что там кто-то может так же просто жить, как в Конотопе или Могилеве.

Итак, в один прекрасный день Кореньков захотел в Париж.

В пятом классе Димка Кореньков посмотрел в кино „Трех мушкетеров“. И — все.

Он вышел из зала шатаясь. Слепо бродил два часа. Вернулся к кинотеатру и встал в очередь.

Денег на билет не хватило. Помертвев, он двинулся домой и выклянчил у матери рубль, задыхаясь, понесся обратно: успел.

После девятого раза Париж стал для него реальнее окружающей скукоты.

Жизнь в городишке была небогатая. Пассажирский поезд проходил дважды в неделю. Местных хулиганов знали наперечет. Изредка заезжали областные артисты. Пробуждающаяся Димкина душа, неудовлетворенная обыденностью, оказалась затронута в заветной глубине.

Обрушился удар — фильм сняли с экрана. Димка горевал, пока не просияла надежда: он впервые отправился в библиотеку и взял „Три мушкетера“. Ту ночь не спал: сидел в туалете их коммуналки и читал...

Вернуть книгу было выше его сил — он легче растался бы с рукой. Почта принесла суровое извещение об уплате пятикратной стоимости. Отец отвесил Димке воспитующий подзатыльник. Такова была первая его жертва на тернистом пути к мечте.

Познав наизусть „Трех мушкетеров“, Димка обнаружил „Двадцать лет спустя“ и „Виконта де Бражелона“. Упоительно и безмерно счастлив, он погрузился в яркий и отважный мир Люксембургского дворца и Пре-о-Клер, где дамы мели шлейфами паркетов, взмыленные кони с грохотом мчали кареты через горбатые мосты и шпаги звенели и сверкали в лучах заходящего солнца. Его выдернули из грез, как рыбку из речки, — четверть окончилась, он не успевал по всем предметам, грандиозный скандал разразился.

— Хоть что-нибудь ты знаешь? — скучно спросила классная, прикидывая втык от педсовета за Димкины успехи.

— Париж стоит мессы, — нахально выдал Димка. — Эю равняется трем ливрам, а пистоль — десяти!

Класс возопил триумф над племенем педагогов. Кличку Француз Дима принял как посвящение в

сан. Раньше он не выделялся ничем: ни силой, ни храбростью, ни умением драться, ни знаниями, ни умом, ни престижными родителями. В секцию его не приняли по хилости, кружки не интересовали, музыкальный слух отсутствовал. Париж придал ему индивидуальность, выделил из всех, и в любовь к Парижу он вложил все отпущенные природой крохи честолюбия и самоутверждения — это был его мир, здесь он не имел конкурентов.

Упрочивая репутацию и следуя течению событий, он вытребовал в библиотеке слышную „Историю Франции“. Нарабатывал осанку, гордое откидывание головы. Отрепетировал высокомерную усмешку. С герцогской этой усмешкой сообщал о невыполненных уроках, не снисходя до уловок. Учителя и родители, одолевая бешенство, списывали выкрутасы на трудности переходного возраста; задышали и строили планы воспитательной работы. Они ничего не понимали.

— Ты правда знаешь французский? — спросила Сухова, красавица Сухова, глядя непросто.

Французский в их дыре не звучал со времен наполеоновского нашествия; Димка зарылся в поиски и добыл учебник, траченный мышами и плесенью. Выламывал губы перед зеркальцем — ставил артикуляцию. И все реже отсиживал в школе, зато в нее все чаще вызывали отца.

Отец попомнил домострой и выдрал его с тщанием.

— Еще тронешь — сбегу, — прерывистым фальцетом пообещал Димка, когда экзекуция перешла в стадию словесную.

— Куда ты убежишь? — вскрикнула мать, вскинув полотенце.

— В Париж! — зло припечатал Димка. Серьезно.

„Во блажь очередная... Слетит“. Блажь не слетала. Жизнь обрела стержень: Париж был интереснее,

красивее, лучше дурной повседневной дребедени. Он уже знал Париж вернее собственного района: Версаль, Сен-Дени, Иври, Сите!.. Окружающее касалось его все меньше, плыло мимо, не колыхало.

После восьмого класса школа с облегчением сбросила бэзкнутаго в лоно ПТУ. И то сказать: хотение в Париж — это еще не профессия.

Годы в ПТУ не отяготили Димкино сознание. Он чего-то делал в мастерских, чего-то слушал в классах, а на самом деле хотел в Париж. Хотение начало давать результаты, пока как бы промежуточные: с ним считалась прекрасная половина училища — он досконально знал, что носят в Париже. Неведомыми путями приплывал каталог мод, сиял глянцем, вгонял в пот провинциальных портняжек, не чаявших обшивать маркизов и виконтов. В конце концов сермяжную продукцию родной областной фабрики взяли перешивать ему две девочки в обмен на консультации. „Так носят в Париже“, — снисходительно ронял он местным денди в клепах с жестяными пражками.

На каникулах он приобрел в областном центре пластинки с уроками французского, пылившиеся там с одна тысяча девятьсот незапамятного года. Гонял их до опизения на найдешевейшем проигрывателе „Юность“, шлифуя произношение.

Поскольку французы предпочитают пить красное вино, он предпочитал исключительно его серьезному мужскому напитку водке. Запив в парадняке красным рагу и паштет, приготовленные матерью по списанному рецепту, он чувствовал, что вкусил сегодня вполне французскую трапезу.

Сложнее оказалось с луковым супом. „Книга о вкусной и здоровой пище“ рецепта не давала. Димка сам разварил лук в лохмотья, бухнул в мутную водичку поболе соли, перца и лаврового листа (фран-

цузская кухня острая) и через силу выхлебал ложкой; прочие домочадцы, отведав и сплюнув, от деликатеса мягко отказались.

Апофеозом гастрономических изысков явилась варка лягушек. Нацапав в болоте десяток квакух, Димка улучил час, когда дома никого не было, и приволок добычу на кухню. Не будучи дилетантом, он знал, что едят только задние лапки, с дрожью отделил их и размесил с суповой кастрюле, помолвившись, чтоб мать не узнала. Определив готовность, скомандовал себе: „Пора!“ — и действительно сунул в рот маленькую, похожую на цыплячью, лапку и сжал челюсти, но тут здоровый русский организм воспротивился насилью над своей природой, желудок лягушек отверг; Димка отпился холодной водичкой и помыл в кухне пол. И еще долго стыдился своего тайного позора.

Зато с девушками он в свой срок сделался свободен и даже развязен. Атмосфера Парижа фривольна, парижанин живет легкой и игривой, как шампанское, любовью: тонкий флирт, мимолетная измена, элегантный роман. Обычно Димкины избранницы не могли вот так сразу настроиться на парижский лад, иногда отказ происходил в форме категорической и грубой, он насмешливо утешался их глухим провинциализмом: „Да, это не Париж“. Но и когда его пылкая страсть была разделяема — он оставался недоволен. Где талия, тонкая, как у цветка? Где грудь, упругая, как резиновый мяч? Где шаловливый задор, прикушенная губка? И где, наконец, неземное блаженство? А тайная белая пена кружев тончайшего белья? Вот уж по части белья местные Манон были столь же бессильны, сколь невиновны, облекая свои юные прелести в стеганую холстину с желтыми костяными пуговицами и байку с начесом... горький осадок не исчезал.

Может составить впечатление, что он был ка-

ким-то маньяком, параноиком. Да нет, он был, в общем, совершенно обычным парнем, ну просто он хотел в Париж, хотеть ведь никому не запрещено. У каждого свое хобби, или свой таракан в голове, как сказали бы англичане. Ну, с легким прибабахом, бывает. Он бы и поехал в Париж, да понятия не имел, с какого конца за это дело взяться. Иностранец было словом ругательным, политическим ярлыком. За границу уезжали дипломаты или предатели. Но не одни же дипломаты и предатели за границу наезжают. У него не было никаких конфликтов с Родиной, никаких несогласий, он был за социализм — он ведь и в Париж-то хотел не навсегда, а так, посмотреть, пожить немного, ну от силы года два; но кому и как это объяснишь?..

А фанерная этажерка заполнялась книгами о Париже. С закрытыми глазами он мог бы пройти из пятого арандисмана в четырнадцатый. Он высчитал количество шагов от Лувра до „Ротонды“, принимая длину шага равной семидесяти сантиметрам. В нем родилось знакомое некоторым чувство: он словно вспоминал о Париже, хотя там не был. Однажды он с пронзительной достоверностью почувствовал себя парижанином, неведомо как заброшенным в этот дальний глухой угол.

В армии, слава Богу, из него эту дурь подвыбили. Напомнили об империализме, колониализме, ненужной большой армии, кстати, позорно разбитой в восемьсот двенадцатом году, интервенции, безработице, проституции и эксплуатации. Рядовой Кореньков (молодой-необученный, салажня, еще варешку разевает!) пытался проповедовать насчет Сопротивления, Жанны Лябурб, Марата и голубки Пикассо, но первейшие доблести солдата есть дисциплина и выполнение приказа, направление мыслей беспрекословное, налево — кру-гом. И для укрепления правильного направления мыслей лепили наряды.

Мысли Димкины направления не изменили, но что подразвезалось, что упряталось поглубже: солдат вышел исправный. Французский стал подзабываться, так ведь и по-русски к отбою язык заплетается.

Перед дембелем подсекло: выяснилось, что он знаком с военной техникой и прочими секретными вещами и теперь на нем пять лет карантина — без права поездок за границу.

— Ты что, Кореньков, за границу, что ли, собрался? — удивился замполит его реакции на известие.

— Никак нет, — заготовленно соврал Димка. — Хотел учиться в институте на переводчика.

— О? Пока выучишься — время и пройдет!

Дома Димка отдохнул месяц и затосковал. Когда тебе двадцать, пять лет — срок бесконечный... Да эх, еще не старость. Прочитал объявление о наборе и сорвался в областной центр; все ж фабрика, институт — цивилизация. А там обвыкся, перевез в общагу свои книжки и пластинки и терпеливо принялся за старое.

Мечты мечтами, жизнь жизнью: из череды девочек как-то выделилась одна, высветилась, открылась — единственная. Димка влюбился. Димка потерял голову. И оказалось, что будет ребенок... Так он женился. В общем, счастливо женился, не жалел.

Он помогал жене стирать пеленки, собирал справки для получения квартиры, вечерами слушали по приемнику французскую музыку, он переводил слова, учил ее одеваться так, как носят в Париже, ей это нравилось поначалу, подкупало: „Я сразу увидела, что ты не такой, как все...“

Сыну было три года, а Димке двадцать шесть, когда родилась дочка, а квартиры все еще не было, снимали комнату. Теперь он прекрасно представлял, что попасть в Париж безмерно трудно, практически нереально, и в любом случае сначала требовалось

добыть семье крышу над головой... родная же кровь...

В тридцать два он получил от фабрики квартиру. На радостях влезли в долги, купили всю мебель, а дети росли, одежда на них горела. Димка прихватывал сверхурочно, жена часто сидела дома на справке: корь, свинка, грипп, — жизнь текла, как заведено, чем дальше, тем быстрее.

Париж стал абстрактным, как математическая формула, но столь же неотменимым. Димка не пил, не болел в футбол, не играл в домино, не ездил на рыбалку, не копил на машину: он готовил себя к свиданию, которое когда-нибудь состоится. Тайком встречался с учительницей французского языка; жена чуяла, ревновала, хотя учительница была молодая и некрасивая. Учительница радовалась родственной душе, она тоже никогда не была в Париже, а французскому ее научили в пединституте преподаватели, которые тоже никогда не были в Париже, по учебникам, авторы которых там тоже не были. Странный город.

Стать моряком заграничавания и сбежать в капстране? И поздно, и позорно, и семью не бросишь... слишком много здесь.

Времена между тем шли, и кое-что менялось. В городе построили новую гостиницу, и в нее стали иногда приезжать иностранцы. К разочарованию Коренькова, построившего знакомства с администраторшей и швейцаром, французов не было: болгары, поляки, восточные немцы.

...И вот однажды, получив письмо от сына из армии, он вздохнул и подивился быстротечности времени, усмехнулся безнадежно себе в зеркало — полысевший с темени, поседевший с висков, погрубевший в талии... и понял с леденящей ясностью, что все эти годы обманывал себя, что никогда ни в какой Париж он не поедет.

И стало — легче.

Словно обруч распался — освободил грудь: исчезли выматывающая надежда, томительная неопределенность. Он даже просиял. Сплюнул. „Нереально так нереально. И черт с ним, что за ерунда!“

Этой освобожденной легкой приподнятости хватило на два дня. На третий обнаружилась сосущая черная пустота в душе, где-то в районе солнечного сплетения.

Кореньков выпил, и ему полегчало.

Запил он по-черному, прогулял фабрику; на первый раз простили.

Жена поплакала, он покаялся, через неделю сорвался опять.

— Из меня будто хребет вынули, понимаешь? — объяснил он.

Справлял затянувшиеся поминки по мечте: постепенно исчезли книги, пластинки, проигрыватель, магнитофон и, наконец, приемник — истаяла и лопнула нить, связывающая его с Парижем.

Но иногда ему снился голубой город, ажурные набережные в текучих огнях, быстрый картавый говор, и тогда он просыпался утром, черен, не шел на работу, педил дрянное разведенное пиво у ларька и дожидался открытия винного.

Жена раньше прихвастывала перед соседками редкостным мужем, теперь бегала к ним же на кухне, они всплакивали о судьбине и костерили алкашей, и оттого, что у других так же, и ничего, живут, становилось легче.

Давно уже он не перешивал купленные костюмы, не выбирался по выходным „на пленэр“, не покупал у знакомой киоскерши „Юманите“ — он вкалывал, безропотно отдавал жене зарплату, утаивая на выпивку, и покорно принимал ругань и причитания после позднего и нетрезвого возвращения домой.

Он плелся домой мимо гостиницы, когда в его сознание проникло что-то постороннее, мешающее:

странное. Он досадливо собрал хмельные мысли — и споткнулся, застыл в стойке, как голодный пес: донеслась французская речь! („Я волнуюсь, заслышав французскую речь“, — вдруг завертелась в голове бешеная пластинка.) Трое мужчин и молодая дама вышли из „Волги“, швейцар излучил радушие при входе, и, как горохом, перебрасываясь быстрыми фразами, они проследовали внутрь!..

Неотвратимо, подобный ожившей статуе, Кореньков двинулся следом. Он будто со стороны отмечал, как совал деньги швейцару, администратору ресторана, официанту, как втиснулся за столик, что-то пил и чем-то закусывал, всем существом устремленный к тем четверым — они почти не пили, держались как-то по-особенному свободно, болтали, — и он почти все понимал: ужасные сроки согласования какого-то документа, длинные дороги, русские художники в Париже...

Они расплатились. Кореньков подошел, задевая стулья.

— Вы из Парижа? — отчаянно спросил он без предисловий.

Компания воззрилась, замолчав.

— О, вы говорите по-французски? — приятно улыбнулся один, носатый, без подбородка, похожий в профиль на доброго попугая.

— Иногда, — сказав Кореньков. — И что мне здесь с этого толку?

Французы рассмеялись вежливо.

— Мы не ожидали услышать здесь... — с нотками воспитанной очужденности начала дама...

— Вы из Парижа? — повторил Кореньков, перебывая.

— Из Парижа, — повторил маленький, весь замшевый, шарик. И были они все чистенькие, промытые, не по-нашему небрежные. — А что, у вас особое отношение к этому городу?

— Ребята... — проговорил Кореньков, и голос его сел до сипа, шепота, мольбы. — Ребята, — проговорил он, — давайте выпьем. Вы не понимаете, что такое Париж.

Французы отреагировали весело. Возник администратор и стальной хваткой поволок Коренькова. „Т-тебе чего, это иностранцы, вали, ну“, — прошипел он.

Кореньков вцепился в скатерть:

— Господа, прикажите мерзавцу подать стул и прибор, меня заберут в милицию, помогите!

Неловко бросать почти знакомого в беде — солидарность возникла: французы достойно загалдели, зажестичулировали.

— Этот человек — их гость, они его пригласили, — на чистейшем русском сказала дама; Кореньков сообразил: переводчица.

Официант неодобрительно обслужил.

Происшествие сблизило, наладился разговор, расспросы.

— У вас почти чистое парижское произношение!

Поаплодировали; чокнулись; изумлялись:

— И вы самостоятельно... Признайтесь: разыгрываете?

— Сколько лет...

— Так почему вы давно туда не съездили?

— Вам бы наши заботы, — туманно ответил Кореньков; все-таки он был нетрезв.

Прекрасную сказку не могли омрачить мелочи: у входа его забрали дружинники, доставили в отделение, составили протокол о приставании к иностранцам, отправили в вытрезвитель; ха.

Утром он на удивление сиял среди измятых рож казенного дома, умолил не посылать бумагу на работу, оставил в залог часы и пропуск, схватил такси, занял денег, уплатил штраф и примчался к жене — устроил сплошной праздник: уборку, стирку, по-

целуи, клятвы, песни и пляски. Его распирало, он летал, он парил над землей, в звоне серебряных колокольчиков.

Переводчица объяснила: теперь все реально, есть „Интурист“, есть ОВИР, турпутевки, поездки по приглашению; стоит это круто, но в пределах возможного.

Коренькова залихорадило. Он стал восстанавливать свою французскую библиотечку, слушать французскую музыку; и начал копить деньги.

Полюбил прогуливаться вблизи гостиницы, иногда посиживал в ресторане; еще дважды удалось свести знакомства — французы консультировали здесь строительство новой фабрики по их проекту. Последняя группа решительно отказалась признать его за русского, не нюхавшего Франции, и заподозрила, кажется, в провокации. А выказанное им доскональное знание Парижа просто поставило их в тупик.

— Вы могли бы работать гидом в Париже.

— Я попробую, — спокойно ответил Кореньков.

Зал за залом перечислял он коллекцию Лувра. Французы, переглянувшись, признались, что искусство — не их хобби.

— Видите ли, мсье, мы не посещаем Париж, мы в нем живем, а это совершенно разные вещи.

Ему обещали прислать приглашения, но пришло только одно. В соответствующем месте Коренькову разъяснили, что он практически не знаком с приглашающим, а годится лишь настоящее знакомство, длительное, с перепиской. Полтора года Кореньков переписывался с одним добрым шевалье, но приглашение почему-то не пришло...

А в другом месте ему после строгого внушения разъяснили, что такое его невыдержанное поведение может только навредить в случае оформления за границу: неясные контакты с иностранцами.

„Интурбюро“ раскрыло, что путевки во Францию (поулыбались) приходят сравнительно редко и распределяют их исключительно по профсоюзной линии.

Кореньков прикинул свой стаж, разряд, дисциплину. По собственному почину взял повышенные обязательства. После перевыборов сделался профоргом бригады. Он как бы пытался забить очередь, понимая проблематичность урвать столь лакомый кусок...

И однажды действительно пришла путевка во Францию, на двенадцать дней, стоимостью две тысячи сто рублей; но поехал замдиректора по коммерции — руководитель, с высшим образованием, ветеран...

Вышла замуж дочь, отложенные деньги ухнули на свадьбу: застолье, платье, первое обзаведение для молодых — все нужно, как у людей, куда ж денешься.

Время летело, женился сын, появились внуки, внукам хотелось делать подарки, жена все чаще прихварывала, рекомендовалось отправить ее в санатории, и все требовало сил, времени, денег, денег, времени, сил...

А перед сном Кореньков закрывал глаза и думал о Париже — спокойно и даже счастливо. Так в старости вспоминают о первой любви: давно стихла боль, сгладились терзания, рассеялись слезы, и осталась лишь сладкая память о красоте, о потрясающем счастье, и вызываешь воспоминания вновь и вновь, они уже не мучат, как некогда, а дарят тихой отрадой, умилением, убежищем от тягостного быта, мирят с действительностью: было, все у меня было и останется навсегда. Он неторопливо шествовал с набережной д'Орсэ в зелень Булонского леса, помаживая тросточкой, молодой, хорошо одетый, бодрый и жадный до впечатлений, смеющийся, выпивал под

полосатым тентом бистро стакан кислого красного вина, жмурился от дыма крепкой „Голуаз“ и предвкушал, как кутнет у „Максима“, разорится на отборную спаржу и дорогих плоских устриц, выжав на них половину лимона и запивая белым, старого урожая вином, пахнущим дымком сожженных листьев и сентябрьскими заморозками. Он сроднился с утопией, достоверно казалось, что это на самом деле было, или, наоборот, завтра же сбудется, и такое двойное существование было ему приятно.

А наутро в шести сорока пяти ехал на фабрику.

Ему было пятьдесят девять, и он собирал справки на пенсию, когда в профком пришли две путевки во Францию.

— Слышь, Корень, объявление в профкоме видел? — спросил в обед Виноградов, мастер из литейки.

— Нет. А чего? — Кореньков взял на поднос кефир и накрыл стакан булочкой.

— Два места в Париж! — сказал Виноградов и подмигнул.

Кореньков услышал, но как бы одновременно и не услышал, и стал смотреть на кассиршу, не понимая, чего она от него хочет. „Семьдесят шесть копеек!“ — разобрал он наконец и все равно не знал, при чем тут он и что теперь надо делать.

— Да ты что, дед, чокнулся сегодня! — закричала кассирша. — Давай свой рубль!

Кореньков послушно протянул рубль, от этого поднос, который теперь он держал только одной рукой, накренился и весь обед с плеском загредел на пол, эти посторонние звуки ничего не значили.

— Ой, ну ты вообще! — закричала кассирша. — Переработал, что ли!

В конце перерыва Кореньков обнаружил себя на привычном месте в столовой, под фикусом, лицом ко входу, перед ним лежали вилка, ложка и чайная ло-

жечка. Стрелка дошла до половины, он встал и спустился по лестнице в цех.

На скамейке у батареи, где грохотали доминошники, выкурил сигарету, заплывавая окурком, и как-то сразу оказался в профкоме.

Там скрыли смущение: страсть Коренькова слыла легендой, а права у него, строго говоря, имелись... Толкнув обитую дверь, он нарушил беседу председательницы с подругой-толстухой и вперился в нее вопросительно, требовательно и мрачно.

— Ко мне, Дмитрий Анатольевич? — осведомилась председательница певуче.

— Путевки пришли, — вопросительно-утвердительно сказал Кореньков.

— Какие путевки? В санаторий? — приветливо переспросила та.

— Во Францию, — тяжело рек Кореньков, выдвигаясь на боевые рубежи.

— Ах, во Францию, — любезно подхватила она. — Ну, еще ничего не пришло, обещали нам из Облсовпрофа одно место, может быть, два...

— Я первый на очереди, — страшным шепотом прошелестел он.

— Мы помним, обязательно учтем, кандидатуры будут разбираться... открытое обсуждение...

Дремавшее в нем опасение вскинулось зверем и вгрызлось Коренькову в печенки. Протаранив секретаршу Директора, он пересек просторный затененный кабинет и упал в кресло напротив.

— Что такое? — Директор не поднял глаз от бумаги, не выпустил телефонной трубки.

— Павел Корнеевич, — выдохнул Кореньков. — Тридцать шесть лет на фабрике. На одном месте. Верой и правдой (само выскочило)... Христом-Богом прошу! Будьте справедливы...

— Квартиру?..

— Две путевки в Париж пришли. Тридцать

шесть лет. Через полгода на пенсию... Верой и правдой... не подводил... всю жизнь... прошу: дайте мне.

Народ знает все. Ехать предназначалось главному инженеру и начальнику снабжения. Общественное мнение Коренькова поддерживало:

— Давай, не отступайся! Имеешь право!

В глазах Коренькова появилось затравленное волчье мерцание. Сжигая мосты, он записался на прием в райкоме и Облсовпрофе. Фабричный юрист-консульт, девочка не старше его дочери, посочувствовала, полистала справочники, посоветовала заручиться ходатайством коллектива. Распространился слух, что, если Коренькову не дадут путевку, он повесится прямо в цехе и оставит письмо прокурору, кто его довел. Во взрывчатой атмосфере скандала Кореньков почернел, высох, спотыкался.

Жена заявила и закатила истерику в профкоме:

— Как чуть что — так про рабочую сознательность! А как чуть что — так начальству! Я в ЦК напишу, в прокуратуру, в газету! будет на вас управа, новое дворянство!..

Делопроизводительница по юности лет не выдержала: шепнула срок заседания по распределению заграничных путевок. Кореньков возник ровно за минуту до начала и прочно сел на стул. Лица у президиума изменились.

— А вы по какому вопросу, Дмитрий Анатольевич?

Кореньков заготовил гневную и аргументированную речь, исполненную достоинства, но встать не смог, голос осекся, и он со стыдом и ужасом услышал тихий безутешный плач:

— Ребята... да имейте ж вы совесть... да хоть когда я куда ездил... хоть когда что просил... что же, отработал — и на пенсию, пошел вон, кляча... Ну пожалуйста, прошу вас... — И, не соображая, чем их

умилостивить, что еще сделать, погибая в горе, сполз со стула и опустился на колени.

Теплая щекотливая слеза стекла по морщине и сорвалась с губы на лакированную паркетную плашку.

Кто-то кудакнул, вздохнул, кто-то поднял его, подал воды, потом он лежал на диване с нитроглицерином под языком, старый, несчастный, в спецухе, так некстати устроивший из праздника похороны.

Назревший нарыв лопнул: непереносимая ситуация требовала разрешения. Пожимая плечами и переглядываясь, демонстрировали друг другу свою человечность и великодушие: чтоб и волки сыты, и овцы целы. Все были, в общем, „за“, помалкивали только двое „парижан“... В конце концов главному инженеру пообещали первую же лучшую путевку в капстрану, улестили, умаслили, и он, неплохой, в сущности, мужик, по нынешним меркам молодой еще, согласился — и сразу повеселел от собственного благоденствия и размаха.

— Вставай, Дмитрий Анатольевич, — дружелюбно хлопнул по плечу Коренькова. — Все в порядке, поедешь, не сомневайся.

...Ах, что за несравненные хлопоты — сборы за границу! Пять месяцев Кореньков собирал справки, выписки, характеристики, заверял их в инстанциях, заполнял многочисленные анкеты о сотне пунктов, сидел в очередях на собеседования и инструктажи. На медкомиссии у него от волнений подскочило давление, он слег от горя; жена достала через знакомую с базы десяток лимонов (снижают), с той же целью скормила ему с полведра варенья из черноплодной рябины, перед сном выводила на прогулку и велела думать о приятном. Слава Богу, давление нормализовалось: пропустили.

Идеологической комиссии он боялся не меньше. Конспектировал программу „Время“, вырезал из

„Правды“ политические новости и сидел в фабричной библиотеке над подшивками „Коммуниста“. Он среди ночи мог не задумываясь ответить, что главой государства Буркина-Фасо является с тысячи девятьсот восемьдесят третьего года Санкара, первым генеральным секретарем ООН был норвежец Т.Х.Ли, а фамилия председателя компартии Лесото — Матжи. Накануне подстригся, пошел при галстук... Ответил на все вопросы!

Они продали облигации, снесли в комиссионку женин песцовый воротник, влезли в долги — деньги набрались.

Купили ему новый костюм, чешский, вполне личный, жена сама, как когда-то, подогнала брюки; сорочка индийская, галстук польский, туфли румынские: европейская экипировка.

Покупки — список на четырех листах, многократно откорректированный и выверенный, — изумительным фокусом укладывались в четыреста франков, выданных в обмен сорока рублей.

Пять месяцев минули. В последнюю ночь Кореньков не смог заснуть. Победное солнце Аустерлица возвестило прекрасный день начала пути. Помолодевший и легкий („Присели на дорожку. Поехали“) — он тронулся.

На вокзале их группу, уже хорошо знакомых между собой тридцать человек, во главе с руководителем, которого следовало слушаться беспрекословно, проверили, пересчитали, посадили в вагон и отправили в Москву. Перрон с машущими семьями уплыл...

Улетали из Шереметьева. В международном отделе по сравнению с общей толкучкой было свободно, прохладно. Таможенник, полнеющий парнишка с воровной подковкой усов, мельком сунул нос в кореньковскую сумку и продвинул ее по стойке: досмотр окончен.

В автобусе Кореньков оказался рядом с двумя француженками, элегантными гримзами с сиреневой сединой, покосился на руководителя и от разговора воздержался: гримзы сетовали, что не выжили на тысячелетие крещения Руси, церковные торжества.

Их Ту-154 взлетел минут на пять позже расписания, как и принято, Кореньков завибрировал, считал минуты, он уже боялся всего: задержки, неисправности самолета, ошибки в оформлении документов, обнаруженной в последний момент; в полете боялся бездны внизу, боялся, что Париж вдруг закроется по метеусловиям, или забастуют диспетчеры, или вдруг нарушатся дипломатические отношения, и вообще самый опасный момент — посадка... и лишь когда под колесами с мягкой протяжной дрожью понесся бетон и турбины шелестяще засвистели на реверсе, гася пробег, явилось спокойствие — странноватое, деревянное, пустое.

— Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шарль де Голль...

В свою очередь, Кореньков спустился по трапу, мгновение помедлив, прежде чем перенести ногу с нижней ступени на шероховато-ровное серое пространство — з е м л ю П а р и ж а.

Рубчатые резиновые ступени эскалатора вынесли их в красноватый от вечерних отблесков зал, наполненный ровным сдержанным эхом. Длинноволосый таможенник в каскетке пропустил их со скоростью автомата: пара небрежных движений в небогатом багаже каждого. Процедура проверки паспортов выглядела не тщательней контроля трамвайных билетов. Гид ждал у киосков с плакатиком в руке. Шагнул навстречу, точно выделив их из пестрой круговерти.

— Бонжур, мсье, — поздоровался Вадим Петрович, руководитель.

— С благополучным прибытием, — приветствовал гид с небольшим милым акцентом. — Хорошо долетели? Сейчас мы сядем в автобус и поедем в гостиницу.

Стеклянные двери разошлись. Протканый бензиновыми иголочками воздух, палевый, сгущающийся, наполнил легкие. Коренькову как-то символически захотелось сесть на асфальт, привалившись спиной к стене, вытянув ноги, и посидеть так, покурить, тихо глядя перед собой: предаться значительности момента... Но неудобно, да и некогда; ладно; а жаль...

Они пробрались через автостоянку к одному из ярких автобусов, Кореньков подсуетился — захватил место на первом сиденье, у дымчатого просторного стекла.

— Давай в Париж, шеф! — велел сзади дурашливо-счастливый голос, и все чуть нервно и оживленно засмеялись.

И розоватый, кремовый, бежевый, притухающий в сумерках, ни с чем несравнимый парижский пейзаж, неторопливо раскрываясь, покатился навстречу.

Гнутый лекалом профиль гида с микрофоном на фоне лобового стекла, за которым менялись виды, казался маркой города (Дени, брюнет, черноглаз, высок, тонок, студент-русист Сорбонны). Кореньков слушал вполуха известное наизусть, жадно отмечая детали: усатый ажан в пелерине, прохаживающийся вдоль витрин; араб-зеленщик с лотком; дама в манто, выходящая из обтекаемого, звероватого „ситрое-на“!..

Они плавно свернули с бульвара Бертье на авеню Гюржо, встроились в поток на пляс Перьер, из тоннеля внизу выскочила гроыхающая электричка. „На вокзал Сен-Лазар?“ — спросил Кореньков утверждающе.

— Куда? — прервался Дени.

— На Сен-Лазар, — повторил он, тыча пальцем.

— О, — улыбнулся Дени, — вы не впервые в Париже.

Близились к сердцу Парижа. „Авеню Ниэль... Рю Пьер Демур... Де Терн... Мак-Магон...“ В перспективе открылась плас Этуаль („Де Голль“, поправил себя Кореньков), над каруселью красных автомобильных огоньков — угол Триумфальной арки, подсвеченный золотом барельеф под сиреневым, лиловым, бархатным небом.

Здесь пульс бьющей жизни отдавался тихим неблизким шумом, тихо светился подъезд скромной гостиницы „Мак-Магон“, тиха и неширока, белела лестница, тихо двигался лысый портье за темной деревянной стойкой. Руководитель Вадим Петрович руководил расселением, Коренькову достался в соседях работник горисполкома, веселый и хозяйственный Андрей Андреич, сразу перешедший на ты:

— Ты меня слушай, и отоваримся путем, и посмотрим что надо — я здесь второй раз. — Подмигнул.

Достали кипяточники, печенье, консервы — поужинали дома, безвалютно. Потом Вадим Петрович собрал всех на инструктаж, напомнил о дисциплине, бдительности, возможных провокациях.

Кореньков спустился в холл и купил у портье синеватую короткую пачку „Голуаз“ — без фильтра, из темного крепкого табака типа „капораль“, пахнущего вроде кубинских сигар. Угостил портье болгарской сигаретой, зная, что здесь это не принято, каждый курит свои; портье выразил благодарность, и Кореньков наслаждался разговором в полутемном холле с видами Парижа на стенах, в покойном кресле, легким приятным разговором о погоде, туристах, ценах в ресторанах, — он знал, что серьезные темы здесь не приняты, разговор должен быть легким. Нб

от рукопожатия на прощание не удержался; ладонь у портье была сухая, неслабая, приятная.

В номере Андрей Андреич храпел жизнерадостно. Не зажигая света, Кореньков открыл привезенную бутылку, осторожно отодвинул штору, сел к окну и чокнулся со стеклом. С пятого этажа был виден узкий сектор освещенной площади, уголок Триумфальной арки, редкое ночное движение. „Повезло“.

Лег не скоро, насытившийся ощущением того, что он — здесь, слегка опьянев, наблюдая легкое подрагивание треугольника света на потолке, искрящегося в крае люстры...

Автобус подавали в восемь. Завтракали в одном из дешевых ресторанчиков близ Монматра: кофе, пуховые булочки, желтое масло, джем. Расплачивался Вадим Петрович. Вадим Петрович в первый же день выделил Коренькова, держал рядом: как бы из дружеского расположения угощал его Парижем лично, особо; и с уважением равного кивал подробностям о Париже, распивавшим Коренькова.

Скрывалась за цветными крышами высющаяся на холме белая стройная громада Сакрэ-Кёр, дневная программа начиналась, они дружно вертели головами, внимая Дени: Казино, Галери Лафайет, Гранд-Отель, Вандомская площадь: выходим, мадам и мсье. Он трогал рукой Вандомскую колонну! Взлетели голуби, щелкали фотоаппараты, шаркали толпы разноязыких туристов: небо сияло. Эйфория звездного часа несла Коренькова. Любовно и торопливо он дополнял Дени: как Мопассан поносил Эйфелеву башню за изуродование вида Парижа; как триста викингов в VIII веке захватили Париж, именуемый тогда Лютецией, и не ушли до получения выкупа; как поляк Домбровский командовал войсками Парижской Коммуны.

— Мсье, по-моему, вы самый чистокровный па-

рижанин в этом городе! — радовался Дени, поводя узкими плечиками в вельветовом пиджаке.

В Доме Инвалидов с Кореньковым сделалось головокружение. Мраморные ангелы с лицами античных воинов, несшие караул вокруг красного порфирного саркофага Наполеона, надвинулись на него; буквы „Ваграм. Маренго. Иена...“ на черном подножии вспыхнули огненным колесом и ослепили.

Он пришел в себя на тенистой ступеньке перед газоном, поддерживаемый внимательным Вадимом Петровичем.

Обед и ужин вкушали в том же ресторанчике, втекали вежливо-скованной чужеродной кучей, подчищали мандарины и листья салата с подносов с зеленью, до капли цедили сухое красное вино из двенадцатиунциевых графинов-колбочек, стоящих перед каждым прибором. Старались держать вилку в левой руке, а нож в правой; старались не глазеть в стороны; старались без шума отодвигать стулья. Кореньков жевал палочки мелкой спаржи, корочкой подбирал правильно соус и комплексовал, что не может дать на чай милой плоской официантке: хамство-с, то-то она и не улыбается.

В обмене впечатлениями проскальзывало греховным пунктом: „Пляс Пигаль?..“ Кореньков усмехнулся дилетантству, попросил гида вернуться в гостиницу через улицу Сен-Дени.

— Мсье? — тот вздернул тонкую бровь.

Вадим Петрович возразил хозяйски:

— Делать крюк? Поздно уже, некогда. И в программу не входит.

— Какой же крюк, пятьсот метров направо...

Вадим Петрович глянул пристально — медленно кивнул.

Вывески Мулен-Руж струились в витринах розовым, малиновым, оранжевым, электрические лопасти мельницы вращались в темной вышине, элек-

трический нагой силуэт вскидывал ножку в канкане. На Сен-Дени девицы были уже реальные, в шортах или мини-юбках и обтягивающих сапожках до бедер, в ажурном белье под распахивающимися шубками, всех цветов и мастей, чаще некрасивы, некоторые стары: похаживали парами и стайками, ждали у стен, опершись ножкой, курили, поигрывали сумочками.

— Вот эта карга обслужит вас по-французски прямо в автобусе франков за сорок, — забывшись, склонился Кореньков к сидящему рядом Вадиму Петровичу. — А чудо-киска с вызовом на дом придет на „ягуаре“ и возьмет утром тыщенок до трех.

Вадим Петрович обернулся дико; Дени заржал, перешел на вздох:

— Увы, это наша социальная язва, позор Парижа...

За углом пассажиры перевели дух и заговорили сдержанно и фальшиво о постороннем; пара дам сокрушалась, их слушали с неприязнью; постепенно раскрепостясь, обсудили проблемы проституции и почему-то пришли в прекрасное настроение.

Перед сном Кореньков намылился под душем мыльцем из фирменного пакетика и почистил зубы, обувным кремом отполировал свои коричневые туфли. Андрей Андреич слегка рассердился:

— Их все на сувениры берут. Что у тебя, мыла нет? Ладно, заberi из ванной, завтра новые положат. А чего водку открыл, пить сюда приехал? Ну чудила ты...

Свои две бутылки он загнал швейцару за сорок франков: „Все только так и делают“.

Вообще основные интересы группы распределились между бульваром Рошешуар и пляс Републик, где обосновались знаменитые баснословной дешевизной универмаги Тати. Совали в бесплатные пакеты гонконговские кассеты, бразильские джин-

сы, сингапурские штампованные часы, кроссовки с Тайваня и куртки из Макао — Андрей Андреич купил южнокорейский магнитофон за сто девяносто франков: „колонизальные товары“, дешевая рабсила, демпинговые цены. Кореньков свои приобретения упрятывал в сумку: показываться с пакетом от Тати уж больно непристижно, бедно; стыдновато. Налетали не раз на уличную дешевую распродажу, бесценно непредсказуемый: за пакистанские нормальные кроссовки он отдал пять франков, за джинсы — восемнадцать. Сэкономленные средства он переброесил в расходы на местный колорит: рюмка абсента, рюмка перно. (Чашка кофе — восемь франков, и это в обычном бистро...)

Абсент действительно горчил полынью; перно имело привкус лакрицы, Кореньков это знал, но он не знал, какой вкус у лакрицы, и приторной сладковатостью удовлетворился.

— Ну и скупердяи эти твои французы! — заявил Андрей Андреич.

— Они не скупердяи, они привыкли считать деньги. — доброжелательно разъяснил Кореньков. — Как все в Европе, кстати.

— Привыкли, это точно. Гид наш попросил у меня юбилейный рубль, так, думаешь, дал хоть что-нибудь взамен? И звонят они только из гостей, чтоб на автоматы не тратиться; мне говорили.

График времяпрепровождения был сугубо коллективный и отклонений не допускал: кладбище Пер-Лашез и стена Коммунаров — один час, музей Ленина на улице Мари-Роз — два часа, Лувр — три часа, Эйфелева башня — прощальный ужин накануне отъезда...

Безусловно и категорически не входили в намерения группы стриптиз и порнографические фильмы. Но подспудное брожение присутствовало. Кореньков за полтора франка купил номер „Пари

суар“, слюнявя пальцы (тончайшая бумага), перево-рошил отдел объявлений и отыскал „Декамерон-70“ Феллини в недорогом кинотеатрике: классика мирового кино, вне политики, не придерешься. Депутация желающих отправилась к Вадиму Петровичу. Культпоход в кино состоялся.

Из зала выходили в некотором понятном обалдении, прочищая пересохшее горло. О девяти франках никто не жалел.

— Странно, что в группе не нашлось любителей оперы, — резюмировал руководитель. — Билет на балкон стоит всего сотню монет. Какие голоса!

Еще Коренькову удалось спровоцировать краткое посещение рынка, достославного Чрева Парижа (женщины загорелись! Вадим Петрович процокал неодобрительно). Бескрайнее царство жратвы ломило красками, оглушало запахами, ананасы соседствовали с хреном, цесарки с акульими плавниками, устрицы с кокосами, жаровни дымились, чаны парили, монахини садились на мотороллеры, плыли и качались корзины! Букашки в грандиозном натюрморте, созданном фантазией гурмана, они, влекомые Кореньковым, как нитка за иголкой, достигли лукового супа: янтарный и благоухающий, в грубой фаянсовой миске, вроде и суп как суп, ан нет, вроде и как пицца богов, галльских богов, лукавых и вечных, амброзия бессмертных, святое причастие. Дени тоже угостили.

...Ах, почему так быстро кончается все хорошее! Оттрещали в ветре трехцветные флаги Великой французской революции на готических шпильях Нотр-Дам, отшумели капитаны под башнями Консьержери, отswerкали в паркетах люстры Версаля. Укатился в прошлое франк, поданный Кореньковым клошару под мостом Де Берси.

Он не ощущал себя туристом, напротив: словно вернулся из неудачного отпуска домой, где прожит

век. Вздыхал знакомым мелочам, жалел о ликвидации уличных писсуаров: не трогайте мою старую обитель.

Накануне отлета проснулся чуть свет, заварил чай в стакане, закурил у серого окна: к рыбному магазину подкатила цистерна, юный развозчик загрузил длиннейшими батонами из пекарни ящик мотороллера и унесся, расклейщик афиш огладил тумбу рекламой фильма с Жаклин Биссе.

И Кореньков понял, что никуда завтра не улетит.

Он это давно знал, но запрещал себе и думать. Преграда треснула, и мысль разрослась огромно, как баобаб. Дети самостоятельны, все имущество — жене, а он уже старик, сколько ему осталось... какая разница, как он будет здесь жить. Конечно, в Париже очень трудно найти постоянную работу, но он знал твердо, что с голоду тут давно никто не умирает, существует масса социальных и благотворительных служб... а он согласен на любую работу, хоть мусорщиком. Слать им посылки... попробовать когда-нибудь посетить Союз под чужой фамилией... ведь никаких эмигрантских газет, радиостанций, заявлений, упаси Бог.

Эх, было б ему тридцать лет. Или сорок... Но уж хоть что осталось — то мое.

В подремывающем после завтрака автобусе он машинально ловил полусшепот между Дени и шофером.

— Финиш, завтра этих провожаем, — сказал Дени.

— Старикан этот, ну дотошный, — цыкнул шофер.

— До чертиков надоел, — сказал Дени.

Кореньков померк от обиды, попытался погордиться своеобразным комплиментом; потом его что-то беспокоило, сильнее, очень сильно — и окостенел:

они говорили по-русски!

Без малейшего акцента.

Он попытался уяснить происшествие и усомнился в себе.

— Долго еще ехать? — обратился по-русски с возможной естественностью, как будто забывшись.

Шофер не отреагировал. Дени обернулся.

— Туалет будет по дороге, — приветливо прокурлыкал он, сдерживая грассирование, и по-французски спросил у шофера, сколько им ехать, на что тот по-французски же отвечал, что минут пятнадцать.

Померещилось?

Едва вышли, Кореньков поскользнулся и увидел под ногой апельсиновую корку на крышке канализационного люка. В мозгу у него лопнул воздушный шарик: нечеткие буквы гласили: „2-й Литейный з-д — Кемерово — 1968 г.“.

— Что с вами, мсье? — позвал Дени. Приблизился, глянул. — Потрясающе! — сказал он. — Может быть, в Париже есть какая-то русская металлическая артель, поставляющая муниципалитету крышки для канализации?

— А Кемерово? — спросил Кореньков и тут же ощутил свой вопрос... нехорошим.

— А вы знаете, что в США есть четыре Москвы? — успокоил Вадим Петрович. — Эмигранты любят такие штучки. И во Франции, если поискать, найдется парочка Барнаулов!

— Близ Марселя есть деревня Севастополь, — привел пример Дени. — В честь старой войны.

— Ну вот видите.

Когда садились обратно в автобус, Кореньков обратил внимание, что рядом на пути не оказалось ни одного человека, хотя площадь казалась запруженной народом...

Дени дал указание шоферу, и напряженный ко-

реньковский слух выявил легкое такое искажение дифтонгов!..

— Хорошо родиться и вырасти в Париже, — по-французски сказал ему Кореньков.

Дени ответил спокойным взглядом.

— Я родился в Марселе, — сказал он. — Только в восемнадцать поступил в Сорбонну. Так и остались в произношении кое-какие южные нюансы.

„Почему он сказал о произношении? Я ведь не спрашивал. Догадался сам? А почему он должен догадаться об этом?“

Жутковатым туманом сгущалось подозрение.

Приехали. Вышли. Кореньков расчетливо, методично сманеврировал к краю группы, выждал и быстро шагнул к спешащему по тротуару с деловым видом прохожему:

— Простите, мсье, как пройти к станции метро „Жавель“?

Прохожий запнулся, ткнул пальцем в сторону и нагдал.

— Дмитрий Анатольевич, что же вы? — укорил Вадим Петрович: он стоял за спиной. — Какой-то вы сегодня странный. И вид больной. Ну ничего, завтра будем дома. Переутомились от обилия впечатлений, наверное? это бывает.

„Почему он промолчал? И — метро совсем не там!“

Они сгрудились у особняка, где окончил свои дни Мирабо. Кореньков оперся рукой о теплые камни цоколя, нагретые солнцем, и без всякой оформленной мысли поковырял ногтем. Камень неожиданно поддался, оказался не твердым, сколупнулась краска, и под ней обнаружилось что-то инородное, вроде пресованного картона... п а п ь е - м а ш е.

Нервы Коренькова не выдержали. (Драпать... Драпать... Драпать!..)

Боком-боком, по сантиметру, двинулся он назад. Группа затопотала за Дени, Вадим Петрович отвлекся, Кореньков собрался в узел, улучил момент — и выстрелил собой за угол!

Бегом, быстрее, свернуть, налево, еще налево, направо, быстрее! Юркнул в подворотню и затаился, давя кадыком бухающее в глотке сердце.

Поднял глаза, ухнул утробно, осел на отнявшихся ногах.

Никакого дворца не было.

Высилась огромная декорация из неструганных досок, распертых серыми от непогод бревнами. Занавески висели на застекленных оконных проемах. Посреди двора криво торчала бетономешалка с застывшим в корыте раствором, и рядом валялась рваная пачка из-под „Беломора“.

Поспешно и со звериной осторожностью Кореньков заскользил прочь, дальше, как можно дальше, задыхаясь рваным воздухом и оглядываясь.

Вот еще особняк, обогнуть угол, второй угол: ну?! Внутри громоздкой фанерной конструкции, меж ржавых растяжек тросов, влип в лужу засохшей краски бидон с промятым боком.

Обратно. Дальше.

Вот люди сидят за столиками под полосатым тентом. Бесшумно подобрался он с тыла, отодвинул край занавески: говорили по-русски, и не с какими-то там эмигрантскими интонациями, — родной, привычный, перевитый матерком говорок. А одеты абсолютно по-парижски!..

С бессмысленной целеустремленностью шагал он по проходам и „улицам“, слыша русскую речь, и теперь ясно различал привычную озабоченность лиц, привычные польские и чехословацкие портфели, привычные финские и немецкие костюмы, привычные ввозимые моряками дешевые модели „опеля“ и „форда“.

Эйфелева башня никак не тянула на триста метров. Она была, пожалуй, не выше телевизшки в их городке — метров сто сорок от силы. И на основании стальной ее лапы Кореньков увидел клеймо Запорожского сталепрокатного завода.

Он побрел прочь, прочь, прочь!.. И остановился, уткнувшись в преграду, уходившую вдаль налево и направо, насколько хватало глаз.

Это был гигантский театральный задник, натянутый на каркас крашеный холст.

Дома и улочки были изображены на холсте, черепичные крыши, кроны каштанов.

Он аккуратно открыл до отказа регулятор зажимки и повел вдоль лживого пейзажа бесконечную волну плавно взлетающего белого пламени.

Не было никакого Парижа на свете.

Не было никогда и нет.

Легенды Невского
проспекта

ОРУЖЕЙНИК ТАРАСЮК

1

Загробный страж

Биологическая селекция членов Политбюро была окутана большей тайной, чем создание философского камня; хотя несоизмерима с ним ни по государственной важности, ни по расходам. Когда хозяин Ленинграда и секретарь обкома товарищ Романов выдавал замуж свою дочь, так Луи XV должен был зашататься на том свете от зависти. Пир был дан в Таврическом дворце, среди гобеленов и мраморов российских императоров, и через охрану секретных агентов не проскочила бы и муха. Кушать ананасы и рябчиков предполагалось с золота и фарфора царских сервизов. Вот для последней цели и было велено взять из запасников Эрмитажа парадный сервиз на сто сорок четыре персоны, унаследованный в народную сокровищницу от императрицы Екатерины Великой.

Последовал звонок из Смольного: сервиз упаковать и доставить. Хранительница отдела царской посуды, нищая искусствоведческая крыска на ста сорока рублях, дрожащим голосом отвечала, что ей требуется разрешение директора Эрмитажа академика Пиотровского. Потом она рыдала, мусоля сигаретку „Шипка“: севрский шедевр, восемнадцатый век!.. перебьют! вандалы! и так все распродали...

Академик известил, обмирая от храбрости: „Только через мой труп“. Ему разъяснили, что невелико и препятствие.

Пиотровский дозвонился лично до Романова „по государственной важности вопросу“. Запросил письменное распоряжение Министра культуры СССР. Но товарищ Романов недаром прошел большой руководящий путь от сперматозоида до члена Политбюро и обращаться со своим народом умел. „Это ты мне предлагаешь у Петьки Демичева разрешения спрашивать? — весело изумился он. — А хочешь, через пять минут тебя попросит из кабинета на улицу новый директор Эрмитажа?“

Пиотровский был кристальной души и большим ученым, но тоже советским человеком, поэтому он, не кладя телефонную трубку, вызвал „скорую“ и уехал лежать в больнице.

За этими организаторскими хлопотами конец дня перешел в начало ночи, пока машина из Смольного прибыла, наконец, к Эрмитажу. И несколько крепких ребят в серых костюмах, сопровождаемые заместителем директора и заплаканной хранительницей, пошли по гулким пустым анфиладам за тарелками для номенклатурной трапезы.

Шагают они, в слабом ночном освещении, этими величественными лабиринтами, и вдруг — уже на подходе — слышат: ту-дух, ту-дух... тяжкие железные шаги по каменным плитам.

Мерный, загробный звук.

Они как раз проходят хранилище средневекового оружия. Секиры и копья со стен щетинятся, и две шеренги рыцарей в доспехах проход сторожат.

Ту-дух, ту-дух!

И в дверях, заступая путь, возникает такой рыцарь.

В черном нюрнбергском панцире. Забрало шлема опущено. В боевой рукавице воздет иссиня-зеркальный меч толедской работы. И щит с гербом отблескивает серебряной чеканкой.

И неверной походкой мертвеца, грохоча стальны-

ми башмаками и позванивал звездчатыми шпорами, движется на них. И в полуночной тишине они различают далекий, жуткий собачий скулеж.

Процессия, дух оледенел, пятится на осевших ногах.

А потревоженный рыцарь бешено рычит из-под забрала и хрипит гортанной германской бранью. Со свистом описывает мечом сверкнувшую дугу — ту-дух! ту-дух!.. — наступает все ближе...

Задним ходом отодвигаются осквернители, и кто-то уже описался.

2

Партизан

В сорок втором году Толику Тарасюку было десять лет. Отец его сгинул на фронте, а мать погибла в заложниках. Мальчонка прибился к партизанскому отряду. В белорусских лесах было много таких отрядов: треть бойцов, а остальные — семьи из сожженных деревень.

Мальчишки любят воевать. А солдаты, любя их, ценят их отчаянную лихость. Этот же, маленький и тихий, был просто прирожденным бойцом: рука тверже упора, и глаз как по линейке. И полное отсутствие нервов. Из винтовки за сто метров пульей гвозди забивал.

Использовали иногда паданов для связи и разведки. Но талант Тарасюка котировался выше. И ему нашли особое место в боевом расписании.

Сейчас плохо представляю себе жестокости той войны. Если немцы расстреливали, вешали и сжигали в домах, то партизаны захваченных пленных, например, обливали на морозе водой и ставили ледяные фигуры с протянутой рукой в качестве указателей на дорогах, а в рот всовывались отрезанные ча-

сти, и табличка на груди поясняла: „Фриц любит яйца“.

Основным партизанским занятием было грабить склады: продовольствие, амуниция, оружие — сочетание самоснабжения с уроном врагу. Еще полагалось взрывать железные дороги и мосты. Все это охранялось. А приступить к делу возможно только без шума. Поэтому умение снимать часовых особенно ценилось.

Полосы отчуждения перед немецкими объектами были наголо очищены от леса, и подобраться незаметно практически исключалось. А близко часовые не подпускали никого ни под каким предлогом.

И вот брел откуда-то маленький плачущий мальчишка, кутаясь от холода в большой не по росту ватник. Завидев часового, он жалобно просил: „Брот, камарад, брот!..“ — и показывал золотые карманные часы — отдает, значит, за кусок хлеба. Часовому делалось жалко замерзшего голодного ребенка... и, похоже, часы были дорогие. Он оглядывался, чтоб не было начальства, подпускал мальчика подойти и брал часы рассмотреть. Мальчик, качаясь от слабости, на миг прислонился к нему и через карман ватника стрелял в упор из маленького дамского браунинга.

Приглушенный одеждой хлопок был почти неслышен. Пистолетик был маломощной игрушкой. Крохотную никелированную пульку требовалось загнать точно в центр солнечного сплетения. Поднимать руку до сердца — долго и мешкотно, немец мог успеть среагировать.

Часовой оседал, убитый наповал. Надо было придержать его каску и автомат, чтоб не брякнул металл при падении.

И этот десятилетний (через год войны — уже одиннадцатилетний) мальчик снял таким образом двадцать восемь часовых. Не у всякого орденосца-снайпера на передовой был такой счет.

Лишь раз рука его дрогнула. Немец был немолодой, очастый, из тыловых охранных частей. Не снимая правой руки с ремня карабина за плечом, левой он отвел часы и вытащил из кармана шинели завернутый в вощаную бумажку кусок шоколада. На левой руке не было мизинца. Мальчик невольно задержал взгляд на этой беспалой руке с шоколадом, и выстрел, кажется, пришелся не совсем точно. Глаза немца, вместо того чтобы сделаться неживыми, закрылись, он сложился и упал. Но лежал без движения, а партизаны из укрытия уже подбегали беззвучно, и сознаться в своем сомнении, править контрольным выстрелом мальчишке было стыдно, мешало бойцовское самолюбие профессионала: нечистая работа.

В сорок четвертом — Десять Сталинских Ударов! — Советская Армия освободила Белоруссию; при расформировании отряда командир представил его к ордену Красного Знамени. Но наверху сочли, что это жирно пацану будет, и ограничились медалью „За Боевые Заслуги“.

С этой медалью он пришел в детский дом, чтобы после трехлетнего перерыва пойти в школу, в третий класс.

3

Курсант

Он навсегда привык чувствовать себя совершенно раскованно в любой аудитории — равный среди первых, партизан, а не тыловая крыса. Учиться хуже кого бы то ни было не позволяла гордость, детский мозг наверстывал упущенное: после семилетки он окончил десять классов.

Военрук же в нем просто души не чаял и прочил в отличники военного училища: прямая дорога!

Он ступил на прямую дорогу — пробыл в военном училище неделю, нюхнул казармы, побегал в кирзачах на зарядку, собрал свой чемоданчик и известил начальство, что эта бодяга не для него. Воевать — это да, с радостью, пострелять — всегда пожалуйста. а уставы пусть зубрят и строем в сортир маршируют те, кто пороха не нюхал. Ему не нравится.

— А что тебе нравится? — спросил бравый полковник, с сожалением листая его личное дело.

— Стрелять, — откровенно сказал Тарасюк.

— В кого ж ты нацелился сейчас, в мирное время, стрелять?

— Ну... нашлось бы. Мне вообще оружие нравится.

— Так, может, тебе надо учиться на инженера и идти работать на оружейный завод? Так, что ли?

— Оно мне нравится не в смысле быть оружейным мастером... еще не хватало! я бойцом был, а не ремонтником. Вообще нравится... дело с ним иметь.

— И как же ты хочешь иметь с ним дело?

— Вы стрелять умеете?

Задетый фронтовик-полковник повел зарвавшегося молокососа в тир, довольный случаю. И там из своего „вальтера“ в генеральском хромированном исполнении (трофейные пистолеты у офицеров еще не изъяли) исправно выбил 29.

— Хорошие у немцев машинки, — заметил воспитуемый курсант. — Но для дела я предпочитал чешскую „шкоду“ — в руке удобнее, и скорость у него выше: через пряжку ремня навывлет бил! Пуля стекло проходит — даже трещинок нет, ровная такая дырочка. — Он принял поданный рукоятью вперед, по правилам хорошего тона, „вальтер“ и оставшиеся в обойме пять пуль посадил одна на другую.

— Ну ты, бля, ничо, — сказал полковник.

— У американского „Кольта-32“ скорость самая высокая, — продолжал Тарасюк. — Что входное отверстие, что выходное. Через бумагу стреляешь — лист не шелохнется, кружочек как вырезали. Хотя король точности и боя, конечно, „маузер“, но стволы на такая, и магазин — громоздок слишком.

— Подкованный курсант, — признал полковник. — Все, или еще что имеешь доложить?

Поощренный Тарасюк вольно расстегнул воротничок гимнастерки.

— Вот это, к примеру, не нож, — охотно вел он лекцию, ткнув пальцем в штык-нож, болтающийся на поясе сержанта-дежурного.

— Разрешите обратиться, товарищ полковник? — сказал сержант. — Дайте мне молодого для уборки помещения — к подъему верну как шелкового! умный...

— Сталь у штыка отпущенная, мягкая — чтоб в теле не сломался; поэтому лезвие жала не держит, резать им невозможно, — убыстрил речь Тарасюк. — Рукоятка неудобная и в руке скользкая, а в работе кровь попадет — будто вообще как намыленная. И не уравновешен нисколько, кидать его вообще без толку.

— В советники Генштаба аттестовать тебя не уполномочен, — сказал полковник. — Ты б им, конечно, объяснил, каким должен быть нож.

— Чего объяснять — такой, как у финнов. Клинок треугольного сечения, закаленный, согнется — не сломается: закал только поверху, а внутри мягкое. Ручка деревянная, с насечкой — легкая, и в полете как стабилизатор. Лезвие — шесть пальцев, а больше никому и не надо.

— А штык? — презрительно опустил до вопроса сержант.

— Штык старый был хорош — четырехгранник:

входит легко, в теле не ломается, рана от него не закрывается, и доставать в фехтовании длинным легче.

— Тебе прям в университет надо, — съязвил сержант.

— А что, есть такой университет, где по оружию учат? — простодушно спросил Тарасюк.

Мысль о возможности отсутствия такого университета полковника возмутила.

— Главное в государстве — что? — наставительно сказал он, — армия! Главное для военного — что? — оружие. Как же в нашей стране может не быть такого университета?!

4

Абитуриент

И первого сентября 1952 года Тарасюк приехал на исторический факультет Ленинградского университета.

В руке у него был тот же маленький „футбольный“ чемоданчик. В чемоданчике лежали: чистая рубашка, бутылка коньяка, медаль „За Боевые Заслуги“, „парабеллум“ и книга В.Бейдера „Средневековое холодное оружие“. Полный джентльменский набор.

Он проследовал в деканат, где задал сакраментальный вопрос:

— Это правда, что у вас по оружию учат?

— В университете многому учат, — с туманным достоинством ответили ему. — Но приемные экзамены давно окончены.

— А может, мне к вам еще не надо поступать, — успокоил посетитель. — Так учат? Или нет?

— А вас что, собственно, интересует?

— Меня, собственно, оружие, — терпеливо повторил он.

— И какое же именно оружие? — вежливо поинтересовался замдекана по студентам.

— Именно, — всякое. Огнестрельное, холодное... легкое, тяжелое, осадное, современное, средневековое, античное тоже, в общем.

— М-угу. Так современное — или античное? Есть, знаете, разница... особенно в применении. У вас, позвольте полюбопытствовать, чисто научный интерес к оружию, или есть и иной? — с корректностью петербургского интеллигента уточнил замдекана.

— Научно-практический, — сказал Тарасюк. — А разницы иногда никакой нет. Фракийский меч начала до нашей эры, скажем, ничем не отличается от артиллерийского тесака восемнадцатого века. А средневековый рыцарский кинжал для панцирных поединков — от современного испанского стилета.

— М-угу, — невозмутимо сказал замдекана. — У нас при кафедре медиевистики действительно есть семинар истории холодного оружия. Приходите через год, первого августа, и сдавайте экзамены.

— А зачем тянуть, — возразил посетитель. Он раскрыл свой чемоданчик и предъявил аттестат за десятилетку, выписку с оценками приемных экзаменов в училище и справку об участии в партизанском движении. Сверху положил медаль, а сбоку поставил бутылку коньяка.

— М-угу, — развеселился замдекана. — Как это поется? — „собирались в поход партизаны“... У вас там автомата нет с собой?

— Только „парабеллум“, — сказал Тарасюк.

С этими документами он был без звука зачислен на первый курс, вселен в Шестое общежитие на Мытинской набережной и обеспечен стипендией.

5 Студент

Семинары начинаются на третьем курсе. Первокурсник Тарасюк пришел на первое же занятие вольнослушателем. На втором занятии он сделал научное открытие. Акинак — меч древних скифов — был не колющим оружием, как утверждала дотоле историческая наука, но рубяще-колющим.

Прежняя точка зрения основывалась на античной росписи по вазе, где один скиф собирается заколоть акинаком другого. Из чего явствует, что историческая наука и относительно древних времен не всегда затрудняет себя поиском весомых аргументов.

— Это какой же идиот сказал, что он только колющий? — с презрением бывалого партизана спросил Тарасюк.

Руководитель семинара, интеллигентная дама из университетской профессуры, была шокирована.

— Э-э... — прерывистым тенорком сказала она. — Если мы посмотрим на рисунок, то совершенно ясно видно...

— Что видно? Колоть можно и шапкой! Эдак вы и ложку, которой вас щелкнут по лбу, объявите тупым холодным оружием ударного действия, — прервал непочтительный слушатель.

— На археологических находках нет следов каких-либо режущих кромок, — защищалась дама.

— Две тысячи лет в земле? ржа, ржа съела!! Это ж какое качество стали, что за две тыщи лет в земле вообще порошком не рассыпалась! Она ведь и острие тоже съела... так, может, он вообще был безопасный?

— Есть труды специалистов...

— Ваши специалисты хоть барана когда-нибудь резали сами?

— А вы, простите?

— Я всех резал. Так скажите: какой дурак будет

таскать полуметровый клинок в ладонь шириной и не заточит лезвие, чтобы рубить и резать? Ленивый, или мозги отсохли? Так это не боец! А акинак не короче римского меча. А чтобы только колоть, придумали узкую легкую рапиру.

Из чего видно, что со всем пылом молодости и превосходством боевого опыта Тарасюк вгрызся в учебники. И результаты, так или иначе, но впечатляли окружающих.

— Если вы хотите посещать наш семинар...

— Да я для этого училище бросил!

— Возможно, и зря. Так вот: когда вы сами станете профессором...

— А сколько для этого нужно лет? — перебил Тарасюк.

— Три года аспирантуры — если вы окончите университет, в чем я не уверена, и если поступите в аспирантуру, в чем я уверена еще менее...

— Не сомневайтесь, — заверил он. — А дальше?

— А дальше — докторская диссертация иногда отнимает десять и больше лет работы. И ее еще надо защитить!..

— От кого?

— От оппонентов.

— Не страшнее немцев. А это кто?

...Акинак стал его первой работой в Студенческом научном обществе. При этом „интеллектуалом“ он не был и никогда им не стал; правда, и не пытался себя за такового выдавать. Уровень его эстетических притязаний был примерно таков: когда в компании, скажем, обсуждался новый фильм, Тарасюк выносил оценку специалиста:

— Чуть свинячья. По нему садят с десятка стволов, он речку переплыл — а! о! спасен! — ха! да я его за четыреста метров из винта чпаркну — только так!

Его любовь к оружию не удовлетворялась теорией — он стрелял. Стрелял в университетском

тире из малокалиберной винтовки, малокалиберного пистолета и спортивного револьвера — больше, к сожалению, ничего не было. И когда вместо десятки клал девятку, у него портилось настроение.

Но посулы тренеров насчет соревнований отвергал: ученый не унижится до игр с безмозглыми спортсменами, на фиг ему надо.

6

Дипломант

Темой его диплома был двуручный меч с „пламенеющим“ клинком.

У такого меча почти весь клинок — кроме конечных одного-полтора футов — зигзагообразный. Ученые доперли до очевидного: удар наносится только концом, где нормальное лезвие. Что ж касается метрового синусоидовидного отрезка — это, мол, в подражание картинам, изображающим архангелов с огненными мечами: волнистый язык пламени. И диссертации писали: „Влияние христианской религиозной живописи на вооружение рыцарей-крестоносцев“.

Непочтительный Тарасюк не оставил от ученых мужей камня на камне. Оружие всегда предельно функционально! — ярился он. Оно украшается — да, но изменение формы в угоду идеологии — это бред! (Шел свободомысленный 57 год.) Парадное оружие, церемониальное — да, бывают просто побрякушки. Но боевой меч — тут не до жиру, быть бы живу, уцелеть и победить надо, какая живопись к черту.

Изобретатель этого меча был гений, восторгался Тарасюк. После Первого крестового похода он задумал совместить мощь большого меча с режущим эффектом гнутой арабской сабли: рубить с потягом лучше гнутым клинком, тянешь к себе — и изгиб сам

режет, принцип пилы. Но сабля стальной доспех не возьмет, а гнутый двуручный меч требует трехметрового роста, каковым не обладали даже лучшие из рыцарей: поэтому изгибов-дуг несколько — это меч-сабля-пила! Париремый клинок врага легче задерживается в углублении изгиба и не скользит до гарды — улучшаются защитные качества, легче перейти к собственному поражающему выпад. Зигзагообразность придает мечу пружинность в продольной оси — чем смягчается при парировании удар по рукам, облегчается защита в фехтовании. Наконец, та же пружинность сообщает удару концом клинка дополнительную силу: так удар кистеня, сделанного из свинцового шара на гибкой рукояти из китового уса, сильнее удара молотка того же веса и той же длины жесткой деревянной рукояти.

Кафедра и оппоненты, улыбаясь темпераменту, пожимали плечами. И были не правы в недооценке дипломанта. Закончив теоретическую часть защиты, вспотевший Тарасюк перешел к демонстрационной: кивнул в аудиторию первокурснику у дверей:

— Костя — давай!

Костя исчез и через минуту дал, вернувшись с другим первокурсником. Торжественно, как королевские герольды сокровище двора, они несли полуметровый двуручный меч с пламенеющим клинком.

Улыбки комиссии сделались неуверенными. У Тарасюка загорелись глаза. Он взял меч и сделал выпад. Дипломную комиссию снесло со стульев. Аудитория взывала от счастья.

Подручные-первокурсники извлекли из портфеля железный прут и положили концами меж двух стульев. Тарасюк, крутнув из-за головы (дррень! — дверца книжного шкафа), взмахнул зловеще свистнувшим мечом и перерубил прут, вогнав острие клинка в пол.

— Браво... — сказала дипломная комиссия, осторожно возвращаясь на свои места.

— Бис! — добавили зрители, подпрыгивая в дверях.

— Теперь возьмем меч с обычным клинком, — сказал Тарасюк.

— Спасибо, — возразил председатель комиссии, легендарный декан Мавродин, — достаточно. Вы согласны со мной, коллеги? Трудно не признать, что глубокоуважаемый дипломант избрал весьма, э-э, убедительную форму защиты своих научных взглядов... да. Налицо владение предметом исследования.

Совещаясь об оценке, факультетские дамы трепыхались и пудрились, пылая мстью. Мавродин с солдатской грубоватостью отрезал, что им, гагарам, недоступно наслаждение счастьем битвы, гром ударов их пугает! А за знания и любовь к науке студенту прощается все!

Тарасюка оставили на кафедре в аспирантуре.

7

Профессор

В тридцать он стал доктором, в тридцать два — профессором.

И, став профессором, согласно древней академической традиции немедленно женился на своей первокурснице. Переехал из аспирантского общежития в академический кооператив и зажил семейной жизнью.

По прошествии медового месяца жизнь оказалась не ах. Больше всего в семейной жизни Тарасюку нравилась теща. Теща замечательно умела готовить грибной суп и штопать носки. И была благодарной слушательницей.

Что касается жены, то миловидность ее стала

привычной, а бестолковость отирывалась все глубже. Она ничего не понимала в оружии. Вообще Тарасюк ее мало видел. Время он делил между библиотекой и оружейными запасниками. Он писал монографию по технике итальянской школы фехтования XVI века. Тарасюк вознамерился доказать миру, что итальянцы первые прибегли к легким и гибким клинкам, рассчитанным на полное отсутствие лат, — прообразу современного спортивного оружия, — что позволило резко увеличить частоту движений и изощрить приемы до утонченности и сантиметров.

Он показывал жене, как и куда надо колоть, чтобы вывести противника из строя. Ночью жена кричала от кошмаров.

Через год жена прорыдала, что больше с ним жить не может, он был трагедией ее молодости. Тарасюку было некогда — он вычитывал гранки своей монографии и готовил тезисы доклада в Институте истории.

Теща ему сочувствовала. Теща сказала жене, что та — редкостная дура: он непьющий, добрый, безвредный, авторитетный чудак-ученый. Она приглашала Тарасюка в гости — кормить домашними обедами. Они сдружились: ей было одиноко, и она часами вязала, охотно кивая рассказам о дагах и арбалетах. Кроме того, она была безденежна, а у него деньги вылетали веером. Не в силах смириться, что профессорский заработок весь уходит на книги и железяки, она стала покупать ему одежду и отсчитывать деньги на продукты. И как-то постепенно он переселился к ней, оставив квартиру бывшей жене: ко всеобщему удовлетворению. Огородил себе уголок книжными шкафами, поставил там диванчик и стол с настольной лампой и стал жить.

— Горячие обеды, чистое белье, тишина, и никаких претензий — что еще надо ученому? — говорил он, катая в кармане свинцовый снаряд от балеарской пращи.

8 Слава

В сорок лет Тарасюк стал крупнейшим в мире специалистом по истории холодного оружия. Он состоял в переписке с оружейными музеями всех стран и выступал экспертом, консультантом, рецензентом и прочее по всем возможным оружейным запросам. (Причем порой это прекрасно оплачивалось, но все валютные гонорары по закону забирало государство.) Ссылки на Тарасюка сделались обязательны в трудах ученых-оружейников. Авторитет его стал непререкаем: последним доводом в научных дискуссиях все чаще становилось: „Тарасюк сказал!“ Почтовый ящик был набит приглашениями на международные симпозиумы — от Стокгольма до Сиднея. За бугор его, однако, не выпускали: беспартийный, разведен, был на оккупированной территории и по чудакостям может отмочить неизвестно что: бесспорно невыездной.

Темным вечером скучающие хулиганы показали ему нож: Тарасюк мельком взглянул на нож и час не давал им вставить слово, читая лекцию о ножах. Прибалдевшие хулиганы проводили пахана до подъезда, где получили на память, как любители холодного оружия, лишний экземпляр испанской навахи.

Противоположная сторона, то есть милиция, также прибегала к его безмерной эрудиции:

— Анатолий Карпович, как это могло быть сделано? — В броневой дверце сейфа чернела аккуратная четырехугольная дырочка.

— Прекрасная работа! — восклицал Тарасюк, любуясь разгромленным сейфом. — Это чекап, только чекап. Какая чистота пробоя! — с удовольствием говорил он. — Медленный закал стали, пятидюймовый клюв, двухфутровая рукоять. Чудесное оружие! Им

лучшие шлемы пробивали, ни один доспех не держал. С чеканом даже секира не сравнится, тут вся кинетическая энергия удара сконцентрирована в одной точке — а тело в два английских фунта у боевого чекана: бронебойный снаряд! Правда, у бердыша рукоять вчетверо длинней, но его парировать легче, принять древко на клинок, и в свалке не развернешься...

— Спасибо, — прерывали восторженный поток, — а уточнить нельзя — какой, как?..

— Отчего же... Посмотрим... а изнутри? ого! Судя по сечению, это начало XV века. Конец эпохи тяжелой латной конницы. Немецкие крестьяне времен протестантских войн его очень любили. Они ведь там, знаете, за сто лет войн три четверти Германии истребили, вот так! Регенсбургские чеканы были особенно хороши, только там настоящим секретом закала владели... Да, точно: русский клевец был покороче... а испанцы это оружие не уважали, считали нерыцарственным, низким... а французской работы это не прошиб бы, пожалуй, нет... у них послабее металл был, не умели, вся французская знать носила завозное оружие — Испания, Италия, Германия... Англия отчасти...

— Хорошо-хорошо! А скажите: ведь с чудовищной силой надо такой удар нанести? должен быть очень сильный человек, верно?

— Глупости. Сила нужна слону. Оружие требует только умения. У вас есть время? И машина тоже есть? Тогда сами увидите.

Он привозил чекан из запасников и, предвкушая, щуря глаз, водил по клюву алмазным напильником. Принимал позу:

— Удар идет снизу — пяточка! на пяточке всю массу тела повернуть. Скрутка коленей... скрутка бедер... торс! Плечи... локоть... кисть, кисть! Выдох — э-э-э: гэть!!!

Худенький Тарасюк вздрыгивался — чекан сверкал широкой дугой и всаживался в стальную дверцу по рукоять.

— Вот и все! А выстрели-ка из вашего „Макарова“ — хрен пробьешь.

Если снимался исторический фильм со сражениями — без Тарасюка не обходилось. Он немедленно брал управление съемочной площадкой, задалбывал группу лекциями, похеривал режиссерский замысел, лично чертил, кому где стоять и куда двигаться, наконец, хватал шпагу и вгонял в ужас несчастного актера.

— Снимай! мотор! — вопил в азарте Тарасюк. — Трус! растяпа! ты за шпагу держишься, а не за бабью сиську! Квинта! терция! парад!!! — И делал выпад, едва не протыкая беднягу насквозь.

Актеры его ненавидели, но прочий Ленфильм обожал.

— Опоздали вы родиться, профессор. — Режиссер с ассистентами еле отбирали оружие у увлеченного консультанта.

— Не сказал бы, — с обидой возражал тот. — Как раз ваш лицедей стал бы у меня сейчас двадцать девятым.

И уезжал к теще кушать грибной суп и рассказывать о преимуществах большой шпаги перед рапирой.

9

Киногерой

Он стал уже легендой, и кино решили снимать о нем самом. Из Рима прилетела группа кинодокументалистов, чтоб все зрители узнали о великом ученом-оружейнике всех времен и народов. Они запечатлели профессора Тарасюка, читающего лекцию

студентам, профессора Тарасюка, делающего открытие в запасниках музея, профессора Тарасюка, постигающего груды фолиантов в Библиотеке Академии наук, и профессора Тарасюка, размышляющего на фоне невских волн. Остался профессор Тарасюк у себя дома.

Профессор Тарасюк сказал, что дома не надо. Но итальянцы вообще темпераментны и напористы, а если им приспичит, то это просто мафиози. Они загалдели, замахали руками и повезли его к нему же домой.

Профессор Тарасюк криктел. Жил он со старушкой тещей в одной комнате, в коммуналке. Увидев эту квартиру, итальянские киногении пришли не столько в ужас, сколько в недоумение. Они допытывались, а где же у профессора рабочий кабинет, и, не говоря о столовой, но где же спальня?..

Им набулькали водки, разогрели грибного супа, и напряженная визитом иностранцев теща разъяснила, что профессор — большой чудак (у меня маленькая слабость: боязнь больших странств, — застенчиво оклеветал Тарасюк свою непоколебимо здоровую психику): он мог бы купить особняк, но ни за что не хочет выезжать из этой комнаты — привык к виду из окна, ему здесь хорошо работается.

— Наш зритель этого не поймет, — задумчиво решили итальянцы. — Буржуазная пропаганда внушает, что советские люди нищие, и мы должны показывать счастливого ученого в расцвете советской науки. — Это были прогрессивные итальянцы.

Это были настоящие киношники, и в кино у профессора Тарасюка получилась просторная многокомнатная квартира. Тарасюк за письменным столом — это был кабинет, за обеденным столом — это была столовая, на фоне книг — это была библиотека, у стены с оружием — домашний музей, и Тарасюк, сидя-

щий в кресле, в тещином халате и с рюмкой в руке, рядом с расстеленным диваном, — это была спальня. В коридоре с гантелями Тарасюк изображал спортаал. Из кухни выгнали соседёй, теща надела выходное платье и взяла поварешку: это была старенькая мама заботливого сына Тарасюка. Италия — католическая страна, там плохо относятся к разводам, это зрителю не понравится; зато хорошо относятся к матерям, это зрителю понравится.

На закуску они сняли профессора Тарасюка с партизанской медалью и хором сказали, что такого героя среди ученых они вообще не видели, он — феномен и живая легенда. Правда, Тур Хейердал тоже был парашютист и диверсант, но, кажется, никого так и не убил, хотя был уже совершеннолетним, — а бедному сироте Тарасюку было десять лет: мамма миа! порка мадонна! с ума сойти! двадцать восемь фашистов! он убил их за один раз или за несколько? Это были те самые двадцать восемь панфиловцев, да? они читали об этом бессмертном подвиге! Почему Тарасюк не Герой Советского Союза?

— Я был еще несовершеннолетним, — виновато сказал Тарасюк.

— А ваши пионеры-герои?.. — спросили образованные итальянцы.

— Только посмертно, — сказал Тарасюк. — Мне предлагали, но я отказался.

10

Рыцарь печального образа

Заговорили об его последней книге по ритуалам и традициям рыцарских турниров. Этот труд должен был перевернуть мировую науку о рыцарстве. Тарасюк не страдал мелкостью замыслов.

И он поволок крепко подпивших итальяшек в Эр-

митаж, в самые богатые в мире запасники рыцарского вооружения. Выбрал эффектный доспех по росту, под его управлением итальянцы облачили его в латы, застегнули застёжки, затянули ремешки и сняли дивные кадры: рыцарь повествует о поединках, подняв забрало и опершись рукой в железной рукавице на огромный меч.

Они так изрядно все нажрались, и Тарасюк их утомил непрерывным ускоренным курсом истории оружия, — они хотели успеть в итальянское консульство на прием. А он не хотел вылезать из доспеха — ему в нем страшно нравилось. Короче, они свалили, а он остался один. Вранье, что в турнирном доспехе нельзя ходить пешком — сочленения очень подвижны, а веса в нем килограммов тридцать — тридцать пять: сталь нетолстая, просто исключительной прочности. У нынешнего пехотинца полная выкладка тяжелей на марше.

И тут произошла незабываемая встреча, с которой началась наша история.

...Дальнейшие события разворачивались печально. В половине двенадцатого в Эрмитаже начинает дежурить ночная охрана. Ночная охрана — это сторожевые собаки. Обученные овчарки контролируют пустые помещения. Зарабатывала овчарка — шесть дней в неделю с полдвенадцатого до шести утра — шестьдесят рублей в месяц. Владелец трех собак жил на их зарплату.

Собак как-то не предупредили о проблеме с сервизом. С лаём и воем, скользя юзом на поворотах, они влетели в запасник.

Ребята из Смольного обрели дар речи и завопили о спасении. Хранительнице было легче — она свалилась, наконец, в обморок.

Бронированный же рыцарь Тарасюк издал боевой клич и взмахнул мечом. Но дело в том, что конный

рыцарь надежно прикрыт во всех местах, кроме задницы. Задом он сидит на специальном, приподнятом, боевом седле. А немецкая овчарка двадцатого века в рукопашной несравненно подвижнее немецкого рыцаря пятнадцатого века. И Тарасюк был мгновенно схвачен зубами за незащитный зад.

Заорав от боли, он быстро сел на пол, бросил тяжелый меч и укрытыми стальной чешуей кулаками пытался сидя треснуть проклятых тварей!

Вот такую композицию и застала охрана и милиционеры. Ваволнованные милиционеры защелкали затворами пистолетов, охрана взяла собак на поводки, и вот тогда ребята из Смольного взревели во всю мощь своего справедливого негодования: сотрудников обкома мечом пугать! посланцев партии травить собаками! суши сухари, суки, Романов вам покажет!

Действительно: еще только латные рыцари не устраивали антисоветских восстаний.

...Тарасюка мгновенно и с треском выперли отовсюду.

Над вспотевшей головой, с которой сняли шлем с истлевшим плюмажем, засиял нимб мученика-диссидента: с мечом в руках он охранял достоинство науки и народа от самодурства Смольного!

Легенда обрела завершение и вышла на улицы.

11

Встреча в ауле

Его не брали на работу никуда: ни в один институт, даже библиотекарем в районную библиотеку, даже учителем истории в восьмилетнюю школу. Теща плакала и кормила его грибным супом, и пенсионерский кусок застревал у совестливого Тарасюка в горле.

Через два месяца он устроился грузчиком на ово-

щебазу, скрыв все свои ученые степени и заслуги. Таскал ящики с картошкой и пил с мужиками портвейн на двоих.

Его дипломников и аспирантов раскидали по другим руководителям, и они боялись даже позвонить ему: шел семьдесят пятый год, и лояльные граждане опасались сказать лишнее слово...

Тарасюк озлился. С самого своего партизанского детства он был исключительно советским человеком, и все окружающее ему очень нравилось — что естественно при удачной карьере в любимом деле. Но непосредственное общение с пролетариатом благотворно влияет на интеллигентские мозги. За сезон на овощебазе он дошел до товарной спелости мировоззрения, как сахарная свекла до самогонного аппарата: еще немного — и готов продукт, вышибающий щекры и слезы из глаз. А главное, без оружия он был не человек.

Он стал читать газеты и слушать вражьи голоса. И писать в редакции и инстанции письма о правде и справедливости. Письма отличались научным стилем и партизанскими пожеланиями. И в его собственный почтовый ящик перестали приходить письма и приглашения из-за границы.

Тут приезжает на очередную говорильню оружейников немец из Франкфурта, коллега-профессор, и хочет видеть своего знаменитого друга по переписке профессора Тарасюка: что с ним, где он, почему не отвечает на письма? Все мычат и отводят глаза.

Педантичный немец получает в Ленсправке адрес и телефон, звонит Тарасюку и едет в гости. Герр Тарасюк, говорит, какая жалость, что вы не присутствовали. А у герра Тарасюка руки в мозолях и царапинах и перегар изо рта. И, отчаянно поливая советскую власть, он гостеприимно предлагает: не угодно ли выпить водки под грибной суп, дивное сочетание, рекомендую.

Они обедают, и Тарасюк замечает, что на левой руке у немца нет мизинца. Он бестактно наводит разговор на войну. А немец старенький, в очочках, и, подобно многим из его поколения, страдает комплексом вины перед Россией за ту войну. Он ежится и предлагает тост за мир между народами: он любит Россию, хоть его здесь чуть не убили.

Короче, ясно: это оказывается тот самый немец! Недостреленный.

Тут комплекс вины возникает в Тарасюке и сублимируется в комплекс любви. Он бежит за второй бутылкой по ночному времени на стоянку такси и всю ночь исповедуется блюющему немцу. Утром они опохмеляются, поют белорусские и рейнские народные песни, и немец убеждает его переехать в Германию: он гарантирует все условия для работы!

Тарасюк обрисовывает политическую ситуацию: пока Романов в Смольном — гнить Тарасюку на овощебазе.

Немец ободряет: он пойдет к германскому консулу, тот лично обратится к товарищу Романову, и ради дружественных отношений между двумя государствами Тарасюка немедленно выпустят в Германию. Профессиональное немецкое заболевание — гипертрофия здравого смысла.

— Забыл сорок пятый год? — спрашивает Тарасюк. — Высунусь высоко — меня просто посадят.

— Майн Готт! За что вас можно посадить?

— Боже мой! За все. Распитие спиртных напитков, хранение холодного оружия, общение с иностранцами.

И все равно немец обиделся, что Тарасюк не проводил его ни в гостиницу, ни в аэропорт. Из чего можно заключить, что Тарасюк в грузчиках резко поумнел, в отличие от немца, который грузчиком никогда не работал.

...Через месяц в тарасюковскую дверь позвонил

немцев докторант, приехавший в Ленинград с тур-группой. Не доверяя почте, он лично привез письмо из Иерусалима от Тарасюкова родного брата, потерявшегося в оккупации, и вызов на постоянное местожительство на историческую родину Израиль. Немец оказался обязательным и настойчивым человеком. А во Франкфурте мощная еврейская община, он подключил ее к благородному делу, не посвящая в подробности.

12 Еврей

Это даже удивительно, сколь многие и разнообразные явления ленинградской жизни пересекались с еврейским вопросом. Поистине камень преткновения. Куда ни плюнь — обязательно это как-то связано с евреями. Россия при разумном подходе могла бы извлечь из этого гигантскую, наверно, выгоду. Но традиция торговли сырьем возобладала — одного еврея просто меняли на три мешка канадской пшеницы: такова была международная увязка эмиграционной квоты с объемом продовольственных поставок. Как всегда, мир капитала наживался в неравных сделках с родиной социализма, не тем она будь помянута.

К вызову прилагалась устная инструкция. Тарасюк поразмыслил, взял бутылку, ввалился к приятелю и коллеге историку-скандинависту Арону Яковлевичу Гуревичу и между третьей и четвертой спросил между прочим, как стать евреем. Гуревич сильно удивился. Он знал абсолютно все про викингов, но про евреев знал только то, что лучше им не быть. Он посоветовал Тарасюку обратиться в синагогу; если только она работает, добавил он в сомнении.

Тарасюк постеснялся идти в синагогу, уж больно

неприличное слово, и пошел выпить кофе в „Сайгон“. В „Сайгоне“ он немедленно увидел еврея замечательно характерной внешности — рыжего, горбоносого, с одесскими интонациями. Это был Натан Федоровский, один из многих завсегдатаев знаменитого кафетерия, нищий собиратель картин нищих ленинградских художников, а ныне — известный и богатый берлинский галерейщик.

Тарасюк перебрался за столик Федоровского и, краснея и запинаясь, попросил ему помочь. Рыжий Федоровский оценил деликатность просителя и незамедлительно выдал ему двадцать копеек.

Тарасюк поперхнулся кофе, зачем-то положил рядом с его монетой свой двугривенный и брякнул напрямик, не знает ли неизвестный ему, но, простите Бога ради, я не хочу вас обидеть, явный еврей, как можно стать евреем.

Компания Федоровского заявила, что этому человеку надо налить, и развела по стаканам бутылку портвейна из кармана.

И польщенный и добрый Федоровский выдал Тарасюку полную информацию. Тарасюка устроило все, кроме обрезания, но либеральный Федоровский успокоил, что ему это не обязательно.

Согласно полученной информации, Тарасюк избрал сокращенную форму обряда. Он продал коллекцию (все одно не вывезти) и поехал в Ригу. И в Риге знакомый Федоровского, связанный с еврейской общиной, устроил ему, за пять тысяч рублей по принятой таксе, свидетельство о рождении его матери, каковая появилась от религиозного брака ее родителей-евреев, о чем и были сделаны соответствующие записи.

С этим свидетельством он пошел в Ленинграде в свой районный паспортный стол и написал заявление, что хочет поменять национальность с белоруса на еврея. Там несильно удивились — он был такой

не первый. Но стали мурыжить, откладывая с недели на неделю.

Тарасюк пошел выпить кофе в „Сайгон“ и встретил рыжего Федоровского. Тот хмыкнул, что это ерунда, надо дать двести рублей, и через неделю вручат новый паспорт. Тарасюк сказал, что продал еще не всю коллекцию, хватит еще замочить всех начальников паспортных столов; картин вот, к сожалению, нет, но если Федоровский захочет коллекционировать оружие... не умеет он давать взятки!

И бескорыстный Федоровский, плававший в питейской жизни вдоль и поперек, сунул бабки куда надо, и Тарасюк стал евреем.

Ну, еще годик его помурыжили. Гоняли за справками и допытывались, почему он всю жизнь скрывал в анкетах национальность матери и наличие родственника-брата за рубежом. Он резонно отвечал, что это могло помешать карьере, а про брата, вот письмо, и сам не знал. И через год благополучно улетел, в четверг венским рейсом, как принято.

Из всех ученых коллег и любящих учеников его провожали только печальная теща и радостный Федоровский — он всех провожал и на все плевал.

Улетал он с тем же древним футбольным чемоданчиком, где были: чистая сорочка, неоконченная рукопись, бутылка коньяка, книга В. Бейдера „Средневековое холодное оружие“ и крошечный никелированный дамский „Браунинг № 8“ с перламутровыми щечками.

Немец встречал его прямо в венском аэропорту, где Тарасюк незамедлительно распил с ним коньяк и подарил на память пистолетик — точную копию того, когдатошнего... Как он протащил его через таможню — одному Богу ведомо.

ЛЕГЕНДА О МОРСКОМ ПАРАДЕ

И была же, была Великая Империя, адели стяги в громе оркестров, чеканили шаг парадные коробки по брусчатым площадям, и гордость державной мощью вздымалась в гражданах! И под эти торжественные даты Первого Мая и Седьмого Ноября входил в Неву на военно-морской парад праздничный ордер Балтфлота. Боевые корабли, выдраенные до грозного сияния, вставали меж набережных на бочки, расцветчивались гирляндами флагов, и нарядные ленинградцы ходили любоваться этим зрелищем.

Возглавлял морской парад по традиции крейсер „Киров“. Как любимец города и флагман флота. Флагманом он стал после того, как немцы утопили линкор „Марат“, бывший „Двенадцать апостолов“. Он вставал на почетном месте, перед Дворцовым мостом, у Адмиралтейства, и всем его было хорошо видно.

Так вот, как-то вскоре после войны, в сорок седьмом году, собираясь уже на парад, крейсер „Киров“ напоролся в Финском заливе на невытраленную мину. Мин этих мы там в войну напихали, как клецок, и плавали они еще долго; так что ничего удивительного. Получил он здоровенную дыру в скуле, и его кое-как отволокли в Кронштадт, в док. Сигнальщиков, начальство и всю вахту жестоко вздрючили, а особисты забегали и стали шить дело: чья это диверсия — оставить Ленинград на революционный праздник без любимца флота?

Флотское командование уже ощупывало, на месте ли погоны и головы. Сталин недоверчиво относился к случайностям и недолюбливал их. Пахло крупными оргвыводами.

И последовало естественное решение. У „Кирова“ на Балтике был систер-шип, однотипный крейсер „Свердлов“. Так пусть „Свердлов“ и участвует в параде. Для разнообразия. Политически тоже выдержано — имена равного калибра. Какая, собственно, разница. Как будто так и было задумано.

А „Свердлов“ в это время спокойно стоял под Кенигсбергом, уже переименованным в Калининград, в ремонте. Машины разобраны, хозяйство раскурочено, ободрано, половина морячков в береговых мастерских, ковыряются себе потихоньку. По субботам в увольнение на танцы ходят. И не ждут от жизни ничего худого.

И тут командир получает шифровку: срочно сниматься и полным ходом идти в Ленинград, с тем чтобы в ночь накануне праздника войти в Неву и занять место во главе парадного ордера. Исполнять.

Командир в панике радирует в Кронштадт: что, как, почему, а где же „Киров“? Вы там партийных деятелей не перепутали? Ответ: не твое дело. Приказ понятен?

Так я же в ремонте!! — Ремонт прервать. После парада вернешься и доремонтируешься. — Да крейсер же к черту разобран на части!! — Сколько надо времени, чтоб быстро собраться и выйти? — Минимум две недели. — В общем, так. Невыполнение приказа? Погоны жмут, жизнь наскучила? А... Ждем тебя, голубчик.

И начинается дикий хапарай в темпе чечетки. Срочно заводят на место механизмы главных машин. Приклепывают снятые листы обшивки. Командир принимает решение: начинать движение самым малым на одной вспомогательной, ее сейчас кончат

приводить в порядок, а уже на ходу, двадцать четыре часа в сутки, силами команды, спешно доделывать все остальное. Всем БЧ через полчаса представить графики завершения работ.

БЧ воют в семьсот глоток, и вой этот вызывает в гавани дрожь и мысль о матросском бунте, именно том самом, бессмысленном и беспощадном: успеть никак невозможно! Командир уведомляет командиров БЧ об ответственности за бунт на борту, и через час получает графики. Согласно тем графикам, лап у матроса шесть, и растут они вместо брюха, потому что жрать до Ленинграда будет некогда и нечего: коки и вся камбузная команда тоже будут круглые сутки завершать последствия ремонта. Отлично; не жрешь — быстрее крутиться будешь.

И тут вспоминают: а красить-то, красить когда?! Ведь ободрано все до металла!!! Командир — старпому: сука!!! Помполит — боцману: вредим понемногу?.. Боцман: в господа бога морскую мать. — Через час отходим!!! — Боцман: есть.

За пять минут до отхода, командир голос сорвал, вопя по телефонам, является старпом — доклад: задача выполнена. Командир: гигант! как? Помполит: ну то-то же. Старпом: так и так, сводная бригада маляров береговой базы на стенке построена. Пока мы на ходу все доделаем, они все и покрасят, в лучшем виде. Приказ — принимать на борт?

Командир хлопает старпома по плечу, жмет руку помполиту, утирает лоб рукавом; смотрит на часы и закуривает:

— Машине — готовность к оборотам. Приготовиться к отдаче швартовых. Рабочих — на борт.

Старпом говорит:

— Может быть, взглянете?

— Чего глядеть-то.

А снаружи раздается какой-то странный шум.

Командир смотрит в лицо старпому и выходит на крыло мостика.

Вся команда, побросав дела, сбилась вдоль бор-та. Свистит, прыгает и машет руками.

А на стенке колеблется строй малярш. И делает матросикам глазки.

Папирота из командирского рта падает на палу-бу, плавно кувыркаясь и рассыпая искры, а сам он покачивается и хватается за поручни:

— Эт-то что...

Старпом каменеет лицом и гаркает боцману:

— Это что?!

Боцман рыкает строем:

— Смир-рна! — и, бросив руку к виску, рапорту-ет: — Сводная бригада маляров в составе двухсот человек к ремонту-походу готова!

Малярши смыкают бедра, выпячивают груди, округляют глазки и подтверждают русалочьим хо-ром:

— Ой готова!..

Матросики по борту мечут пену в экстазе и же-стами всячески дают понять, что они приветствуют малярную готовность и, со своей стороны, также безмерно готовы.

Командир говорит:

— Ну!.. — И закуривает папироту не тем кон-цом. — Ну!.. — говорит. — Да!..

Помполит говорит:

— Морально-политическое состояние экипа-жа! — А у самого зрачки по блюдцу, и плещется в тех блюдцах то, о чем вслух не говорят.

А старпом почему-то изгибается буквой зю и рас-прямяться не хочет. И краснеет.

А рация в рубке верещит: „Доложить готовность к отходу!“

— Готовность что надо, — мрачно говорит ко-мандир, сжевывая папиротный табак.

А боцман снизу — старорежимным оборотом:

— Прикажете грузить?

Командир машет рукой, как Пугачев виселице, и — обреченно:

— Принять на борт. Построить на полубаке к ин-структажу.

И малярши радостной толпой валят по трапу, а морячки беснуются и в воздух чепчики бросают, и загнать их по местам нет никакой возможности.

— Команде по местам стоять!!! — вопит командир. — Отдать носовой!!!

Потому что никакого времени что бы то ни было изменить уже не остается. В качестве альтернативы — исключительно трибунал; а перед такой альтернативой человеку свойственно нервничать.

И раздолбанный крейсер тихо-тихо отваливает от стенки, а малярши выстраиваются на полубаке в четыре шеренги, теснясь выпуклостями, и со смешочками „По порядку номеров — рас-считайсь!“ рассчитываются, причем счет никак не сходится, и с четвертого раза их оказывается сто семьдесят две, хотя в первый раз получилось сто девяносто три.

Боцман таращится преданно и предъявляет в доказательство список личного состава на двести персон. Персоны режутся, и становится их на глазах все меньше, и это удивительное явление не поддается никакому научному истолкованию.

Болезельщики счастливо — боцману:

— Да кто ж по головам-то! Весом нетто надо было принимать — без упаковки!

Командир вышагивает — инструктирует кратко:

— Крейсер первого ранга! Дисциплина! Правительственный приказ! — Замедляет шаг: — Как звать? Не ты, вот ты! Назначаешься старшей! Вестовой — препроводить в салон. Боцман! — разбить по командам, назначить ответственных, раздать краску и инструмент, поставить задачи! Через полчаса доложить исполнение — проверю лич-но! Приступить.

И поднимается на мостик.

И под приветственный свист со всех кораблей они медленно ползут к выходу из гавани.

Командир переминается, смотрит на створы, на карту, на часы и старпому говорит:

— Ну что же, — говорит, — Петр Николаевич. Вы капитан второго ранга, опыт большой, пора уже и самостоятельно на корабль аттестовываться. Так что давайте, командуйте выход в море. На румбе там восемьдесят шесть, да вы и сами все знаете, ходили. А я пока спущусь вниз: посмотрю лично, что там у нас делается. А то, сами понимаете...

И, манкируя таким образом святой и неотъемлемой обязанностью командира на входе и выходе из порта присутствовать на мостике лично, он спускается в низы. И больше командира никто нигде не видит.

А старпом смотрит мечтательно в морское пространство, принимает опять позу буквой зю, шепчет что-то беззвучно и звонит второму штурману.

— Поднимитесь-ка, — говорит, — на мостик. — Ну что, — говорит он ему, — товарищ капитан третьего ранга. Я уйду скоро на командование, корабль получаю, вот после перехода сразу аттестуюсь. А вам расти тоже пора, засиделись во вторых, а ведь вы как штурман не слабее меня, и командирский навык есть, не отнекивайтесь; грамотный судоводитель, перспективный офицер. Дел у нас сейчас, как вы знаете, невпроворот, и все у старпома на горбу висит, так что примите мое доверие, давайте: из гавани мы уже почти вышли, курс проложен — покомандуйте пару часиков, пока я по хозяйству побегая, разгону всем дам и хвоста накручу. Тем более, — напоминает со значением, — ситуация на борту, можно сказать, нештатная, тут глаз да глаз нужен.

И с видом сверх меры озабоченного работяги-

страдальца старпом покидает мостик; и больше его тоже никто нигде никогда не видит.

...И вот на третьи сутки командир звонит из своей каюты на мостик: как там дела? где местонахождение, что на траверзе, скоро ли подходим? И с мостика ему никто не отвечает. Он немного удивляется, дует в телефон и звонит в штурманскую рубку. И там ему тоже никто не отвечает. Звонит старпому — молчание. Он в машину звонит! корабль-то на ходу, в иллюминатор видно! А вот вам — из машины тоже никаких признаков жизни.

Командир синееет, звереет и звонит вестового. И — нет же ему вестового!

А из алькова командирского, из койки, с сонной нежностью спрашивают:

— Что ты переживаешь, котик? Что-нибудь случилось?..

Котик издает свирепое рычание, с треском влезает в китель.

— Ко-отик! куда ты? а штаны?..

Командир смотрит в зеркало на помятейшую рожу с черными тенями вокруг глаз и хватается за бритву.

— Да и что ж это ты так переживаешь? — ласково утешает его из простынь наикрасивейшая малярша, назначенная за свои выдающиеся достоинства старшей и приглашенная, так сказать, по чину. — У вас ведь еще такая уйма народу на корабле, если что вдруг и случилось бы — так найдется кому присмотреть.

Командир в гневе сулит наикрасивейшей малярше то, что она уже и так получила в избытке, и, распостраняя свежевыбритое сияние, панику и жажду расправы вплоть до повешения на реях, бежит на мостик.

При виде его полупрозрачная фигура на штурвале издает тихий стон и начинает оседать, цепляясь за рукоятки.

— Вахтенный помощник!!! — гремит командир.

А вот ни фига-то никакого вахтенного помощника. Равно как и прочих. Командир перехватывает штурвал, удерживая крейсер на курсе, а матрос-рулевой, хилый первогодок, норовит провалиться в обморок.

— Доложить!! где!! штурман!! старший!!

А рулевой вытирает слезы и слабо лепечет:

— Товарищ капитан... первого ранга... третьи сутки без смены... не ел... пить... галльюн ведь... заснуть боялся... — И тут же на палубе вырубается: засыпает.

Командир ему твердою рукой — в ухо:

— Стоять! Держать курс! Трибунал! Расстрел! Еще пятнадцать минут! Отпуск! В отпуск поедешь! — И прыгает к телефону.

При слове „отпуск“ матрос оживает и встает к штурвалу.

Командир беседует с телефоном. Телефон разговаривать с ним не хочет. Молчит телефон.

Он несется к старпому и дубасит в дверь. Ничего ему дверь на это не отвечает: не открывается. Несется в машину! Задраена машина на все задрайки и не подает никаких признаков жизни.

Кубрики задраены, башни и снарядные погреба, задраена кают-компания, и даже радиорубка тоже задраена. И задраена дверь этой сволочи помполита. И малым ходом движется по тихой штилевой Балтике эдакий Летучий Голландец „Свердлов“ без единого человека где бы то ни было.

И только с мостика душераздирающе стонет рулевой, подвешенный на волоске меж отпуском и трибуналом, истощив все силы за двое суток исполнения долга, в то время как прочие истощили их за тот же период, исполняя удовольствие... Да мечется в лабиринтах броневго корпуса чисто выбритый, осунувшийся и осатаневший командир, ма-

терясь во всех святых и грохоча каблуками и рукоятью пистолета во все люки и переборки. Но никто не откликается на тот стук, словно вымерли потерпевшие бедствие моряки, опоздало спасение и напрасно старушка ждет сына домой.

В кошмаре и раже командир стал делить количество патронов в обойме на численность экипажа и получил бесконечно малую дробь, не соответствующую решениям задачи.

Он прет в боевую рубку, и врубает ревун боевой тревоги, и объявляет по громкой трансляции всем стоять по боевому расписанию, настал их последний час. И таким левитановским голосом он это объявляет, что матросик на руле окончательно падает в обморок. Крейсер тихо скатывается в циркуляцию. Команда, очевидно, в свой последний час спешит пожить — не показывается. И только вдруг оживает связь: машина докладывает. Слабым таким загробным голосом докладывает:

— Товарищ командир... Третьи сутки на вахте... одни... Сил нет... прошу помощи...

— Кто в машине?! Где стармех?! Где вахтенный механик?!

— Матрос-моторист Иванов. Все кто где... мне приказали... обещали сменить, значит... если я, то и мне... Что случилось у нас?

— Пожар во втором снарядном погребе!!! — орет командир по трансляции и врубает пожарную тревогу. — Давай, орлы, сейчас на воздух взлетим!!! Пробойна в котельном отделении!!! Водяная тревога!!! Тонем же на хрен!!! — вызывает неуставным образом.

И тогда повсюду начинают лязгать задрайки и хлопать люки и двери и раздается истошный женский визг. И на палубу прут изо всех щелей и дыр полуодетые, четвертьодетые и вовсе неодетые малярши и начинают бегать и визжать, а через них валют напролом, застегиваясь на ходу, бодрые матросы

сы — расхватывают багры и огнетушители, раскачивают шланги и брезенты.

— Старпома на мостик!!! — орет командир. — Командиров ВЧ на мостик!

И когда они, застегнутые не на те пуговицы и с развязанными шнурками, вскарабкиваются пред его очи, дрожа и потея как от сознания преступной своей греховности, так и от оной греховности последствий, —

— Плавучий бордель, — зловеще цедит командир. — А-а-а... из крейсера первого ранга — бардак?.. Что... товарищи офицеры!!! моральный облик!!! несовместимый! из кадров! к трепаной матери! без пенсии! под трибунал! за яйца! — Волчьим оскалом — щелк: — Штурман!

— Так точно! — хором рубят штурмана.

— Местонахождение! Кто на румбе?!

И дает отбой тревогам:

— Баб — всех — в носовой кубрик! на задрайку! часового! найду где — своей рукой! за борт! расстреляю!

Выясняется, что тем временем на траверзе рядом — Рига. Командир приказывает менять курс на нее и шлепать в Ригу. И через пару часов страшный, как после атомной войны, „Свердлов“ своим малым инвалидским ходом вваливается в порт и просит приготовиться к приему двухсот ремонтных рабочих. Командир связывается с военным комендантом — убеждает обеспечить уж их доставку домой, в Кенигсберг. Да нет, дисциплинированные; выполняли срочное задание...

Выполнивших срочное задание маляры снова выстраивают на полубаке, но уже под бдительной охраной, и командир принимается лично пересчитывать их по взлохмаченным головам. Может, если б он их по другим местам считал, то и результат получился бы другой, а так у него получилось девяносто семь.

— Или через пять минут я сосчитаю до двухсот, — говорит обозленный своими арифметическими успехами командир старпому, — или через пять минут на крейсере открывается вакансия старшего помощника. Тебя в школе устному счету не учили? так получишь прокурора в репетиторы.

И бедных малярш, размягченных и осоловевших от военно-морского гостеприимства, извлекают из таких мест корабля, по сравнению с которыми шлюпка фокусника — удобное и просторное жилище: из шкапчиков, закутков, рундуков, шлюпочных тендов, вентиляционных шахт, топливных цистерн и водяных емкостей. И через полчаса их сто пятьдесят шесть.

Старпом плачет и клянется верностью присяге.

— Боцман, — осведомляется командир, — ты на Колыме баржой не заведовал? Аттестую!!

И боцман, скрежеща зубами, буквально шкрябкой продирает все закоулки корабля, и малярш набирается сто девяносто три.

— Ладно, хрен с ним, — примирительно оставливает командир, тем более что из недостающих семи одна, самая качественная, спит у него в каюте. — Время не позволяет дольше. Сгружай на фидг, !

„Свердлов“ швартует к стенке, спускает трап, и опечаленные малярши сыпаются на берег, рассылая воздушные поцелуи и выкрикивая имена и адреса. Вслед за чем крейсер незамедлительно отваливает — продолжать свой многотрудный поход.

Объем незавершенных работ и оставшееся время друг другу соответствуют, как комбайн — полевой забудке. Командир принимает решение сосредоточить все усилия на категорически необходимом. Первое: кончить сборку главной машины, в Неву-то с ее фарватером и течением на вспомогателе не очень зайдешь. И второе: полностью произвести наружную окраску, без чего ужасный внешний вид

любимца флота может быть не одобрен командованием.

И вот плепает крейсер самым малым, а на мачтах, трубах, за бортом болтаются в люльках матросики и спешно шаровой краской накатывают красоту на родной корабль. Весело работают! перемигиваются и кисти роняют.

И кое-как, командир на грани инфаркта, они действительно под обрез успевают, и на исходе предпраздничной ночи проходят Кронштадт, входят на рассвете в Неву, и обнаруживается, что буксиров для их встречи и проводки, конечно, нет. Как обычно на флоте, одной службе не полагается знать планы другой, и коли доподлинно известно, что „Киров“ подорвался и в параде не участвует, то с чего бы портовой службе слать ему буксиры. А о героическом подвиге „Свердлова“ ее не информировали. И „Свердлов“ самостоятельно вползает в Неву, проходит мост лейтенанта Шмидта... а это совсем не так просто — тяжелому крейсеру в реке своим ходом протискиваться к стоянке и вставать на бочки. Течение сильное, фарватер узкий, места мало, осадка приличная — того и гляди, сядешь на мель, подразвернет тебя поперек течения, и — сушите весла и сухари, товарищ командир.

И командир, в мокром насквозь кителе, отравленный бессонницей и никотином бесчисленных папирос, заводит-таки крейсер на место! А сверху сигнальщик торжественно поет, что у ступеней Адмиралтейства стоит, судя по вымпелу, катер командующего флотом, и сам командующий, горя наградами и галунами парадной адмиральской формы, наблюдает эволюции своего дубль-флагмана.

„Свердлов“ замирает точно в предназначенной ему позиции, напротив Адмиралтейства, и начинает постановку на бочки. И тут до всех доходит, что бочек никаких нет. По той же причине — раз нет „Кирова“, значит, не нужны ему здесь и бочки, и насчет

приказа „Свердлову“ на срочный переход — не портовой службы это собачье дело, им об этом знать раньше времени вроде и по штату не полагается. Коротче — не к чему швартоваться.

Командир поминает, что покойница мама еще в детстве не велела ему приближаться к воде. И, естественно, приказывает отдать носовые якоря. А это маневр непростой: надо зайти выше по течению, до самого Дворцового моста, стравить якоря и тихо сползать вниз по течению, пока якоря возьмутся за грунт, и чтоб точно угадать место, где они уже будут держать. И из-под командирской фуражки валит пар.

А адмиральский катер тем временем, не дожидаясь окончания всех этих пертурбаций, срывается пулей с места, красивой пенной дугой подлетает и притирается к борту, ухарь-баковый придерживает багром, вахтенный горланит:

— Адмиральский трап подать!

И адмиральский трап с четкостью опускается до палубы катера. И адмирал со свитой восходит на крейсер, под полагающиеся ему по должности пять свистков и чеканный рапорт дежурного офицера.

Адмирал следует на мостик, который командир до окончания постановки на якоря покидать не должен, с удовольствием наблюдает за последними распоряжениями, оценивает распаренный вид командира, благосклонно принимает рапорт и жмет руку:

— Молодец! Службу знаешь! Ну что — успел? То-то. Благодарю!

Командир тянется и цветет и открывает рот, чтоб лихо отрубить: „Служу Советскому Союзу!“ Но вместо этих молодецких слов вдруг раздается взрыв отчаянного мата.

Адмирал поднимает брови. Командир глюкает кадыком. Свита изображает скульптурную группу „Адмирал Ушаков приказывает казнить турецкого пашу“.

— Кх-м, — говорит адмирал, заминая неловкость; что ж, соленое слово у лихих моряков, да по запарке — ничего... бывает.

— Служу Советскому Союзу, — сообщает наконец командир.

— Пришлось попотеть? — поощрительно улыбается адмирал.

И в ответ опять — залп убийственной брани.

Адмирал злобно смотрит на командира. Командир четвертует взглядом старпома. Старпом издает змеиный шип на помполита. У помполита выражение как у палача, да угодившего вдруг на собственную казнь.

Матюги сотрясают воздух вновь, но уже тише. А над рассветной Невой, над водной гладью, меж гранитных набережных и стен пустого города, разносится непотребный звук с замечательной отчетливостью. И эхо поигрывает, как на вокзале.

Адмирал вертит головой, и все вертят, не понимая и желая выяснить, откуда же исходит эхо кощунственное безобразие.

И обращают внимание, что вниз по течению медленно сплывает какое-то большое белое пятно. А в середине этого пятна иногда появляется маленькая черная точка. И устанавливают такую закономерность, что именно тогда, когда эта точка появляется, возникает очередной букет дикого мата.

— Сигнальщик! — срывается с последней гайки в истерику командир. — Вахтенный!!! Шлюпку! Катер! Определить! Утопить!!!

Шлепают катер, в него прыгает команда, мчатся туда, а с мостика разглядывают в бинокли и обмениваются замечаниями, пари держат.

Катер влетает в это пятно, оказывающееся белой масляной краской. Из краски выныривает голова, разевает пасть и бешено матерится. Булькает — и скрывается обратно.

При следующем появлении голову хватают и тянут. И определяют, что голова принадлежит матросу с крейсера. Причем вытягивается из воды матрос с большим трудом, потому что к ноге у него намертво привязано ведро. Вот это ведро, естественно, тащило его течением на дно. А когда ему удавалось на две секунды вынырнуть, он и вопил, требуя спасения в самых кратких энергических выражениях.

Оказалось, что матрос сидел за бортом верхом на лапе якоря и срочно докрашивал ее острие в белый цвет. И когда якорь отдали, пошел и он. Забыли матроса предупредить, не до того! красить-то его послал один начальник, а командовал отдачей якоря совсем другой. Ведро же ему надежным узлом привязал за ногу боцман, чтоб, сволочь, не утопил казенное имущество ни при каких обстоятельствах.

Командир, пред адмиральским ледяным презрением, из-за такой ерунды обгадилась самая блестящая концовка такой многотрудной операции — хрипом и рыком вздергивает на мостик боцмана.

— А тебе, — отмеряет, — твой матрос? десять суток гауптвахты!!

Несчастный боцман тянется по стойке смирно и не может удержаться от произвольного, этого извечного вопля:

— За что!.. товарищ командир!

На что следует ядовитый ответ:

— А за несоблюдение техники безопасности. Потому что, согласно правилам техники безопасности, при работе за бортом матрос должен был быть к лапе якоря принайтован... надежно... шкер-ти-ком!

БАЛЛАДА О ЗНАМЕНИ

*„Знамя есть
священная херувга,
которая... которой...“*

А. Куприн, „Поединок“

Боевых офицеров, которые дожили до конца войны — и не были потом уволены в запас — распи-хали по дальним дырам; подальше от декабристско-го духа. А то — навидались Европы, мало ли что. И они тихо там дослуживали до пенсии, поминая во-енные годы.

И торчал в глуши огромного Ленинградского во-енного округа обычный линейный мотострелковый полк. Это назывался он уже в духе времени — мото-стрелковый, а на самом деле был просто пехотный.

И командовал им полковник, фронтовик и ордено-носец, служба которого завершилась в этом тупике. В войну-то звания шли хорошо — кто жив оставал-ся, а в мирное время куда тех полковников девать? дослуживай... Не все умеют к теплomu местечку в штабе или тем более на военной кафедре вуза при-строиться. А этот полковник мужик был простой и бесхитростный: служака.

Жизнь в полку скучная, однообразная: гарнизон-ное бытѐ. Слава и подвиги — позади. Новобран-цы, учения, отчеты, пьянки и сплетни. Рядом — де-ревенька, кругом — леса и болота, ни тебе погулять, ни душу отвести.

А уж в деревне житье и вовсе ничтожное. Бедное и серое.

И только дважды в год сияло событие — устраи-вался парад. Это был праздник. В парад полковник

вкладывал всю душу, вынимая ее из подчиненных. За две недели начинали маршировать. За неделю сколачивали на деревенской площади перед сельсоветом трибуну и обивали кумачом. Изготавливали транспаранты, прилепляли на стены плакаты. Сержанты гоняли солдат, офицеры надраивали парадную форму и нацепляли награды, технику красили свежей краской, наводя обода и ступицы белым для нарядности — все приводили в большой ажур.

И в радостные утра 7 Ноября и 1 Мая вся деревня загодя толпилась за оцеплением вокруг площади. Деревенское начальство и старшие офицеры — на трибуне. Комендантский взвод, в белых перчатках, с симоновскими карабинами, вытягивал линейных. Полковой оркестр слепил медью и рубил марши. И весь полк в парадных порядках, р-равнение направо, отбивал шаг перед трибуной. Все девять рот всех трех батальонов. Открывала парад по традиции разведрота, а завершал его артдивизион и танковая рота. В конце шли даже, держа строй, санитарные машины санчасти и ротные полевые кухни — все как есть хозяйство в полном составе.

Народ гордился, пацаны орали, офицеры держали под козырек, а во главе, в центре трибуны, стоял полковник, подав вперед грудь в боевых орденах, и отечески упивался безукоризненной готовностью своего полка. Все свое армейское честолюбие, всю кровную приверженность старого профессионала своему делу являл он в этих парадах.

А впереди всей бесконечной стройной колонны — знаменосец! — плыл двухметрового роста усатый и бравый старшина, полный кавалер орденов Славы. Это уже была просто местная знаменитость, любимец публики. Пацаны гордились им, как чем-то собственным, и спорили, что поскольку он полный кавалер Славы, то он главнее офицеров, и старше только полковник.

А после парада был гвоздь программы — пиво! Надо знать жизнь глухой деревушки того времени, чтобы оценить, что такое было там — пиво; да еще для солдата. Дважды в год полковник усылал машину в Ленинград и всеми правдами и неправдами изыскивал средства и возможности купить три бочки пива. Каждому по кружке. Эти бочки закатывались в ларек, пустовавший все остальное время года, и вышедший с парадной дистанции личный состав в четко отработанной последовательности (это тоже входило в ночные и дневные репетиции!) выпивал свою кружку. А население кормили из дымивших, только что прошедших парадом полевых кухонь. Колхозников, естественно, было куда меньше, чем солдат в полку, и в этот-то уж праздничный день они наедались от пуза. И, таким образом, убеждались в смысле плаката на избе-читальне: „Народ и армия едины!“

Хороший был полковник. Слуга царю, отец солдатам.

И вот, значит, проходит такой первомайский парад. Оркестр ликует и гремит. Линейные замерли — штыки в небо, флажки на них плещутся. И с широкой алой лентой через плечо шагает старшина, колотая пыль из деревенского плаца, и в руках у него Знамя полка — 327-го гвардейского ордена Богдана Хмельницкого Славгородского мотострелкового — бахрома золотом, георгиевская лента по ветру бьет, орден в углу эмалью блещет, и буквы дугой через красное поле. А по бокам его, на полшага сзади — ассистенты при знамени, статные юные лейтенанты, серебро шапек в положении „на караул“ искрами вспыхивает.

И за ними — со своей песней, с лихим присвистом — разведрота марширует.

Музыка сердца! Сильна непобедимая армия, жив фронтовой дух!

И, миновав дистанцию церемониального марша и свернув за угол единственной деревенской улицы, старшина-знаменосец подходит к ларьку. Кружки уже налиты, кухонный наряд в белых куртках и колпаках готов к раздаче — да чтоб без проволочек! полторы тыщи рыл участвуют в параде, и каждому по кружке надо в отмеренные минуты!

И старшина, как знаменосец и заслуженный фронтовик, по традиции получает первым, и не одну кружку, а две. Первую он выпивает залпом, под вторую закуривает дорогую, командирскую, по случаю торжества, папиросу „Казбек“ и уже через затяжку вытягивает пиво по глоточку и со вкусом. Парад окончен.

Теперь — в гарнизон, столы уже накрыты, столовая украшена: праздничный обед. К этому обеду полковник приказывал резать кабана из подсобного хозяйства, баранов, закупить в деревне соленых огурцов и давал ротным негласное указание организовать наркомовские сто граммов всему личному составу — без рекламы, так сказать. Во славу оружия и память Победы.

Хороший был полковник. Больше таких уже нет. Полк за ним — в огонь и в воду. И у командования на прекрасном счету, в пример всем ставили. Но — не продвигали... Не то он когда-то где-то сказал не то, или по возрасту попал в неперспективные, или замполит про сто граммов стучал в политотдел дивизии... В общем, вся его жизнь была — родной полк, и как апофеоз службы — эти парады.

Значит, старшина выбрасывает окурок, ставит с сожалением пустую кружку и протягивает руку за знаменем, которое, свернув, прислонил к ларьку сбоку...

Не стоит там что-то знамя. Это он перепутал — он его с другого бока прислонил.

Смотрит он с другого бока: нету. Нету там знамени.

Странно. Ставил же. Сзади, значит, поставил...

Но только сзади ларька знамени тоже нету.

Старшина спрашивает лейтенантов-ассистентов:

— Ребята, у кого знамя?

Они на него смотрят непонимающе:

— Как у кого? Ты ж его из рук не выпускал.

— Да вот, — говорит, — поставил здесь...

Они вместе смотрят ларек со всех сторон — нет, у ларька знамя не стоит.

Начинают вертеть головами по сторонам. Взять никто не мог. Кругом в пулеметном темпе полк пиво пьет повзводно и поротно и вольным шагом марширует в расположение.

— А кто сегодня дежурный по посту № 1? Во балда! Не иначе разводящий распорядился сдуру знамя сразу после парада доставить на место — и отрядил караульных прямо к концу церемониального марша. Так спрашивать же надо! салаги...

Старшина с ассистентами, спрятавшими шапки в ножны, идет в штаб полка, к знаменной витрине, где на посту № 1 стоит с автоматом „на грудь“ часовой.

Пуста витрина.

— Знамя где? — спрашивает старшина у часового.

Тот от удивления начинает говорить, что ему на этом почетном посту категорически запрещено:

— Как это? Так вы же знаменосец...

— Тебе его что — не приносили?

— Кто?

— Ну... внешний караул...

— Никак нет. А что — должны были?

Идут к начальнику караула:

— Знамя ты брал?

Тот смеется — оценил шутку.

— Ага, — говорит. — Пусть, думаю, повисит немного над КПП, чтоб сразу было всем видно, что они входят не куда-нибудь, а в гвардейский орденоносный полк.

— Ну же, ты, мудака!! Где оно?!

— Да вы чего?.. Я ж так, ребята... шучу... а что?

— Шутишь?! Ничего. Молчи... понял?!

У старшины делается все более бледноватый вид, и пышные усы постепенно обвисают книзу. Лейтенанты-ассистенты — те откровенно мандражируют. И они начинают перерывать полк: какой идиот взял знамя и где его теперь держит.

Возвращаются к ларьку. Там уже свернуто все пивное хозяйство.

— Не, — говорит ларечник, — вы что? Ничего не видел. Да ты ж его из рук не выпускал.

— Не выпускал, — мрачно басит сержант, сделавшийся ниже ростом.

Может, в кабинет командира полка занесли? Или к начштаба?

Идут обратно в штаб. Нет — пусто. Во все окна заглянули. Только часовой у пустой витрины смотрит выжидательно, болван.

Они проходят по всем ротам. Идут в автопарк: может, знамя у ларька упало, соскользнуло по стенке, и кто-то в толчее его поднял и положил, например, на броню, и так на танке оно в парк уехало.

Нет; нету.

Дежурный по парку сильно удивляется вопросу и, конечно, тоже ничего не видел.

Тем временем полк окончил праздничный обед. Половина солдат валит в увольнение: сбрасываться на самогон, драться в очередь вокруг четырех деревенских девок и склонять к любви средний школьный возраст. Офицеры компаниями шествуют по домам — за столы с выпивкой и закуской. Тихо в расположении. И нет нигде знамени.

Человек, не служивший в Советской Армии первого послевоенного десятилетия, а тем паче вообще штатский, ужаса и масштаба происшедшей трагедии оценить не может. В лучшем случае он слышал, что высший знак солдатской доблести — это трахнуть бабу под знаменем части. Сейчас, когда лейтенант в автобусе не уступает место полковнику, когда и солдат не солдат, и офицер не офицер, и присяга не присяга, и армия развалилась на части, и не то что знамена — крейсера крадут и танковые колонны продают контрабандой за границу, — сейчас старая сталинского закала армия может восприниматься только как седая легенда. Потому что колхозный парень в армию шел как за счастьем: сытная еда! теплая красивая одежда! простыни, одеяло, койка! а через три года — паспорт в руки — и свободен, езжай куда хочешь! А посреди службы — десятидневный отпуск домой! Это ж был солдат. Не то, что ныне, когда призванный в воздушный десант не может раз подтянуться на турнике. А офицер был — белая каста! Диагоналевая форма, паек, оплаченная дорога в отпуск, две тысячи зарплаты у взводного — офицер был богатый и уважаемый человек, и ездил исключительно в купейном, а от майора — полагалось в мягком вагоне.

И отсутствие Знамени части — это кошунственнее, чем попасть в плен. Это граничит с изменой Родине. Это трибунал и вечный несмываемый позор. Это... это невообразимо, невозможно! За знамя можно умереть, спасти его ценой своей жизни, вынести простреленным на собственном теле, встать на колени и поцеловать; в самом крайнем случае его можно склонить над телом павшего героя. Но лишиться его принципиально невозможно ни в коем случае. Провалились белый свет! — но знамя должно быть сохранено.

И вот кругом весеннее солнце и пролетарский веселый праздник, а знамени нет. Законы чести реко-

мендуют выход единственный — застрелиться. Потому что второй выход, по законам чести, — это сначала с тебя перед строем сорвут погоны, а уже после этого ты можешь, опять же, застрелиться.

Но старшина — все-таки не офицер, и вообще он чудом уцелел, пройдя насквозь такую войну, и стреляться он не хочет. Тем более что у него семья и дети. И вообще знамя еще не пропало, оно явно ведь где-то здесь есть, должно найтись.

Лейтенанты-ассистенты, которые по статусу церемонии призваны охранять со своими шашками вышестоящее знамя, стреляться также не хотят. Они его в руках не держали, у них его не отбирали, чего ж им стреляться. Им еще жить да жить...

Они втроем еще раз и еще перерывают полк со всем его хозяйством вдоль и поперек — и нигде знамени нет. Его нет в Ленинской комнате, нет у полкового художника, нет в оркестре среди их тромбонистов и геликонтрабасистов, и нет даже на свинарнике в подсобном хозяйстве. На кухне нет, на стрельбище нет, и в санчасти тоже его нет.

А все уже обращают внимание, что они рыщут где ни попадя тройцей и вид у них прибабахнутый. И на вопросы они не отвечают. А что тут ответить? Что святыня части как-то вот ненароком потерялась?

Вечером один лейтенант говорит:

— Ну что... Надо докладывать.

Старшина — с мертвой безжизненностью:

— Кому?..

— Кому... По команде... дежурному по полку.

Старшина садится на завалинку, закрывает глаза и говорит:

— Докладывать будет старший по званию.

Лейтенанты хором говорят:

— Вот уж хрен тебе. Я дежурному докладывать

не буду. Знамя поручено знаменосцу, вот ты и докладывай.

Старшина говорит:

— Я дежурному докладывать не буду. По уставу докладывает старший.

— По уставу тебя расстрелять перед строем за утерю знамени!

— Верно, — соглашается старшина. — Я буду стоять перед тем строем посередине, а вы по бокам.

В конце концов они втроем идут в дежурку, и там лейтенанты все-таки выпихивают старшину вперед:

— Ты фронтовик, кавалер Славы, не офицер, тебе простят... а нам — все: конец, суд офицерский чести — и в любом случае пинка под зад из армии, даже если оно найдется.

И старшина докладывает:

— Товарищ гвардии капитан... так и так... в общем... плохо все...

— Что такое? — весело спрашивает усатый гвардии капитан, принявший стакан по случаю праздника. — А по-моему — неплохо!

— ЧП...

— Ну, какое еще такое ЧП? Чего это у тебя, старшина, рожа такая невеселая, будто ты Знамя полка потерял?

Старшина белеет от такой пронизательности и бормочет через силу:

— Так точно...

— Что — так точно?

— Ну... что вы сказали...

— Что я сказал? — удивляется капитан.

— Это... нету...

— Чего нету-то?

— Исчезло...

— Что исчезло?! Да доложи толком!

— Знамя...

— Какое знамя? — глупо переспрашивает дежурный.

— Какое у нас... полка.

— Чего-о?!

У капитана усы дыбом, глаза квадратные, фуражка на затылок скачет.

— Тьфу! — говорит. — Вы сколько выпили, чтобы так шутить? Ну — они-то молодые, но ты — фронтовик, служака: разве этим шутят?

— Да я, — говорит старшина, — понимаю. Я не шучу.

— Что значит?!

Дежурному делается худо, и он отказывается осознавать происшедшее. Он долго и мучительно привыкает, что это и вправду произошло, потому что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И вот ему — как? за что? среди бела дня! — на его дежурстве!! такое ЧП. Это просто наихудшее, что вообще может быть. А с кого первая башка долой — с дежурного. Он отвечает за порядок в полку. О Господи!

Чего делать-то? А чего делать... надо докладывать командиру полка. Вот радость ему на праздничек. Кондратий бы не хватил.

Дежурный принимает решение: объявляет.

— В общем, так. Я докладывать командиру не буду. Не могу я такое докладывать! Сейчас семнадцать сорок. Смена дежурства в двадцать один ноль-ноль. Чтобы до этого времени знамя нашли. Бери всех свободных от караула — и ищите где хотите! суки!!! гады!!!!

Срочно создается поисковая комиссия во главе с помдежем-старлеем и лихорадочно переворачивает полк. Ищут суки-гады — никакого результата.

В двадцать один ноль-ноль капитан сдает дежурство другому комроты и докладывает — рубит голосом самоубийцы:

— За время моего дежурства в полку случилось чрезвычайное происшествие... исчезло Знамя части. Дежурство сдал!

— Дежурство принял! — отвечает новый дежурный. — Ха-ха-ха! И давно исчезло-то? Что, в деревню за самогоном пошло?

На лице прежнего дежурного вспыхивает неизъяснимое злорадство: принял! принял дежурство! не может он принять дежурство, если Знамя пропало! не должен! он тревогу трубить должен, поднимать всех! А он принял! это — полгоры с плеч свалилось!..

Он снимает с рукава повязку, передает ее заступившему дежурному; тот садится на его стул за столом в дежурке, и бывший дежурный говорит:

— Да вот эти... фашисты!.. потеряли Знамя после парада.

А новый дежурный, тепленький после праздничного обеда с водочкой, благодушно откликается:

— Ха-ха-ха!

— Докладывай! — приказывает бывший дежурный старшине. И тот повторяет свой душераздирающий доклад.

Новый дежурный синее, трезвеет, хренеет:

— В-в-вы чо... охренели?.. славяне!.. братцы... товарищи офицеры! Я, — говорит, — дежурство не принимаю!

— Ты его уже принял. Так что давай — действуй. ЧП у тебя!

— У меня ЧП?! У тебя ЧП!!!

Короче: я, говорит, командиру докладывать не буду. Искать!!! Всем!!! Везде!!! В восемь утра построение — вот вам время до восьми.

И всю ночь уже человек двадцать шатаются с фонарями по гарнизону, как спятившие кладонискатели, и роют где ни попадя: даже матрасы в казармах ворошат, и в ЗИПах смотрят... фиг: нету.

Утром является кинуть орлиный взор на свое образцовое хозяйство праздничный командир; и перекосенный капитан рапортует:

— Товарищ гвардии полковник! За время моего дежурства в полку чрезвычайных происшествий не случилось!

— Вольно.

— Но за время дежурства капитана Куманина случилось.

— Что — случилось?

— Чрезвычайное происшествие! Пропало Знамя части...

Полковник с сомнением озирается на белый свет, проковыривает мизинцем ухо и принимает:

— А? Ты сколько выпил, гвардии капитан?

— Так точно. В смысле никак нет. Вот. Пропало полковое Знамя.

Когда вытаскивают большую рыбу, ее глушат колотушкой по голове. Значит, командир покачивается, глаза у него делаются отсутствующие, а на бровях повисает холодный пот. Ему снится страшный сон.

— Как... — шепчет он.

Вперед выпихивают несчастного старшину, который на ногах уже сутки, и старшина в десятый раз излагает, как он прислонил Знамя, как пил пиво, как бросил окурки и как Знамени на месте не оказалось.

Под командира подставляют стул, подносят воды, водки, закурить и обмахивают его фуражками. И доводят до сведения о принятых мерах. Все возможное предприняли, не щадя себя...

И зловещая тень Особого отдела уже ложится на золотые погоны товарищей офицеров.

— Так, — говорит командир. — Так. Я в дивизию докладывать не буду. Что я доложу?! Я с этим знаменем до Одера!!! под пулями!!! Вы — что?! Старши-

на... ах, старшина... как же, ты что... — Искать!!! — приказывает. — Всему личному составу — искать!!! Обед отменяется!!! Увольнения отменяются!!! Всех офицеров — в полк!!! не найдете — своей рукой расстреляю! на плацу!

И весь полк снует, как ошпаренный муравейник, — свое знамя ищет. Траву граблями прочесывает. Землю просеивает! Танкисты моторные отделения открывают, артиллеристы в стволы заглядывают!

Нету знамени.

А это значит — нету больше полка.

Потому что не существует воинской части, если нет у нее знамени. Нет больше такого номера, нет больше такой армейской единицы. Вроде полк есть — а на самом деле его уже нет. Фантом.

Три дня командир сидит дома и пьет. И после каждой стопки, днем и ночью, звонит дежурному: как? Нету...

Докладывает в дивизию: так и так... Пропало знамя.

Там не верят. Смеются. Потом приходят в ярость. Комдив говорит:

— Я в армию докладывать не буду. Вот тебе двадцать четыре часа! — иначе под трибунал.

Ищут. Командир пьет. Дежурные тоже пьют, но ищут. И лейтенанты-ассистенты пьют — прощаются с офицерскими погонами и армейской карьерой. Только старшина не пьет — он сверхсрочник, у него зарплата маленькая: ему уже не на что...

Комдив докладывает в армию, и диалог повторяется. Еще сутки пьют и ищут. И даже постепенно привыкают к этому состоянию. Это как если разбомбили тебя в пух и прах: сначала — кошмар, а потом — хоть и вправду ведь кошмар, но жить-то как-то надо... служба продолжается!..

Армия докладывает в округ. И все это уже начинает приобретать характер некоей военно-спортивной игры „пропало знамя“. Все уже тихо ненавидят это неуловимое знамя и жаждут какого-то определения своей дальнейшей судьбы! И часовой исправно меняется на посту № 1 как памятник идиотизму.

Ну что: надо извещать Министерство обороны. И тогда — инспекция, комиссия, дознание: полк подлежит расформированию...

И вся эта история по времени как раз подпадает под хрущевское сокращение миллион двести. И под этот грандиозный хапарай расформирование происходит даже без особого треска. Тут Жукова недавно сняли и в отставку поперли, крейсера и бомбардировщики порезали, — хрен ли какой-то полк.

Лишний шум в армии всегда был никому не нужен. Командира, учитывая прошлые заслуги, тихо уволили на пенсию. И всех офицеров постарше уволили. Молодых раскидали по другим частям. С капитанов-дежурных сняли по одной звездочке и отправили командовать взводами. С лейтенантов-ассистентов тоже сняли по звездочке и закинули в самые дыры, но ведь — „дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут...“ Технику увели, строения передали колхозу. А старшину-знаменосца тоже уволили, никак более не репрессировав. Фронтвик, немолод, кавалер орденов солдатской Славы всех трех степеней... жалко старшину, да и не до него... пусть живет!

И старшина стал жить... Ехать ему было некуда. Все его малое имущество и жена с детишками были при нем, а больше у него ничего нигде на свете не было. И он остался в деревне.

Его с радостью приняли в колхоз: мужиков не хватает, а тут здоровый, всем известный и уважаемый, военный, хозяйственный; выделили сразу старшине жилье, поставили сразу бригадиром, за-

вел он огород, кабачки, кур, — наладился к гражданской жизни...

Через год, на день Победы, 9 Мая, пришли к нему пионеры. Приглашают на праздник в школу, как фронтовика, орденосца, заслуженного человека.

У старшины, конечно, поднимается праздничное все-таки настроение. Жена достает из сундука его парадную форму, утюжит, подшивает свежий подворотничок, он надевает ордена и медали, выпивает стакан, разглаживает усы, и его с помпой ведут в школу.

Там председатель совета пионерской дружины отдает ему торжественный рапорт. На шею ему повязывают пионерский галстук — принимают в почетные пионеры. И он рассказывает ребятишкам, как воевал, как был ранен, и как трудно и героически было на войне, и как его боевые друзья клали свои молодые жизни за счастье вот этих самых детей.

Ему долго хлопают и потом ведут по школе на экскурсию. Показывают классы, учительскую, живой уголок с вороной и ежиком. А в заключение ведут в комнату школьного музея боевой славы, чтобы он расписался в Книге почетных посетителей.

И растроганный этим приемом и доверчивыми влюбленными взглядами и щебетом ребятишек, старшина входит в этот школьный их музей боевой славы, и там, среди витрин с ржавыми винтовочными стволами и стендов с фотографиями из газет, меж пионерских горнов и барабанов, он видит з н а м я и х полка.

Оно стоит на специальной подставке, выкрашенной красной краской, развернуто и прикреплено гвоздиками к стене, чтобы хорошо было видно.

И над ним большими, узорно вырезанными из цветной бумаги буквами, по плавной дуге, идет вразумительная поясняющая надпись:

**ЗНАМЯ 327-го ГВАРДЕЙСКОГО
СЛАВГОРОДСКОГО ОРДЕНА БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦКОГО МОТОСТРЕЛКОВОГО ПОЛКА**

**подарено
пионерской дружине № 27
имени Павлика Морозова
командованием части**

...Это его пионеры сперли. Для музея. Сказали учителям, что подарили. Учителя очень радовались.

...История умалчивает, что сказал старшина пионерам, когда пришел в себя, и что он с ними сделал. Также неизвестно, как он добрался до дома. Но по дороге он из конца в конец улицы погонял деревенских мужиков, намотав ремень с бляхой на кулак и сотрясая округу жутчайшим старшинским матом. Силен гулять, с восторженным уважением решили мужики.

Через час кабанчик был продан, а жена, в ужасе глотая слезы, побежала за самогоном. Курей старшина извел на закуску. И сказал жене, что ноги его в этой деревне не будет. Он вообще ненавидит деревню, ненавидит сельское хозяйство, а уж эту-то просто искоренит дотла. И завтра утром едет искать работу в Ленинград. Иначе он за себя не отвечает. Пионерскую дружину он передушит, школу сожжет, а учителей повесит на деревьях вдоль школьной аллеи.

Вот так в Ленинградском нахимовском училище появился двухметровый, усатый и бравый старшина, который еще двадцать лет на парадах в Москве ходил со знаменем училища перед строем нахимовцев, с широкой алой лентой через плечо, меж двух ассистентов с обнаженными пашками, и по телевизору его знала в лицо вся страна.

МАУЗЕР ПАПАНИНА

На Кузнечной площади, угол Кузнечного и Марата, стояла церковь. Она и сейчас там стоит, выделяясь желтым и белым среди закопченных бурых домов. Уже много лет в ней находится Музей Арктики и Антарктики, о чем извещает малочисленных посетителей лепная надпись на фронтоне. В зале под сводом висит самолет-разведчик Р-5 знаменитого некогда полярного летчика Бориса Чухновского, в стеклянных стеллажах — модели шхуны капитана Седова „Св. Фока“ и прославленного ледокола „Красин“, и прочие экспонаты: документы, фотографии и чучела всякой полярной живности. А в северном приделе можно увидеть черную многослойную палатку с белой надписью по низенькой крыше: „С.С.С.Р.“; а по другому скату: „Северный полюс-1“.

Это подлинная палатка, в которой шесть месяцев дрейфовала на плавучей льдине первая советская экспедиция к полюсу. В три маленькие иллюминатора видна неярко освещенная внутренность палатки: нары, закинутые меховыми шкурами, радиостанция, столик, примус, полка с книгами. Вот здесь и жила и работала легендарная четверка папанинцев.

А рядом с палаткой, в витрине, выставлены их личные вещи — ручка, унты, блокнот, — среди ко-

торых почетное место занимает маузер самого Папанина, висящий на тонком ремешке рядом со своей деревянной кобурой, украшенной серебряной дарственной пластинкой.

С этой вот палаткой и с этим маузером связана одна характерная для эпохи история.

Дело в том, что Иван Папанин был ведь не просто начальником научной экспедиции. Сам-то он был мужик простой и незамысловатый, комиссарского сословия, и занимал ответственный пост начальника Главсевморпути. И на льдине, затерянной в полярной ночи за тысячи миль от СССР, он осуществлял идейно-политическое руководство всеми сторонами жизни и деятельности остальных трех интеллигентов, лично отвечая, как испытанный и облеченный доверием партии коммунист, за все, что происходило на Северном полюсе.

Теперь давайте учтем, какой на дворе стоял год, когда они там прославляли советский строй на Северном полюсе. А год стоял как раз 1937. И здесь требовалась особая бдительность и политическая зрелость. Коварный враг внедрялся в любые ряды вплоть до ветеранов революции и командования Красной Армии, так что за моржей с белыми медведями ручаться и по давню нельзя было, не говоря уж об ученых-полярниках. Тем более что самолеты, доставив экспедицию, улетели, и никакой связи с Большой Землей с ее руководящими и карающими органами не было, кроме радио.

А радистом СП-1 был знаменитейший тогда Эрнст Кренкель, в неписаной табели о рангах — коротковолновик мира № 1. Подменять его было некому, исправность и ремонт радики лежали на нем же, — можно себе представить ответствен-

ность и постоянное нервное напряжение. Скиннет радия — и хана полярному подвигу.

К чести его, радиосвязь была безукоризненной, невзирая на разнообразнейшие сверхпоганые метеоусловия. Достоинства Кренкеля как радиста и полярника были выше всяческих похвал.

Но имелись у него, к сожалению, и два недостатка. Во-первых, он был немец, а во-вторых, беспартийный. В сорок первом году, конечно, эти два недостатка могли бы с лихвой перевесить любой букет достоинств, но, повторяем, это был всего лишь тридцать седьмой год, а радист он был уж больно хороший, и человек добродушный и выдержанный. Хотя и в тридцать седьмом году вполне можно было пострадать, причем, как мы сейчас увидим, иногда совершенно неожиданным образом.

Кренкель четырежды в сутки выходил на связь, передавал данные метеорологических и гидрологических наблюдений и принимал приказы Москвы. А вот приказы были различного рода. Как диктовала политическая ситуация.

В стране шли процессы. Разоблачались империалистические шпионы. Проводились показательные суды. И вся страна негодовала в едином порыве, и так далее.

А советская дрейфующая полярная станция „Северный полюс-1“ была частью социалистического общества. И, несмотря на географическую удаленность, оставаться в стороне от политических бурь никак, разумеется, не могла. Даже на льдине советские люди должны были возглавляться партийной организацией. Минимальное количество членов для создания партячейки — три человека. И такая ячейка на льдине была! Это имело особое политическое значение. И секретарем партячейки был, конечно, сам Папанин.

В эту низовую парторганизацию с неукоснительным порядком поступала закрытая политическая информация — только для сведения коммунистов. Беспартийный Кренкель принимал эти сведения коммунистов, ставил гриф „секретно“ и вручал парторгу Папанину.

А закрытую информацию надлежало обсуждать на закрытых партсобраниях. Папанин объявлял закрытое партсоборание — присутствовать могли только члены партии. Остальным надо было освободить помещение.

Остальные — это был Кренкель.

Помещение же на Северном полюсе имелось только одно, площадью в шесть квадратных метров, в чем и может удостовериться каждый, прочитав в музее табличку на палатке. Недоверчивый может измерить палатку сантиметром.

Реагировать на партийные сообщения следовало оперативно, чем скорей — тем себе же лучше. Буран не буран, мороз не мороз, а политика ЦК ВКП(б) превыше всего.

И вот Кренкель, проклиная все, рысая по снегу вокруг палатки, заглядывая в иллюминаторы — скоро ли они там кончат. Он тер варежкой нос и щеки, притопывал, хлопал руками по бокам, считал минуты на циферблате и про себя, возможно даже, говорил разные слова про партию и ее мудрую политику.

Они там сидели на нарах, выслушивали сообщение, выступали по очереди со своим мнением, заносили его в протокол, вырабатывая решение насчет очередных врагов народа, голосовали и составляли текст своего обращения на материк. А в конце, как положено, пели стоя „Интернационал“.

Спев „Интернационал“, Папанин разрешал Кренкелю войти, вручал ему это закрытое партий-

ное сообщение, и Кренкель передавал его по ради.

Только человек гигантской выдержки и с чисто немецким безоговорочным уважением к любым правилам и инструкциям мог вынести полгода этого измывательства. А партийная жизнь в стране была ключом, и полгода Кренкель чуть не каждый Божий день бегал петушком в ледяном мраке вокруг палатки. Он подпрыгивал, приседал и мечтал, что он хотел бы сделать с Папаниным, когда все это кончится. Ловля белого медведя на живца была наиболее гуманной картиной из всех, что сладко рисовались его воображению.

Через неделю умный Кренкель подал заявление в партию. В каком приеме ему Папаниным было отказано по той же причине, по какой ему надлежало являться немцем. Не понять это мог только политически наивный человек, абсолютно не вникший в доктрины пролетарского интернационализма и единства партии и народа. Беспартийный немец Кренкель иллюстрировал собою на Северном полюсе многонациональную дружбу советского народа и нерушимую монолитность блока коммунистов и беспартийных. Так что все было продумано.

И беспартийный немец Кренкель кротко вламывал, как лошадь, потому как метель — не метель, ураган — не ураган, научные исследования можно было и отложить, — а вот без радиосвязи остаться никак невозможно. От дежурства же по подготовке пищи и уборке помещения его также, конечно, никто не освобождал.

Папанин, с другой стороны, на льдине немного скучал. А чем дальше — тем больше скучал. Научных наблюдений он не вел, пищи, как начальник, не готовил, — он руководил. И еще проводил

политинформации. Политинформации проходили так.

Кренкель принимал по радио последние известия, аккуратно переписывал их и вручал Папанину. Папанин брал листок в руки и простым доходчивым языком пересказывал остальным его содержание. Излишне упоминать, что Кренкелю полагалось в обязательном порядке присутствовать на политинформациях. Более того, как беспартийному, а следовательно — политически менее зрелому, чем остальные, ему рекомендовалось проявлять большую, чем товарищам-коммунистам, активность и вести конспект. Конспекты потом Папанин проверял, и если было записано слишком кратко или неразборчиво — велел переписать.

Политинформации проводились ежедневно. Этим деятельность Папанина исчерпывалась. Но поскольку командир не должен допускать, чтобы подчиненные наблюдали его праздным, а уронить свой престиж, занимаясь всякой ерундой, он не мог, то после политинформации он чистил свое личное оружие. Это занятие в данной последовательности служило, как он справедливо рассудил, как раз к укреплению его командирского и партийного авторитета и лучшему пониманию политического момента и линии партии.

Он расстилал на столике тряпочку, доставал из кобуры маузер, из кобурного пенала вынимал отверточку, ежик, ветошку, масленку, разбирал свою 7,63 мм машину, любовно протирал, смазывал, собирал, щелкал, вставлял обойму на место и вешал маузер обратно на стойку палатки, на свой специальный гвоздик. После чего успокоенно ложился спать. Этот ежедневный процесс приобрел род некоего милитаристского онанизма, он

наслаждался сердцем и отдыхал душой, овладевая своей десятизарядкой, и на лице его появлялось совершенное удовлетворение.

Постепенно он усложнял процесс чистки маузера, стремясь превзойти самого себя и добиться невысказанного мастерства. Он собирал его на время, в темноте, с завязанными глазами, на ощупь за спиной и даже одной рукой.

Кренкель, натура вообще миролюбивая, возненавидел этот маузер, как кот ненавидит прищепку на хвосте. Он мечтал утопить его в проруби, но хорошо представлял, какую политическую окраску могут придать такому поступку. И под радостное щелканье затвора продолжал свое политинформационное чистописание.

...Дрейф кончился, льдина раскололась, ледокол „Красин“ снял отважных исследователей с залитого волнами обломка. Кренкель педантично радировал в эфир свое последнее сообщение об окончании экспедиции; и, окруженные восхищением и заботой экипажа, извещенные о высоких правительственных наградах — всем четверым дали Героя Советского Союза! — полярники потихоньку поехали в Ленинград.

В пути степень их занятости несколько поменялась. Гидролог с метеорологом писали научные отчеты, Кренкель же предавался сладкому ничегонеделанью. А Папанин по-прежнему чистил свой маузер. За шесть месяцев зимовки, когда у любого нормального человека нервишки подсаживаются, это рукоблудие приобрело у него характер маниакального психоза.

Кренкель смотрел на маузер, сдерживая дыхание. Больше всего ему хотелось стащить незаметно какой-нибудь винтик и поглядеть, как Иван

Дмитриевич рехнется, не отходя от своей тряпочки, когда маузер не соберется. Но это было невозможно: в тридцать восьмом году такое могло быть распенено не иначе как политическая диверсия — умышленная порча оружия начальника экспедиции и секретаря парторганизации. Десять лет лагерей Кренкелю представлялись чрезмерной платой за удовольствие.

Он подошел к вопросу с другой стороны. Зайдя к Папанину в его обязательное оружейное время, перед сном, он с ним заговорил, отвлекая внимание, — и украдкой подбросил в тряпочку крохотный шлифованный уголок, взятый у ребят в слесарке ледокола. И смылся от греха.

Оставшиеся пять суток до Ленинграда Папанин был невменяем.

Представьте себе его неприятное изумление, когда, собрав маузер, он обнаружил деталь, которую не вставил на место. Он разобрал его вновь, собрал с повышенным тщанием — но деталь все равно оставалась лишней!

Ночь Папанин провел за сборкой-разборкой маузера, медленно сходя с ума. Необъяснимая головоломка сокрушала его сознание. Он опоздал к завтраку. Все время проводил в каюте. И даже на встрече-беседе с экипажем, рассказывая об экспедиции, вдруг сделал паузу и впал в сосредоточенную задумчивость. Сорвался с места и ушел к себе.

В помрачении он собирал его и так, и сяк, и эдак. Он собирал его в темноте и собирал его на свет. Из-за его двери доносилось непрерывное металлическое шелканье, как будто там с лихорадочной скоростью работал какой-то страшный агрегат.

Папанин осунулся и, подстригая усики, ущипнул себя ножницами за губу. Судовой врач поил его валерьянкой, а капитан „Красина“ — водкой. Команда сочувственно вздыхала — вот каковы нервные перегрузки у полярников!

В последнюю ночь Кренкель услышал глухой удар в переборку. Это отчаявшийся Папанин стал биться головой о стенку.

Кренкель сжалился и постучал в его каюту. Папанин в белых кальсонах сидел перед столиком, покрытым белой тряпочкой. Руки его с непостижимой ловкостью фокусника тасовали и щелкали деталями маузера. Запавшие глаза светились. Он тихо подвывал.

— Иван Дмитриевич, — с неловкостью сказал Кренкель, — не волнуйтесь. Все в порядке. Это я просто пошутил. Ну — морская подначка, знаете...

Взял с тряпочки свою детальку и сунул в карман.

Бесконечные пять минут Папанин осознавал услышанное. Потом с пулеметной частотой защелкал своими маузеровскими частями. Когда на место встала обойма с патронами, Кренкель выскочил к себе и поспешно запер дверь каюты.

Команда услышала, как на „Красине“ заревела сирена. Ревела она почему-то из глубины надстройки и тембр имела непривычный, чужой.

Кренкель долго и безуспешно извинялся. Команда хохотала. Папанин скрежетал зубами. Будь это на полюсе, он бы Кренкеля скормил медведям, но теперь покарать шутника представлялось затруднительным — сам же о нем прекрасно отзывался, в чем обвинишь? Все только посмеются над Папаниным же.

Но всю оставшуюся жизнь Папанин люто ненавидел Кренкеля за эту шутку, что обошлось пос-

ледному дорого. Кренкель, утерев на Северном полюсе всякий вкус к коллективным зимовкам и вообще став слегка мизантропом, страстно при этом любил Арктику и вынашивал всю жизнь мечту об одиночной зимовке. И за всю жизнь получить разрешение полярного руководства на такую зимовку он так и не смог. Папанин, будучи одним из начальников всего арктического хозяйства, давал соответствующие отзывы и указания.

Сам же Папанин, однако, резко излечился от ненормальной интимной нежности к легкому стрелковому оружию; а проклятый маузер просто видеть больше не мог — слишком тяжелые переживания были с ним связаны. И как только, вскоре после торжественного приема папанинцев в Кремле, был создан в Ленинграде Музей Арктики и Антарктики, пожертвовал туда в качестве ценного экспоната свой маузер, где он пребывает в полной исправности и поныне, в соседстве с небольшой черной палаткой.

КАРЬЕРА В НИКУДА

Эта вековой дали затерянная история была рассказана мне двадцать лет назад покойным профессором истории Ленинградского университета Сигизмундом Валком. Профессор собрался пообедать в столовой-автомате на углу Невского и Рубинштейна. Он пробирался к столику, держа в одной руке тарелку с сардельками, а в другой ветхий ученический портфельчик, и сквозь скрепленные проволочкой очки подслеповато высматривал свободное место. Под его ногой взмякнула кошка, сардельки полетели в одну сторону, портфель в другую, очки в третью, сам же профессор — в четвертую, где и был подхвачен оказавшимся мною (что не было подвигом силы: вес профессора был соизмерим с весом толкнувшей его кошки, на чей хвост он наступил столь неосмотрительно). Я собрал воедино три дотоле совместные части, выловив очки пальцем из чьей-то солянки, к негодованию едока, сардельки же бойко выбил без очереди взамен растоптанных. Ободрившийся старичок в брезентовом дождевичке вступил в благодарственную беседу — и я был поражен знакомством: профессор с мировым именем. Кажется, своеобразно польстило и ему — то обстоятельство, что воспитанные манеры принадлежали именно студенту родного факультета.

Апрельское солнце клонилось. Мойка несла бурый мусор, Летний сад закрывался на просушку:

я провожал профессора до Библиотеки Академии наук. Он поглядывал хитро и добро, покачивая сигареткой в коричневой лапке, шаркал ботиночками по гранитам набережных: рассуждал... Был вздох о счастье юности, вздох о мирской тщете, вздох о всеялии времени; легкой чередой вздохи промыли русло мысли, слились в сюжет — характер, судьба, история. Он касался рукой имен, дат, названий — просто, как домашних вещей: история казалась его домом, из которого он вышел ненадолго, лукавый всеведущий гном, на весеннюю прогулку.

Записки мои потерялись в переездах. Я пытался восстановить обломки фактов расспросами знаковых историков — безуспешно; эрудиция и память Валка были феноменальны.

Сохранилось: происходило все во второй половине прошлого века, в Петербурге и двух губернских городах, герой воевал в русско-турецкую войну 1876 года, по молодости примыкал к народникам, знался с народовольцами, достиг поста не то губернатора, не то чего-то в таком роде, — уж и не вспомнить, да и не имеет это, наверно, принципиального значения. Кончил же он в доме умалишенных, до водворения туда исчез надолго так, что еле нашли: слухи о загадочном исчезновении поползли среди людей, не обошлось, разумеется, без суеверия и выдумок глупейших, хотя и небезынтересных самих по себе: некий сочинитель даже повестушку про то намарал, — забыл названного Валком автора, забыл название, издательство, — где искать концы, как? да и стоит ли...

Ах, сторицей, сторицей расплатился со мной старенький профессор за порцию сарделек и выуженные из супа очки, если двадцать лет прозревают во мне пророненные им слова. Возможно, память что искажила, но главное-то я помню, держу, не раз ворошил, прикидывал слышанное в тот те-

плый апрельский вечер шестьдесят седьмого года: сияла в закате Петроградская сторона, кружились в Неве льдинки, звенел трамвай на Тучковом мосту, шурился и смеялся своему рассказу профессор, объяснял без назидания, учил не поучая — делился: со мной, девятнадцатилетним.

И жаль дать пропасть его словам в забвении, жаль!

Не читать мне лекций по истории, не быть профессором, не обедать сардельками в той забегаловке — нет ее больше; попытаться могу лишь передать, оставить поведенное им; а то время идет — и проходит.

1

Маятник души

19 лет. Простые ценности.

*Санкт-Петербург.
186... г.*

...я не хочу карьеры. Почтенный папенька, простите... Вы сами воспитывали меня в духе уважения к людям, сострадания к сирым и обиженным. Учили жить по совести и быть, главное, хорошим человеком.

Карьерист же, как я представляю, означает: человек, болеющий не о пользе дела, но о деле ради своей пользы и выгоды. Неуважение и презрение ему отплатой, зависть и ненависть. Им льстят — но и клеветуют, порядочные люди должны отвертываться от них, не подавать руки; они низки и эгоистичны. Все в этом враждебно мне.

Гнаться за успехом? класть на это жизнь? зачем?.. Какой смысл в богатстве и власти? — мне

это не нужно. Разве в этом предназначение человека?.. Разве это приносит счастье?

Я поступил на курс университета изучать право, чтобы помогать людям и улучшать действительность. И хочу единственно вещей простых и никому не заказанных: счастья, любви ближних, доброго мнения людей и настоящего дела, честным исполнением которого смогу гордиться. Хочу быть полезен, нужен людям и обществу.

Мне все пути открыты, пишете Вы: мол, и внешность, и ум, и трудолюбие, и умение влиять на людей, и деньги (я краснел)... И растратить это все на суету, достижение внешних отличий? трястись и волноваться — вдруг пост достанется не мне?

Я избрал иной путь. По окончании курса я хотел бы уехать куда подальше, где цивилизация еще не наложила свое губительное клеймо продажности и разврата, где люди не соревнуются в излишествах и пороках, где чисто сердце и крепок дух. Я хочу найти свою судьбу среди людей, работающих честно и тяжело, преодолевая истинные трудности и борясь с суровой природой. Насаждать закон и справедливость, пресекать зло и утверждать добро — вот профессия правоведа.

И если я таков, как Вы считаете, — то сумею сделать многое — и, следовательно, мои способности и возможности будут замечены, поприще мое будет расти, выситься, — ибо везде нужны хорошие работники: будет по заслугам и честь. Старайся исполнять свое дело наилучшим образом и не думай о награде — она придет сама. Только такой род карьеры мог бы меня прельстить.

Я знаю, это нелегкий путь. Но я готов к трудностям и не боюсь их. Вы правы: жизнь отнюдь не гладка, есть и несправедливость, и пороки, и недостатки; но разве борьба с ними — не достойный, не высший удел?

Денег мне, спасибо, вполне хватает. Но Вы напрасно опасаетесь, что меня увлекают кутежи, франтовство, „доступные женщины“ и прочие „студенческие шалости“. Друзья мои — чудесные и достойные люди, и если нам весело — на то и молодость.

А дурное влияние Дмитревского Вы подзреваете безосновательно, — напротив: он человек в высшей степени рассудительный, умный, образованный, душой чист и благороден; ему я многим обязан, в том числе и воздержанию от скверных склонностей. Он как раз серьезен, положителен, — Вам бы понравился непременно...”

21 год. Мы переделаем мир.

Нытики, пессимисты, тоскующие, — презираю вас. Кто хочет делать — находит возможности, кто не хочет делать — изыскивает причины.

Еще ничего в жизни не сделали — уже стонут, уже всем недовольны! Все критикуют — никто ничего делать не хочет. Все видят недостатки — никто не хочет действовать за их устранение. А вы хотите, чтоб недостатки сами исчезли? — так ведь и тогда будут брюзжать, найдут повод, брюзги несчастные!

Как не поймут: жизнь будет такой — и только такой! — какой мы сами ее сделаем. Никто за нас не сделает, не поднесет готовое. И вот когда вы слезете со своего дивана, и подотрете свои сопли, и засучите рукавчики на чистеньких бездельных ручках, — только тогда что-то может измениться.

Все сделать можно, все в наших руках. И не надо ждать, что все сразу как по маслу пойдет — так не бывает. И трудности будут, и поражения, и несправедливости, и боль, — но будет делаться дело, будет улучшаться жизнь, становиться счастливее люди — и вы сами в первую очередь.

„Коррупция кругом“, „продажность заела“... А ты сам с этой коррупцией уже сталкивался? с этой продажностью хоть раз боролся? Ты же сам ее первый соучастник, если видишь — и мирисься!

Еще смеют говорить — жизнь, мол, такова! Жизни-то не знают — уже уверены, что она дурна. Бороться не пробовали — уже смирились.

Чем же дурна? Что рабства более нет? Что всяк волен грамотен стать, образование получить? Что стезя каждому открыта? Что журналы выходят? Что железная дорога грузы перевозит, со смертельными болезнями бороться научились, что гласность во всем, каждый может свое мнение вслух публично высказать?

Нет, не высказывают: друг другу жалуются, а вслух — нет: даже этого не сделают, улитки унылые, лежащие камни.

Некогда за веру ссылали, сжигали; продавали, как скотов, чума страны косила, в нищете и невежестве в тридцать лет умирали — и после этого говорить, что прогресса нет? что жизнь не улучшает-ся?! да оглянитесь кругом — у вас глаза-то есть?

Согласен: есть еще и неравенство, и подлость, и мздоимство, — а вы хотите, чтоб вам был рай готов? Гарибальди Италию освобождает, в американских штатах белые воюют с белыми же рабовладельцами, негров от гнета избавляя, — так действуют настоящие люди, желающие лучшей и справедливой жизни! Вспомните пятерых повешенных с Сенатской: не прошло даром их дело, обязаны мы им!

(Один подлец, отказавшийся подписать петицию, чтоб Дмитревского оставили в университете, заявил, что причина моих взглядов — богатство, происхождение и пр. Мол, достоинство тебе по карману, совесть мучит потому, что не мучит желудок. Думаешь об общем благе, ибо нет нужды за-

ботиться о благе личном. А бедняк спор выгоды с совестью решает в пользу жизни своей семьи. Благородство возвышает богача среди себе подобных, ему достигать нечего, он наверху; а бедняку выбиться в люди, занять место по способностям, не хуже других, можно лишь ничем не брезгуя...)

Если б каждый вместо нытья сказал всю правду вслух, сделал бы все, что мог, — уж рай настал бы! Ведь мерзость-то вся — она же только нашим молчанием, нашим смирением сильна; мы б ее давно смели. И должны смести. И сметем!

А будет сопротивляться сильно — прав Дмитриевский, — любимыми средствами надо бороться за правду и справедливость. Надо — так и огнем и мечом, не боясь жестокостей Французской революции...

23 года. Наказание добродетели.

А как-то все-таки странно: лучшие места получили совсем не самые способные и заметные из нас. Сколько обещающих юношей, блестящих умов, бьющих через край энергий — где же они? влачат самые рядовые обязанности. А места, свидетельствующие о признании, раскрывающие перспективы, требующие, казалось, наибольших качеств, заняты сравнительно незаметными и заурядными... Ну — связи, деньги, продажность; но когда и нету этого — все равно: неясным образом сравнительные серости преуспели больше звезд (?).

Вспоминаю наших профессоров... многие студенты к концу курса были и умнее большинства их, и образованнее, и куда лучше говорили. Как вышло, что именно они в чинах и званиях? ведь и на их курсах учились промеж ними более достойные — где они, как?

Во мне не говорит обида, я лично ничем не за-
дет, никому не завидую, роз под ноги и не ждал; я
просто понять хочу. Конечно: блестящий ум часто
сочетается с самолюбивым и несдержанным харак-
тером — это мешает, таких людей стараются избе-
гать, отодвигать, они наживают влиятельных вра-
гов. Но даже если они скромны, вежливы — все
равно! тем легче теряются...

Мое место незначительно, обязанности неслож-
ны, я делаю больше положенного не из корысти —
а просто могу много больше, да и работать плохо
неинтересно. Кругом же валандаются спустя рука-
ва, поплеывают — и припевают! А мне чуть что —
выговаривают...

Ладно, обошли повышением, не нужны мне эти
копейки и фанаберия, — несправедливость обид-
на. Даже не она: дико, вредно для дела,
н е п р а в и л ь н о ! — ты хочешь работать хорошо,
а тебе не дают.

Кому плохо, если я буду работать в полную
силу? да за то же самое жалованье? Если я могу
делать больше; лучше, разумнее — так повысьте
меня, дайте возможность использовать все силы —
вам же во благо — людям, обществу, делу, началь-
ству тому же — ведь работа подчиненных им же в
заслугу идет! Не повышаете — так хоть на моем
месте дайте мне работать, пойдите навстречу, —
если вам это нетрудно, ничего не стоит, а польза
дела очевидна! Ладно, не помогайте — так хоть не
мешайте, не суйте палки в колеса, не бейте за то,
что работаю лучше других!

Бред: я стараюсь работать хорошо во благо, ска-
жем так условно, своему учреждению и началь-
ству. А учреждение и начальство наказывают
меня, требуя, чтоб я работал плохо — как боль-
шинство.

Кто работает „как все“ (плохо!!) — ими доволь-
ны и повышают в должностях. А кто хорошо —

бедствуют. Честно борешься с недостатками — ты же и виноват. А кто недостатки эти умножает — оказывается прав. Хотя сам на эти недостатки жалуется! хотя ему самому эти недостатки мешают! Не понимаю...

Какова же эта поразительная антилогика, что наверх идут заурядности? Кому это выгодно, зачем, почему?..

Известно: новое, лучшее утверждает себя в борьбе с отжившим, и вообще — чем больше хочешь совершить, тем больше трудностей надо преодолеть; так. Но — кто тут друзья, кто враги, каковы их мотивы?.. Ясно бы враждебный департамент, противная точка зрения, конкуренты на место; но откуда упорное неприятие, неприязнь коллег и начальства, когда я хочу что-то сделать лучше, по-новому, больше — для нашего общего дела?

...Да, брат: одно дело знать, что путь добродетели усыпан не розами, а терниями, а совсем наоборот — по ним идти. Что ж — кто ж из известных людей жил и пробивался без трудностей. Вид пропасти должен рождать мысль не о бездне, а о мосте. Однако мучительно: на словах-то все тебе союзники, а вот на деле... Ну, Дмитревскому еще куда труднее, чем мне. Как прозябает, бедный, светило наше.

25 лет. Жизнь несправедлива.

Меня не то гнетет, что в жизни много трудного и несправедливого. Не то, что хорошие и добрые люди часто незаслуженно страдают. Не то, что зло подминает добро. Это бы все ерунда... сожмем зубы в борьбе и победим! Я молод, здоров, я не знаю, куда приложить бьющую энергию, я чувствую в себе силы совершить что угодно, добиться всего, одолеть все; клянусь — я могу!..

Другое меня гложет, гложет непрестанно, иссасывает душу, подтачивает веру. Если несправедливость царит в отдельном случае, меж отдельными людьми, в отдельном месте, в отдельную эпоху, наконец, — с ней можно и должно бороться. Будь настоящим бойцом, сильным, умелым, упорным — и ты победишь: победит правда и добро. Но так ли, так ли устроен мир, чтоб они побеждали?..

Я чувствую себя по возможностям Наполеоном — но что, что мне делать, скажите! я не знаю! В чем смысл всего? как добиться торжества истины? возможно ли оно вообще? и что есть истина? Я смотрю вокруг — это бы ладно, но я смотрю в историю — и безнадежность охватывает:

Древние греки, гармоничные эллины — приговорили к смерти Сократа! Не успел умереть Перикл, покровительствовавший Фидию, — и Фидий гибнет в темнице! Да что Фидий — царь Соломон, мудрейший Соломон — первое, что сделал, придя к власти, — приказал убить родного брата, чтоб устранить возможного конкурента! Англия, твердят, демократические традиции, — а не Англия уволела с флота славного Нельсона, и за что? пытался мешать ворах растаскивать казну империи! Битвы выигрывал он — а главные награды получали другие. Не Англия ли казнила свою славу — Томаса Мора, светлейшего из людей? Колыбель свободы, Франция? что ж ничтожный король и французы оставили на сожжение Жанну д'Арк, свою гордость, освободительницу, святую? А позднее? Дантон, Марат, Робеспьер, Демулен — все лучшие срублены! Наполеон — умер в ссылке. Цезарь — убит своими. Данте — умер в изгнании. Наш Пушкин — убит на дуэли. И несть конца, несть конца! вот убит ничтожеством Линкольн! вот что изводит душу!..

Неужели извечны горе и гибель лучших людей? торжество зла? и если хочешь нести свет и добро —

будь готов к цене костра, меча, креста? И это бы меня не испугало, не остановило, — знать бы, что после смерти истина моя восторжествует. Но ведь те же самые, благонамеренные и послушные, которые лучших людей изгоняли и убивали, — после возводили их в святые и продолжали уничтожать еще живых. Разврат и продажность Ватикана — это что, торжество дела первомучеников? Сожжение еретиков, которые ту же Библию на родном языке читали, — это милосердие христианства? И после этого вы мне предлагаете верить в Бога? Не могу я в него верить.

...Либо мир устроен неправильно, либо мои представления о нем неправильны. Но ведь за торжество и победу этих представлений лучшие из лучших жизнью жертвовали! вера в добро вечно живет!

Две истины есть в мире: истина духа — и истина факта. Истина того, у кого в руке в нужный момент оказался меч, — и истина того, кто не дрогнув встречает этот меч с поднятой головой. Один побеждает — второй непобедим. И две эти истины, каждая права и неколебима по-своему, никогда не сойдутся...

Это как клещи, две неохватные плоскости — небо и земля, твердые, бесконечные, плоские: сошлись вместе, давят меня, плющат, темнеет в глазах, не вдохнуть, тяжело мне, темно, безысходно...

А Дмитревский в ссылке. За то, что добра хотел сильнее, чем мы все! „Противозаконно“... ведь цели его и закона одни: счастье, справедливость... Безнадежно: везде филеры, сыск, тайный надзор...

27 лет. Так создан мир.

Представим:

Пустырь. На одном его краю — карета. На другом — десять человек. Сигнал! — они бегут к каре-

те. Кто же поедет в ней? — тот, кто лучше правит? Нет — тот, кто быстрее бегаёт. Кто сумел обогнать, растолкать всех; а ездить он может весьма плохо.

Так во всем. Любая вещь принадлежит не тому, кто наиболее способен ею распорядиться, а тому, кто наиболее способен ею завладеть и удерживать.

Поэтому „высокий чин“ сплошь и рядом — посредственность и заурядность во всем, кроме одного — он гений захвата и удержания своего поста. Все его помыслы направлены именно на это, а не на свершение дел. И, естественно, он достигнет и сохранит пост гораздо вероятнее, чем тот, кто, будучи даже более умен — и несравненно более способен распорядиться постом, — энергию направит на свершение дел, а не сосредоточит единственно на удержании поста.

Преимущества карьериста очевидны: каждый его шаг подчинен захвату цели. Любое действие он рассматривает только под этим углом целесообразности. Все, что способствует захвату цели, хорошо, что не способствует — ненужно, что мешает — плохо. И будет всем доказывать, что именно он достоин владеть, все силы направит на пресечение чужих домогательств, на создание мнения, видимости, положения — таких, что его не скovyрнешь. А дело он делает лишь так и лишь настолько, как полезнее для удержания поста, а не для самого дела.

Это первое. А второе:

Два человека, равно умных и энергичных. Разница: первый порядочен и добр, а второй способен на любой, самый злой поступок.

Кто вернее достигнет трудной цели? Второй.

Почему? — Потому что он в два раза вооруженнее, сильнее: он способен и на добрые средства, и на злые, а первый. — только на добрые. Из всех возможных поступков для первого возможна толь-

ко одна половина сферы, а для второго — вся сфера, весь арсенал.

Могут сказать, что это дурно. Но разве я и сам так не считаю?.. Могут сказать, что этого не должно быть. Но разве я виноват, что так есть? Могут сказать, что это несправедливо. Это так же несправедливо, как землетрясение: худо, а не отменишь, негодовать бессмысленно, а замалчивать вредно — надо знать о нем больше, чтоб как-то существовать, приспособливаться, спастись.

Вот поэтому добродетель всегда будет в рабстве у порока, благородство — у низости, ум — у серости, талант — у бездарности, ибо слабость всегда будет подчиняться силе.

А победитель всегда прав. Ибо через его действия и происходят объективные законы жизни, природы. А жизнь, природа — всегда права. Жизнь — она и есть истина: она — данность, кроме нее ничего нет. Ошибочны могут быть лишь наши представления о ней.

Возразят: пошлость мысли... Спросят: а как же мораль и Бог? Но в Бога я не верую, а мораль понял...

[Отчего, говорите, мораль и совесть противостоят личной выгоде?

Ответ первый: чтоб люди вовсе не пожрали друг друга; в обществе необходим порядок, правила нравственности и поведения.

Ответ второй: мораль нужна сильному, попирающему ее, — чтоб подчинять себе слабого, верящего в нее и следующего ей.

Это пошло, общеизвестно, зло. Но вот третье:

диалектика мудрого Гегеля: единство и борьба противоположностей. Жизнь и смерть, добро и зло, верх и низ, красота и уродство — одно без другого не существует, как две стороны медали: одно тем и определяется, что противоречит другому.

Где есть реальность — там есть и идеал. Это единство противоположностей. Мораль — это идеал реальности. Она вечна, как вечна реальность, и недостижима реально, ибо есть противоположность реальности.

И четвертое:

опять Гегель: любая вещь едина в противоречии двух своих сторон, противоречие вещи себе самой — свойство самого ее существования, закон жизни. В организме процессы, необходимые для жизни, одновременно тем самым приближают организм к смерти. Ходьба затруднена силой тяжести, вызывающей усталость, — но ею же делается вообще возможной, давая сцепление с землей.

Жить — значит чувствовать. Чувство — это противоречие (обычно неосознанное) между двумя плюсами: имеемое и желаемое, хотение и долг, владение и страх потерять, лень и нужда, добро и зло, голый прагматизм — и запрет „скверных“ средств, пусть и вернейших для достижения цели.

Совесть и выгода — это единство противоречия. Это две мечты, растягивающие парус — чувство: доколе он несет — это и есть жизнь. А инстинкт диктует жить, т.е. чувствовать, т.е. иметь это противоречие.

Это противоречие в душе человеческой постоянно. И чем сильнее, живее душа, тем сильнее оно! (Недаром великие грешники становились великими праведниками.) Каждый не прочь и блага все иметь — и по совести поступать. Выгоде уступишь — мораль скребет, морали последуешь — выгода искушает. Отказ от выгоды — сильное чувство, переступить мораль — еще более сильное. В чувствах и жизнь.

Люди — разные: один уклонится в выгоду, мораль вовсе отринув, другой — в праведность, выго-

ду вовсе презрев; но это крайности, а жизнь вся — между ними...

А насколько следовать морали — натура и обстоятельства сами диктуют.

Конечно, мои рассуждения философски наивны, но каждый ведь для себя эти вопросы решает.]

Везде в жизни действует закон инерции — стремление сохранить существующее положение. Это неплохо: во-первых, это так, потому что так мир устроен, во-вторых — это инстинкт самосохранения. Общество, скажем, инстинктивно, по объективному закону, не зависящему от сознания и воли отдельных людей, — стремится сохранить все то в себе, с чем смогло выжить, развиться, подняться до настоящего уровня цивилизации и на нем существовать. Время произвело беспощадный отбор, и выжило то, что оказалось наиболее жизнеспособно, т.е. верно для жизни и развития людей в обществе.

А сколько в веках прожектеров, авантюристов, ниспровергателей! Послушать их, последовать всем их заманчивым проектам — человечество не могло бы существовать: они противоречат друг другу, придумывают немыслимое, выдают желаемое за действительность, обещая быстро и легко переделывать мир. Что будет, если человечество будет следовать за ними всеми? — анархия, развал всего, что с таким трудом достигнуто за века и тысячелетия, упадок, гибель.

Сама жизнь отбирает из их прожектов реальные.

Поэтому первая и естественная реакция общества на такого гения — обострение инстинкта самосохранения: придавить его, чтоб не разрушал. Каждый, кто высовывается над толпой, потенциальный враг общества, угрожающий его благоденствию. Любая система стремится к стабильности, а

гений — это дестабилизатор, он стремится изменить, и система защищается — как в естественных науках. Он говорит, что для нашего же блага? все так говорят! дави их всех, а жизнь после разберется, кто прав. Что ж — после некоторым ставят памятники...

Каждый, кто хочет блага обществу, должен быть готов пожертвовать собой во имя лучшего будущего общества, будущего блага... Но и в будущем обществе точно так же подобных ему благородных самосожженцев будут давить и уничтожать — вот в чем трагедия! Ибо развитие непрерывно, бесконечно, доколе жизнь существует. Ничто в принципе не меняется...

Значит, ждате награды за добро нечего. Хула и травля наградой благородным и мятущимся действительным умам. Да посмертная слава. Да улучшение жизни после их смерти — если они окажутся правы. Но какое улучшение? — такое, в каком среднему человеку, стаду, будет сытнее и привольнее, — а страсти-то останутся те же, несправедливости — те же, лучших, избранных — травить будут так же.

Стоит ли, понимая все это, жертвовать собою ради такого положения вещей?

Каждый решает это для себя сам...

Но я — Я — не чувствую в себе сил, веры, самоотверженности класть свою жизнь на алтарь служения человечеству, ибо это не алтарь никакой, а камень дорожный под колесом истории. Человечество катит в колеснице, а лучшие из лучших мостят дорогу под колеса своими костями. Им поют славу и сошвыривают под колеса новых народившихся лучших людей, чтоб ехать и петь дальше: ровней дорога, больше еды, теплей солнце, а суть — то все та же самая...

Вот как это все устроено...

Я обыкновенный человек и хочу всего обыкновенного: и достатка, и всех благ людских, и всех мирских радостей... нет во мне фанатизма жертвовать собой.

А не жертвовать — значит отказаться от лучшего, что есть в твоей душе. От самого высокого и достойного. Измельчиться. Жить ничтожнее, нежели ты способен...

30 лет. Здесь мое место.

Как же дошел я до жизни такой? Да, я мечтал об истине, имел идеалы, хотел жить по совести, — но, в общем, никогда сознательно не избирал мученичество. Как путь мой завел меня к нему?.. Я ведь такого не хотел... Духу столько не было, чтоб решиться, выбор сделать, сознательно пойти — а вот...

Да разве десять лет назад поверил ли бы я, решился ли бы — если б от меня потребовалось стать нищим, состарившимся, одиноким, изгнанным, только что подаяния не прошу — и то! и то! даст порой кто, на нищее платье мое глядя, крендель или гривенник — и беру! и стыд-то перестал испытывать! Да я ведь по миру пошел, Христа ради пошел, куда ж ниже!

Как же вышло, что благородные побуждения юности завели меня на рубеж, дальше которого уже и нет ничего?! Ведь действительно получилось, что я своим убеждениям всем, всем пожертвовал — ничего в жизни не имею, гол, как праведник!

Сам-то я знаю и клянусь, что не настолько же я был подвержен поиску истины, служению справедливости, чтоб за них умереть в цвете лет нищим под забором! — а вот умираю нищим под забором.

А самое парадоксальное — за что? Ведь я со-

всем не тот, что был в двадцать лет, и нет у меня уже тех святых и наивных убеждений, что тогда были! нету! жизнь их вытоптала, выбила, развеяла. За что же я страдаю и гибну? Я нищ — а нищету ненавижу! Праведен — а праведность презираю! не хочу я ее, само собой это получилось. Не делаю ничего — а бездельников не переношу, хочу дела, мне не хватает его, мне деятельность требуется.

А какая? Ради куска хлеба? — мало, скучно, тогда не стоит. Ради мелкого достатка? Нет; меня лишь большое удовлетворит.

Значит — добиваться, рвать, идти вперед, вверх...

...Так зачем же человек вступает на путь карьеры — если заранее предвидит все издержки и горести? А ведь вступает...

Человек большой карьеры счастлив — на самый поверхностный взгляд. На взгляд более углубленный — доля его тяжка:

Семья ему не отрада. Женится обычно по расчету. Дети растут чужими. У него нет настоящего домашнего очага — блеск особняков в беде не согреет, выгодная жена в горе не утешит. Вот его любовь.

Любовница? Красива и молода — из денег и выгод. Бросит его первая чуть что, продаст, сменит на лучшего при удобном случае.

Деньги? Куда они ему — имеющихся-то не тратить. А вот и старость: здоровье ни к черту, ходит с трудом, ест по диете, хмур и мрачен, — что радости в миллионах?..

Слава? В глаза-то льстят, за спиной плюются. Помрет — и слезы не проронят: собаке собачья смерть. Презрение и ненависть.

Дела его? Нет никаких дел, одна суета и видимость.

Положение? Жри все время других, бойся, что они сожрут тебя.

Отдых, безделье? Тоже нет. Ведь заняты все время, что-то делают, устраивают, договариваются, ни часа свободного, устают смертельно, здоровье гребят, в могилу сходят раньше времени.

И хоть бы радость, счастье в этом имели — так ведь тоже нет! Озабочены, насторожены, вечно кони подозревают, угрозы своему положению; тяжело им, хлопотно, невесело.

Делают что хотят? — И вовсе нет! Рабы они своего места, делают только то, что выгодно месту, — удержать; чтоб начальство не осердилось, подчиненный не подсел. За рамки эти жестокие — не вышагнуть!

Почему же не выйти в отставку, не отдохнуть на покое, наслаждаясь плодами долгого труда и праздностью?

Во-первых — не очень-то и дадут. За долгую карьеру врагов много себе нажил и как власти лишится — за все ему отомстить могут, в ключья разорвать, лишит последнего, в гроб загнать, а семью пустить по миру. Уйти с поста — самому себя зубов лишит, которые нужны нажитое охранять и врагов сдерживать. Затянуло колесо, горят глазами волки, назад хода уже нет.

Во-вторых — нелегко на старости лет резко снижаться в глазах людей, в весе, в образе жизни. Был почет — а тут могут и руки не подать, не узнать бывшие подхалимы. То семье твоей кланялись все — а тут она обделенной себя чувствует, обедневшей, чуть не нищей, униженной.

В-третьих — а ведь никакой другой радости-то в жизни, кроме службы на посту высоком, и не осталось уже! Ведь всю жизнь себя к одному-единственному приспособлявал — карьеру делать; этому всем жертвовал, все подчинял — куда ж теперь

деться? Семья чужая, здоровья нет, желания все угасли, повыветривались — вся-то жизнь в единственном осталась, сосредоточилась: лишняя награда, благодарность начальства, хвала подчиненных, уверяющих тебя в мудрости и величии твоём. Этому последнего лишиться — что ж тогда вообще в жизни останется?..

А самое главное — человек должен стараться делать самое большое, на что он в жизни способен. Это закон жизни. Трудно, как трудно дойти до вершин в карьере, еще труднее бывает там удержаться. Все силы, все помыслы на это, всей жизнью своей на это себя натаскивал; это — смысл жизни карьериста.

И главное, этот закон жизни побуждает меня пойти по стезе карьеры. Я себе иллюзий не строю: я в тридцать лет эгоист и нигилист законченный. Ни во что не верю и, кроме собственного блага и удовольствия, ничего не желаю.

Куда ж мне податься, кроме служебной карьеры? Никаких особенных талантов у меня нет, искусства и науки того не дадут, что служба, не торговлей же деньги сколачивать: почет не тот, престиж не тот; да и я много умней, образованней торговшей — что ж способностям моим зря пропадать?

А настоящая карьера всех сил, всех способностей требует. И актерских, и памяти, и работоспособности, и внешних данных, и характера — здесь я всего себя приложить смогу.

Зачем? — А зачем все?.. Тогда все бессмысленно. Нищий гений писал картины — а ими услаждаются тупые богачи; где смысл? А в том, что я сказал: максимально прикладывать к жизни все свои силы.

Зачем? Затем, что прозябать в нищете и унижении я далее не могу. Я не имею средств содержать семью, у меня нет приличного платья, я питаюсь,

от чего отставной инвалид отвернется. Друзья мои вышли наверх и меня не узнают, молодость пропадает впустую, люди, несравненно ниже меня по уму, образованию, душе, — спесиво унижают меня на каждом шагу; я не могу так больше!!

Я страдаю от моего положения, страдание это доставляет постоянную и мучительную боль, боль вызывает злобу на всех: кто выше, потому что я по качествам личностей своей лучше их; кто рядом — потому что я не ровня этим мелким сошкам, тупым обывателям; кто ниже — свиньям и рабским созданиям, грубым, пьяным, не желающим ничего, кроме сытого пьянства в своем хлеву.

О, рядом с ним люди карьеры — это герои, сверхчеловеки! Они могущественны, умны, энергичны, приятны в общении! У них довольно ума, чтоб понять лживость и фарисейство морали, смеяться над этим бреднями для бедных дураков. У них довольно силы и энергии работать непрестанно, довольно мужества, чтобы прокладывать себе путь там, где никто никому пощады не дает. У них достаточно бодрости и веселья, чтобы никогда не унывать, не жаловаться, подниматься из падения с улыбкой и снова шагать наверх.

Жизнь — борьба: вот они борются и побеждают.

Где бедняк плачет — человек карьеры стискивает зубы. Где бедняк проклинаят — человек карьеры смеется. Где бедняк обвиняет весь мир в своих бедах — человек карьеры холодно делает себе урок из собственной ошибки. Он знает, что все люди — враги и во всем можно обвинять только себя самого: плохо рассчитал, слабо добивался.

Рядом с бедняком я сам чувствую, что становлюсь смиреннее, слабее, мельче; рядом с человеком карьеры я словно подзаряжаюсь его энергией, оптимизмом, жестокостью, сознанием достижимости любой цели.

Кто же достойнее: кто видит жизнь в истинном свете и живет по ее законам — или тот, кто не желает снять розовые очки и отягощает всех своими сетованиями? Тот, кто имеет силы повелевать, — или тот, кто в слабости подчиняется? Тот, кто может сделать что угодно, — или тот, кто не может сделать даже собственное скромное благополучие? Кто имеет ум обманывать — или кто имеет глупость обманываться? Кто равнодушно принимает поклонение, презрение льстецов — или кто подобострастно клянется, смиряя свою ненависть?

Только тот, кто стоит высоко, имеет возможность что-то совершить в жизни, влиять на нее. Иначе — затопчут тебя вместе с твоими благими намерениями и предложениями. Ведь каждый в жизни охраняет собственное благополучие и интересы — поэтому надо быть сильным, чтобы совершить что-то. А сила в человеческом обществе — это власть и деньги.

Власть же по плечу только сильным. Повелевать людьми, внушать другим свою волю, добиваться исполнения ее — это тяжкий труд, далеко не каждому посильный. Это особый склад натуры; слабого такой груз отпугнет, оттолкнет.

Только имеющий власть может что-то изменить, улучшить в обществе: он имеет для этого средства. Это мог император Петр, а вот чиновничек благодушный ни пипса не может изменить.

Вот и получается, что куда ни кинь, но если ты личность сильная, энергичная, богатая, — то никуда, кроме карьеры, тебе не податься. И добро творить — надо для этого возможностей, власти творить его добиваться, и личное благо урвать — опять же карьера, если не стезя тебе торговать, подкупать полицию и подличать перед всякой властью униженно; а это не по мне.

Что ж; я потерял много времени для карьеры — но имею сейчас много опыта, целеустремленности;

рассудительности. Еще есть время все наверстать. Да и — с самого низа как куда ни пойдешь — все наверх выйдет.

Что ж мне, как Дмитревскому, в каторгу идти? Не хочу. Чего ради? Ах, Дмитревский, слушал я тебя некогда, да не послушал ты меня... Один ты был друг у меня... Что бы я ни отдал сейчас, чтобы вызволить тебя, помочь... Вот опять же: сила нужна для всего: имел бы я сейчас власть, влияние — и твою бы участь облегчил... Дитя мое наивное... Иной мой путь теперь, иной. Авось когда еще свидимся — сам поймешь, что за мной правда: за жизнью...

2

Путь наверх

Скромный чин. Вхождение.

И з н у т р и:

1. Полное подчинение всех страстей и желаний воле и рассудку.
2. Готовность на любые средства и поступки во имя цели.
3. Постоянный анализ поступков: разбор ошибок, учет удач.
4. Крепить в себе самообладание, терпение, волю, веру в успех.
5. Приучиться видеть в людях шахматные фигуры в твоей игре.
6. Голый прагматизм, избавление от совести и морали.
7. Овладение актерством: убедительно изображать нужные чувства.

8. **Готовность и стойкое спокойствие к взлетам и неудачам.**
9. **Готовность и желание постоянной борьбы в движении к успеху.**
10. **Целеустремленность, равнодушие ко всему, что не способствует успеху.**
11. **Постоянная готовность использовать любой шанс, поиск любого шанса.**
12. **Беречь здоровье — залог сил, выносливости, самой жизни.**

С н а р у ж и:

1. **Позаботиться о первом впечатлении от себя: оно многое определит.**
2. **Будь опрятен, аккуратен, подтянут — но без щегольства и претензий.**
3. **Будь скромнен. Не заводи разговора первый. Не вылезай вперед.**
4. **Не выделяйся. Не будь первым ни в чем. Держись в тени.**
5. **Будь ровен, тих, неприметен, не весел и не грустен. Разделяй общее настроение — искренне, но скромно. Не раздражай веселых своим унынием, а хмурых весельем.**
6. **Не проявляй инициативы. На работу не напрашивайся, от работы не бегай. Исполни добросовестно и в срок — не лучше всех.**
7. **Ты не должен давать никаких поводов для зависти или жалости — ни недостатком, ни успехами, ни перспективами, ни здоровьем. Помни: пока ты мелок и зависишь от всех, тебе опасна неприязнь любого, нужно добиться доброго к себе отношения от всех.**
8. **Начни общение с человека маленького, забитого: он станет предан тебе бескорыстно во всем.**
9. **Не имей врагов. Не участвуй ни в чьей травле,**

если не уверился в ее полной для себя безвредности — и только если она необходима тебе для союзов с другими.

10. Не излишне часто спрашивай совета в работе, выражая неуверенность, что сможешь достигнуть мастерства имярек: это располагает к тебе, говорит о значительности спрашиваемого и незначительности, но разумности, доброте, скромности твоей.
11. Изучай, изучай и еще раз изучай коллег и особенно начальство. Делайся преданнейшим другом человеку наиболее влиятельному и перспективному.
12. Будь собранием всех добродетелей — не подчеркивая, лишен всех пороков — неприметно; ты должен добиться, чтобы коллеги любили в тебе человека доброго, неглупого, отзывчивого, порядочного, приятного — но неконкурентоспособного и малозначительного.
13. Не торопись. Промаж в начале пути особенно тяжело исправим.

Сносный чин.

Библиотека честолюбца:

„Никогда не быть бедным“.

Князь Талейран.

„Полное подчинение всех страстей и желаний воле и рассудку“.

Наполеон.

„В общество надо вкратиться, как чума, или врезаться, как пушечное ядро. Смотрите на людей, как на лошадей, которых надо загонять и менять на станциях“.

Бальзак.

„Начальник есть богом данное начальство“.

Козьма Прутков.

„Лишь раболепная посредственность достигает всего“.

Бомарше.

„Умными мы называем людей, которые с нами соглашаются“.

Вильям Блейк.

„Для успеха по службе были нужны не усилия, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только умение обращаться с теми, кто вознаграждает за службу, — и он часто удивлялся своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого“.

Граф Толстой.

Изучайте человека:

- 1. Внимательно наблюдайте: его лицо, фигуру, манеры и т.п. Физиономистика и психология — ваше постоянное оружие.**
- 2. Узнайте о нем все: семья, прошлое, привычки, болезни, вкусы, дети и женщины, слабости и пороки, этапы карьеры, достаток, претензии, перспективы и т.д.**
- 3. Старайтесь влезть в его шкуру, на все смотреть с его точки зрения, добивайтесь некоего слияния своей внутренней личности с его.**
- 4. Думайте о нем постоянно, сопоставляйте, анализируйте — лицо, возраст, фигуру, почерк, гороскоп, линии руки, обстоятельства рождения и женитьбы, привычку одеваться и т.п.**
- 5. Сведите знакомство, лично или через чье-то посредство (слуг, родственников, коллег) с кем-либо из его близких, родных, друзей.**
- 6. Узнайте там, где он служил ранее, каков он был в иной роли и иных обстоятельствах.**
- 7. Пользуйтесь каждой возможностью — и созда-**

вайте эти возможности сами, но незаметно — узнавать его мнение обо всем, и прежде всего — о нем самом: косвенно это явствует из всех его высказываний.

8. Узнав о каком-то событии, старайтесь предугадать, вычислить его реакцию на событие. Ошибки анализируйте, уточняя себе образ и характер этого человека.
9. Главное, что надо знать о человеке:
 - а) чего он больше всего хочет, не хочет, любит, боится, уважает, презирает;
 - б) каков он на самом деле, каким он сам себя представляет, каким его представляют другие, какими он представляет других;
 - в) как, познав его, вызвать его любовь, ненависть, уважение, презрение, гнев, умиротворение, благодарность, страх, жалость.
10. И постоянно развивайте в себе интуицию, наблюдательность, умение сопоставить и делать заключения, предвидя ситуацию.

Пристойный чин.

Начальники:

1. Сделавший карьеру с самого низа, трудно и медленно, в тяжелых условиях, сам всего добившийся — умен, жесток, безжалостен, требователен, все может понять — но не снизить. Не склонен прощать промахи. Грубую лесть не приемлет — это средство ему знакомо, с ним дает обратный эффект. Услуги и подарки принимает охотно, но благодарности не испытывает. Наиболее трудный тип: ведь то, что ты сейчас делаешь, ему знакомо по собственному опыту.

Средства: образцовое исполнение своих обязанностей. Работа сверх меры, но без рекламы. Точное

исполнение приказов, демонстративная безжалостность к себе и подчиненным. Изображаемый тип: ревностный служака.

2. Подлипала: сделавший карьеру снизу, прислуживая тянувшему его за собой хозяину. Самый лучший тип — максимально предсказуем в действиях и реакциях: чванлив, заносчив, самолюбив, самодоволен, необразован, глуп, труслив, избегает инициативы и ответственности. Хорошо реагирует на неумеренную лесть. Подарки принимает как должное. Раболепие обожает. Опасность: хитер, осторожен, нерешителен, переменчив. Ревнует к вниманию своего хозяина. Слабость: робеет перед твоей связью с высокой персоной — дошедший до него слух об этом способен творить чудеса.

3. Выскочка: быстро взошел снизу благодаря случаю, обстоятельствам, удаче. Неплохой тип: не успел слишком озлобиться в борьбе, самоуверенность (от успехов) перемножается с неуверенностью (от недостатка знаний, опыта, привычки к своему положению). Благодарен за почтительную помощь и поддержку снизу: особенно ценит „даримые“ идеи, сделанную подчиненным за него работу и т.п. Очень признателен за уверения в его полной компетентности, хвалы необычайным способностям, позволившим сделать быструю карьеру: может возражать, но душой жаждет убеждений в этом. Угодливости, дорогих подарков конфузится, не любит. Предпочитает подчиненных компетентных, с чувством собственного достоинства — при условии, что они умеют поставить себя ниже его. Способен на жалость, порыв, благородство, сочувствие: может войти в положение.

4. Высокопоставленный болван: солдафон, тупым усердием выслужившийся в генералы. Средство: беспрекословное подчинение в подражательном стиле. Будучи честным идиотом, он может сам

рекомендовать вас выше. Если нет — перепрыгивать или огибать его, завязывая отношения с начальством через его голову.

5. **Высокопоставленный бездельник:** по происхождению баловень судьбы. Всю его работу мягко взять на себя — это он особенно ценит. Легко прибирается к рукам, ему можно внушить что угодно. Слабоволен, ибо более всего ценит покой и веселье. Изменчив, легкомыслен, непредусмотрителен. Подчиненных думает, что любит, хотя их не знает. Способен на благородные порывы — но и на полные низости. Ощущает себя настолько выше сортом подчиненных, что умиляется своей добротой, говоря с ними как с равными.

6. **Сынок с хваткой:** отпрыск могущественного лица, карьера которого намерена взойти к самым звездам, молодой богач с огромной перспективой. О! — за его спиной можно подняться ввысь, в него надо вцепиться, как блоха в собачий хвост, этот начальник может быть судьбой на всю жизнь. По неопытности и безнаказанности склонен к ошибкам. Ошибки эти брать на себя и других — прежде, чем он почувствует неловкость: не дать ему оконфузиться, на его ухабы подстилать собственную спину! Учить его — в форме вопросов, на которые сам предлагаешь варианты ответов, сомневаясь в своих действиях, — и таким образом освещать ему весь круг проблем. Заранее готовить запасные варианты по его ошибочным приказам — чтоб в первый же миг представить их как естественно входящие в ваши обязанности. Внушить ему, что служить под ним крайне легко и приятно: он дает инициативу, позволяет расти, побуждает к наилучшим решениям — а это-то и есть идеальный начальник: и посоветуется, и похвалит, и зажжет своей молодой энергией.

7. **Пустое место:** малоспособен, бесхарактерен,

тих, добр, мягок, — сделал карьеру волею начальников, случайностей, отсутствием под рукой более подходящих кандидатов — за свое согласие со всеми, порядочность, отсутствие злых слухов, проступков и врагов, за хороший послушной список. Самой судьбой предназначен, чтоб выдти его до конца и при возможности съест. Основная черта — неспособность к организованному сопротивлению: податлив, робок. Обязывать его благодарностью, апеллировать к справедливости, демонстрировать свои вознагражденные добродетели. Прибирается к рукам полностью. Особенно ценен тем, что сам же будет хлопотать за тебя в верхах. Опасность: слабый характер, постоянно понуждаемый, может дать взрыв, подсознательно стремясь к освобождению. Не терять с ним бдительности, не пережимать, чтоб его деликатность всегда перевешивала внутреннее раздражение: пусть злится, но делает то, что тебе надо. Будь почтителен и осторожен — он злопамятен на обиду. Но даже не любя тебя, поступает так, как диктуют его представления о порядочном человеке, каковым он себя считает прежде всего. Поэтому с ним хорош полный диапазон: от слезных мольб до жестокого требования своих прав. Его возможный отказ заранее можно парировать заявлением, что он откажет из личных чувств: этого он стесняется и поступает согласно вашей просьбе и даже в ущерб собственным интересам.

8. Отыгравшийся: уже готовится к отставке и пенсии. Слегка зол, что не достиг большего, печален, что конец. А) Подумывает о преемнике, о своей доброй памяти. — Умилно перенимать его опыт, на словах от преемничества отказываться, плакать о его доброте, незаменимости, мудрости. Б) Махнул на все рукой — „после нас хоть потоп“. — Исподволь брать все вожжи самому, вы-

полнять работу свою, его, — пусть себе бездельничает всласть. В) Самодурствует под конец. — Незаметно смягчать его приказы, облегчая участь прочих подчиненных, а ему хвалить его энергию: пенные хвалы и полный саботаж с прицелом на то, чтобы удовлетворить своей деятельностью вышестоящее начальство.

9. Застрявший: давно рассчитывает на повышение. А) Всеми силами толкать его наверх, помогать ему, организовать кампанию по его выдвижению. — Либо займешь его место, либо он потащит тебя за собой. Б) Желание его выдвижения сделать видимым предлогом для своей активной деятельности — и использовать как отвлекающий момент, чтоб обойти по службе этот вросший пень.

10. Пониженный: видал лучшие виды, обижен, желчен, страдает, надеется вернуться обратно в высокие сферы. В тонкости дела не вникает, привык к иному размаху. Убеждать его в достоверных известиях об его скором повышении, петь дифирамбы, клясть несправедливость. Аналогично номеру девятому.

Изрядный чин.

Искусство лести:

1. Лесть должна казаться человеку правдой. Необходим индивидуальный подход: знать, каким человек считает себя сам — и каким он хочет себя считать.
2. Умелая лесть — сильное и безотказное средство.
3. Любую лесть проглотят тогда, когда уверены в вашем уме, доброжелательности, компетентности, бескорыстии.
4. Дураку годится и самая грубая лесть, граничащая с издевкой.

5. Умный и опытный, заметив лесть, настораживается и не доверяет вам более; лесть — это агрессия на коленях; умному надо льстить тонко и точно.
6. Лесть должна быть уместной — гармонировать с ситуацией и настроением.
7. Составляйте себе репутацию человека сдержанного, честного, нелестливого — тогда ваша лесть будет действовать сильнее и вернее.
8. Избегайте прямой лести — открытого восхваления и восхищения, если не убеждены полностью, что она уместна.
9. „Случайная лесть“ — льстить за глаза так, чтоб человек „случайно“ это подслушал.
10. „Косвенная лесть“ — как бы передавать человеку мнение других, особенно тех, к кому он прислушался бы.
11. „Переданная лесть“ — льстить за глаза близким ему людям, с расчетом, что они ему передадут.
12. Выражать желание когда-нибудь хоть приблизиться к его уровню достоинств.
13. Признаваться в доброй зависти: прямо — своей, косвенно — чьей-то зависти к его достоинствам и успехам.
14. Объявлять его примером для подражания: прямо — своим, косвенно — чьим-то.
15. Удивляться его мудрости, способностям, талантам и т.п. — без лестных слов.

Искусство клеветы:

1. Осуждать „нелепый слух“, излагая его содержание.
2. „Защищать“ человека от слуха, излагая таковой.
3. Рассказывать „по великому секрету“ тому, кто разнесет, — выдумывая надежный и непроверяемый источник и открепиваясь самому.
4. Наводящими вопросами побуждать чьего-то вра-

га допускать предположения и затем ссылаться на сего врага, делая его источником.

5. Приписывать человеку глубокую скрытность, притворство, тайные умыслы: подозрение, не имея явной пищи, само начнет толковать нейтральные черты и поступки в пользу обвинения.

6. Вытаскивать такие истории из прошлого человека, где уже нельзя определить и доказать истину, и толковать факты в неблагоприятном свете.

7. Для реальных поступков человека находить низкие побуждения.

8. Приписывать ему зависть к собеседнику: этому верят особенно охотно.

9. Провоцировать его вопросами на неосторожные ответы и пересказывать их.

10. Заранее предсказать какой-то очевидный его поступок, представив его как следствие скверных, скрытых умыслов: сбывшись, такой поступок очень убеждает всех в правоте ваших суждений о нем.

11. Анонимные письма и доносы.

12. Подкупленные лжесвидетели, жалующиеся начальству, семье, друзьям и т.п.

Искусство интриги:

1. Интрига — это такая игра в шахматы, где сражающиеся на доске фигуры воображают себя игроками, адвигающий их игрок остается невидим и неизвестен, пожиная все плоды победы.

2. Искусство интриги состоит в том, чтобы определить нужных людей, знать, как они поступят при соответствующих условиях и обстоятельствах, и эти поступки соединить, как звенья в цепь, идущую от вас к вашей цели.

3. Преимущество интриги состоит в том, что люди, несравненно более могущественные, чем вы сами,

добиваются ваших интересов со всем напором, полагая, что действуют в интересах собственных.

4. Тонкость интриги состоит в том, что каждый участник действия лично заинтересован в своих поступках, руководствуется собственными желаниями и страстями и двигает механизм интриги в нужном вам направлении — даже вопреки своей выгоде.

5. Безопасность интриги заключается в том, что вы сами делаете лишь первые один или несколько ходов, невинных, незаметных и безопасных, а ко всему дальнейшему не только не имеете отношения, но даже напротив — можете выбрать такую линию поведения, чтобы в глазах окружающих выглядеть безупречно и осуждать тех, кто тратит силы в неблагоприятных действиях, ведущихся к нужной вам конечной цели.

6. Надежность интриги заключается в том, что главную цепь действий можно подкрепить целым рядом запасных вариантов, а уязвимые узлы усилить дополнительно вовлекаемыми лицами.

7. Эффект интриги заключается в том, что в результате разных событий, к которым вы не имеете никакого отношения, вы получаете то, что вам нужно, сохраняя репутацию человека, который ничего не добивается и наверх не лезет.

8. Недоказуемость интриги в том, что лично вы не только ни в чем не можете быть признаны виновным, но и действительно не совершали абсолютно ничего неблагоприятного, да и вовсе ничего не совершили, ваши слова и поступки сами по себе не имеют ни малейшего значения, а за действия людей, которые вам не подчинены, от вас не зависят, которых вы ни к чему не подстрекали — напротив, возможно, предостерегали от того, что они стали делать далее, — вы за все это никак не можете отвечать.

9. Неотвратимость интриги в том, что вы в покое обдумываете все звенья и варианты, подготавливаете все действия незаметно для всех — а затем разом запускаете механизм, который люди уже не только не успевают остановить, но даже не могут увидеть целиком в совокупности всех частей, а видят лишь отдельные явления, внешне даже не связанные между собой.

10. Гарантия интриги в том, что у каждого человека есть слабые стороны, желания и страсти, грехи и мечты, каждый способен на какие-то предсказуемые шаги, каждого можно какими-то известиями и предупреждениями заставить сделать шаг, невинный и нетрудный для него сам по себе, но вызывающий чей-то следующий шаг.

Высокий чин.

Жри их всех:

1. Избавляться от всех конкурентов: явных, скрытых и потенциальных.
2. Ставить невыполнимые задачи.
3. Перегружать работой. При жалобах — не давать работы и наказывать за безделье.
4. Поощрять их ошибочные действия до полного конфуза и провала.
5. Рекомендовать их в чужие ведомства и даже искать им там места.
6. Постоянно задевать их самолюбие, изводя им нервы.
7. Постоянно дергать их по пустякам, не давая работать.
8. Стравливать их друг с другом.
9. Подавать им надежды, не выполняя обещанного.
10. При увольнении провожать с почетом, с хороши-

ми рекомендациями — дабы все знали, что лучше уйти, чем остаться.

11. Если его работа ладится — передать ее другому.
12. Успехи замалчивать, недостатки раздувать.
13. Постоянно приводить им в пример работников явно худших.
14. Найти темные пятна в их прошлом и настоящем.
15. Известить, что его место обещано другому.
16. Провоцировать на грубость и проступки.
17. Оказать „доверие“, которое невозможно оправдать и даст повод для выговора.
18. Возложить ответственность за явно невыполненное дело.
19. Склонить к служебному злоупотреблению — и раскрыть с позором.
20. Захваливать настолько, чтоб он явно не оправдывал похвал.
21. Ставить его под начальство его врага или завистника.
22. Дать ему в подчинение бездельника — и упрекать за неумение справляться с подчиненными.

Не упускай своего:

1. Выгодная женитьба на деньгах, связях, положении.
2. Не раскрывать душу никому: никому нельзя доверять.
3. Не быть мстительным и злопамятным: это отвлекает силы от пути наверх. Напротив, великодушные располагает к вам.
4. Богатеть любыми способами. Скрыть богатство легче, чем бедность. Деньги позволяют управлять людьми, покупая им нужные вещи, удовольствия, услуги, посты. Любое предприятие нуждается в деньгах; отсутствие их подрывает

- самый гениальный план, заставляет упустить порой единственный шанс.
5. Польза от обладания суммой должна покрывать вред вашей репутации, нанесенный способом, каким эта сумма добыта: миллион покроет практически любые моральные издержки и откроет перед вами более дверей наверх, чем закрыло его приобретение.
 6. Не будьте скарены: умеете тратить много, чтоб получить больше.
 7. Кажитесь щедры, но будьте расчетливы: скупость сохранит богатство, позволяющее щедрость, мотовство развеет его и уничтожит самую возможность щедрости.
 8. Умейте внушать страх: люди ценят доброе расположение того, за кем знают силу и власть смять их, кого боялись бы иметь врагом, но пренебрегают тем, кто вообще добр и не может быть им опасен.
 9. Всегда давайте подчиненным чувствовать пропасть между ними и собой. И только когда достигнете самых больших высот — иногда перешагивайте эту пропасть и держитесь на равных: тогда это уже будет восприниматься с восторгом и повышать ваш авторитет.
 10. Демонстрируйте справедливость и доброту, публично помогая несчастным, которые абсолютно неопасны, пользуются жалостью окружающих и будут славить вас потом всю жизнь.

Всемогущий чин.

ВОЛК СРЕДИ ВОЛКОВ.

- Ну... здравствуй, Дмитревский.
- Чему обязан, ваше высокопревосходительство?

— И кандалов с тебя не сняли...
— Да, и ковров не постелили в камере.
— Что ж, и руки не подашь?..
— Немыты, ваше превосходительство. Да и неловко в кандалах, знаете. Завтра поутру, почтители присутствием? Будут давать небольшой спектакль со мной в главной роли. Прошу! Абонирую вам место в первом ряду у эшафота. Или кресло на помосте прикажете?

— Перестань ерничать, Дмитревский... Ты что, не узнаешь?

— Не имею чести.

— Прощение о помиловании не подашь?

— Нет, не подам.

— Отчего?

— Чтоб совесть вам облегчить. Что, мол, сам виноват. Ведь все равно повесите. Разве не так?

— Может, и не так.

— То-то: может... Не будем считать друг друга за дурачков, ваше высокопревосходительство.

— Да оставь ты это „высокопревосходительство“!.. Дмитревский, ведь это же я к тебе пришел...

— Зачем?

— Не знаю... Сказать тебе многое надо... Не так-то все просто в жизни.

— Вы не ко мне пришли. К своей совести. И все ответы мои знаете сами.

— Тебе не страшно?

— Нет.

— А мне страшно.

— Ничем не могу помочь.

— Можешь.

— Чем же? Утешить, что вы совершенно ни в чем не виновны, утвердив мой смертный приговор?

— У тебя есть, может быть, последнее желание? Я сделаю все; исполню, передам.

— Нет.

— Хорошо... Тогда у меня есть... Ты можешь исполнить мою последнюю к тебе просьбу, Дмитриевский? Ради тех далеких счастливых лет, когда я, щенок, был влюблен в тебя, смотрел тебе в рот?

— Вы, кажется, решили исповедаться завтрашнему висельнику?

— Не плюй мне в душу... это неблагородно, недостойно тебя.

— Нет у вас души. И вообще — позвольте мне поспать. Тьфу, да что за иудины слезы! Утри сопли и ступай в свою резиденцию, лопух эдакий!

— Друг милый, ведь ничего у меня теперь не останется в жизни, ничего!.. Ведь ненавижу я их всех, ненавижу!.. Как же это так вышло...

— Да? Так пиши приказ о моем освобождении — и бежим. А?

— Невозможно.

— Отчего?

— Я всего себя отдал за эту карьеру. От меня уже ничего не осталось. Понимаешь — ведь человек тех любит, кто его любит. Вот я каждого, каждого, с кем жизнь сводила, не просто обольщал — а чем-то и любил. Насильно. Дружил. Улыбался. Старался все лучшее в нем видеть — иначе ведь вынести невозможно. И вышло — что каждому отрезал я ломоть от любви своей. От души своей. Всех их любил, кого друзьями себе сделал, подлецов, эгоистов, сановников, дураков... и себе уже ничего не осталось.

— Видишь, какая у нас многозначительная ситуация, да? — мертвый вешает живого. Достойно немецких романтиков.

— Как ты можешь шутить?

— А я — живой. И любовь отдал тем, кого любил. И жизнь — тому, во что верил.

— А я ведь тебе завидую, Дмитревский.

— Врешь. Себе врешь. Ты завидуешь только тем, кто сильнее и богаче тебя.

— Когда-то, много лет назад, я мечтал, что стану богатым, сильным — и при случае помогу тебе, спасу...

— Ценю благие намерения. А что же потом? Что теперь?

— А потом... Чем выше поднимаешься, тем беспощаднее борьба, смертельнее вражда, каждый старается уничтожить каждого, кто может ему мешать. Пока однажды не почувствуешь, что ты готов своими руками убить любого, лишь бы подняться еще на одну ступеньку: все прочее не имеет уже для тебя цены. И вот тогда ты готов, созрел для настоящей карьеры.

— Поздравляю.

— Но я никогда не мог бы подумать, что это может быть так буквально. Ведь я не хотел, клянусь тебе... Я не знаю, как это все сложилось... клянусь тебе всем святым, что я не хотел, не хотел дойти до тебя, чтобы казнить человека, которого боготворил!

— Ладно; облегчу твою душу... Я тоже никогда не хотел быть повешенным. И никогда не хотел быть в каторге. Не хотел быть нищим, не хотел болеть чахоткой. Когда я в первый раз попал в Ака-туй, я ночами в изумлении спрашивал себя: как же это вышло?.. Да, я имею идеалы, верю в иное и лучшее будущее, хочу способствовать его приходу — но не апостол я, нет! Я тоже хочу любви, счастья, благополучия, хочу иметь семью, детей, хочу работать и не бегать вечно от полиции. Видно,

наши желания всегда заводят нас дальше, чем мы сами предполагаем.

— Как странно слышать это от тебя... В тридцать лет я думал точно так же... и тогда я сделал выбор.

— И вот ты здесь.

— И вот мы оба здесь. Но ужас в том, что я прав! Я, подлец, живу и властвую! А ты, святой, принимаешь смерть. Значит, правда жизни на моей стороне?

— Тогда почему ты мне жалуешься на свою жизнь, а не я тебе? Почему мне нечего исправлять в моей жизни, а тебе твоя противна?

— Потому что умереть святым проще, чем жить грешником.

— Красивые слова... Я помню твои юношеские письма. Ты все правильно понимал. Просто духу у тебя не хватило, урвать свой кусок захотелось.

— Разве это такой большой грех?

— Нет. Только не плачь теперь. В конце концов, это меня завтра вешают, а не тебя.

— Откуда у тебя столько духа?

— А я верю в то, что больше, значительнее меня. А все, что дорого тебе, — существует для тебя одного. После меня останется мое дело, а после тебя — только деньги и ордена.

— Обречено твое дело, ничего ты не изменишь в мире, люди таковы, каковы они есть, неужели ты не понимаешь!!

— Совсем ты поглупел. Вечно мое дело, бессмертно, непобедимо! Уж если лучшие из людей всегда всем жертвовали, и жизнью самой, за это дело, — значит, ценность его выше твоей брэнной житейской выгоды, а? Значит, есть счастье высшее, чем грызть ближнего и возвыситься над ним, а? Так-то. Иди, иди. И распорядись дать мне утром чистую рубаху и побрить. Ну, ступай, бедолага.

А был ли мальчик

175 см. Жена.

— Милочка, ты прости мне мои откровенности... нервы совсем расшалились... ах, налей еще, налей. Мы же с тобой с детства дружим, ты же знаешь, я всегда рассудительной была... а сейчас не знаю, что и делать... я с ума сойду! с ума сойду, если хоть с тобой не поделюсь...

Ой, ерунда, про любовниц его я давно знаю, и актриску эту подлую содержит... сначала плакала, потом рукой махнула, что ж делать, все они такие; и дети растут, куда я денусь... я понимала всегда прекрасно, что он из выгоды на мне женился, такой видный, красивый... а он кого хочешь обольстить умеет, уговорит, уломает, внушит что угодно, — особенно если сама в это верить хочешь...

Не бьет, как ты могла подумать!.. ах, что я опять вру, уже ведь и руку поднимал, и слова говорил такие, такие, что подумать страшно... Я уж с этим смирилась, мало ли как в семье бывает; и вдруг последнее время совсем все ужасно стало...

Встань, пожалуйста, душечка. Прошу тебя, на минутку. Вот. Не удивляйся... Мы же с тобой всегда одного роста были, правда? О, не смотри на меня так, я нормальна, нормальна, не сумасшедшая я!

Скажи... я ведь не стала меньше... ну, ниже — не стала, нет?

Вот слушай. Это все так началось: он в присутствии одевался, мундир надевает новый — а рукава длинные. Он загорячился — и Павлуше, камердинеру, в ухо и стукнул. Ведь уже много лет шьется ему все по одной мерке, он совсем не толстеет, не меняется, такой же красивый... изверг...

Мундир тот же час подкоротили. Портного привезли, тот кается... А он и на меня ногами затопал — при людях прямо: я же за всем в доме следить должна, он так завел: а что, говорит, тебе еще делать... и слова ужасные... ну, не буду, не буду, все уже.

А назавтра фрак надевает в собрание ехать вечером — и снова та же история... Павлуше лицо в кровь разбил, портной уж на коленях ползал, а мне... на меня... водички подай, да.

Я мышьяку принять хотела... всему предел есть. Никакой радости не осталось, дети чужие растут, алые, в доме страх всегда, копейки на расходы нет... вот — выйди замуж за бедного и благородного, так сама станешь бедной и благородной: ему честь, а тебе горе.

А вечером он ко мне в спальню мириться пришел. Бледный, несчастный, дрожит, лица нет. Господи, когда он добрый бывает — да я всю жизнь, всю кровь ему отдам, лучше него нет человека на свете! А ведь в начале он всегда был такой...

И вот, ночью... муж ведь, милочка, ты понимаешь, есть много, как бы это сказать... примет разных... Ведь после свадьбы, первое-то время, это такое счастье было, все как сейчас живое помнится. И вот у меня такое ощущение возникло, словно... словно он поменьше как бы стал.

Как же редко, думаю, он ко мне приходит, что я уже и забывать его как мужа стала.

А назавтра он так злобно на меня посмотрел: что, говорит, вытаращилась, кукла чертова? А я смотрю и плачу, так люблю его... 1

А после слов этих вспомнила сомнения ночные: он ведь раньше такой большой казался мне, высокий, сильный. А тут как пелена с глаз: и вовсе не такой большой он. Нет, не маленький, но — обычный. Обычный.

Я на него всегда снизу вверх заглядывала, на цыпочки привставала, а тут стою рядом — и ничего такого. Вот что называется ослепление юности, любовь... Среди всех он мне выше всех казался — а теперь вижу: многие и выше есть.

А он и говорит: что-то ты, матушка, вовсе стала костлява и долговяза. Растешь на старости лет, что ли? И это при лакеях! У меня как в голове закружилось — и при докторе только в себя пришла.

Доктор успокоил, прописал нервы лечить: на воды, говорит, необходимо ехать. Да ведь эти доктора, они правды больному не скажут. Он уехал, я все свои платья старые перемерила, которые прислуге не отдала, — и не пойму: то ли длинны оттого, что похудела сильно, а то ли... ведь невозможно...

А на него как посмотрю... и страх во мне... Он же Николая, лакея комнатного, на полголовы выше был — а ныне подает ему Николай халат — а роста-то они одного! одного, как есть!

Я Николаю допрос вчинила, а он смеется: барин наш, отвечает, орел, как раньше, а может, и еще выше, а Павлуша разгильдяй, и портной пьяница, они сами повинились. Ну?!

Я до чего дошла: в гардеробной его стала рукава и панталоны длиной сравнивать... не сходятся!! А Павлуша говорит: что вы, барыня, это ведь моды меняются, ныне короче носят, чем допреже, а его превосходительство должен во всем образцом быть и идеалом...

...Я уж без опия и спать не могу. Платья перешивать не успеваю, так худею. Куска проглотить не могу. До чего дошло: сын его целует, а я в ужас: да он скоро с сыном одного роста будет! Лишь потом сообразила: сын-то растет, тянется сейчас быстро, скоро юноша.

Милочка, может, ты мне француза своего доктора посоветуешь? немцы эти совсем ничего не понимают. Может, это у меня от женских неурядиц все? ведь в желтый дом угрожу, или чахотка съест...

И мысль еще страшная гложет: уж не специально ли он все эти сцены подстроил, чтоб мне сумасшествие доказать или вовсе сжить со свету? а сам после на Белопольской женится... Ведь словно одна я ума и зрения лишилась, а прочие-то все нормальные, видят все как есть!

Совсем худо мне, милая... Может, за границу одной поехать, в Швейцарию или Баден-Баден?..

165 см. Друг.

— А ведь в одних номерах жили; обед в трактире брали на двоих один; да... А теперь допустить до себя не велит, даже в день ангела поздравить.

Я понимаю: государственная персона. Но ведь — на десять шагов не приближает никого! Входит куда — один впереди, все толпой позади на двадцать шагов. А уж ручку пожать удостоить — только сидя: два пальчика протянет из креслица — тот переломится, пожмет с чувством и в поклоне к двери убирается.

Гордость, говоришь. Кхе... Ну, ты уж только — никому!..

Он почему так прямо держится, каблучки поларшинные, нос вверх? — чтоб выше быть, вот почему. А сам-то вовсе невысок, как будет залой проходить — приглядись внимательней. Невысок; низок даже!

Пусть нормальный, не в том суть. Только — я-то помню же, я ему шинель свою некогда одалживал, на службу полтора года в одну дверь ходили, — он высокий был! верно говорю, гвардейского

росту, вершков девять, а то и все десять! Ей-богу, я крест приму!

Вот потому и держится всегда один, от всех по-одаль, чтоб не заметить этого было в сравнении с прочими. Потому и служащих своих старинных всех поувольнял — да не просто, а так задвинул, что кто в Омске, кто в Томске, кто в Тифлисе, — подалее, долой. Хотя, говорят, наградных дал щедро, чтоб не обижались и молчали, но главное — чтоб не было рядом тех, кто его еще знал другим, высоким.

Потому, брат, и старых друзей к себе не допускает: боится, стыдится, опасается: вдруг конфуз, слухи компрометирующие, бестактный вопрос. Далеко ли до скандала...

Понятно: когда человек рослый, видный, он и уважения больше внушает, трепета приятного, для глаз удовольствие. А у него в последние-то годы как карьера вознеслась: ведь в министры метит! да еще, может, не просто в министры, а в самые главные...

Вот оттого и сердит часто стал, ногами топает — нервничает. То ко двору представляться, то чиновник с особым поручением от государя жалует — самое время разворачиваться! И вдруг — такая беда, что рост меньше да меньше! А ведь одно дело назначать на большой пост человека видного, осанистого, значительного, а другое — маленького и писклявого...

А он так сумел себя поставить, на таком счету при дворе, что всегда им довольны — умеет угодить да угадать. И какие враги ему ковы строили, какие недоброжелатели были влиятельные и злобные, — всех обошел, смял, обдурил, всех выше поднялся. Узнают они теперь — вой подымут, осмеют, в отставку уйти заставят!

Так что обижаться на него нельзя. Такое не-

счастье... Лучше уж несправедливым прослыть, высокомерным, страх и ненависть внушить — да только чтоб про слабость его не прознали, это конец.

Потому и выезжать перестал, на балы больным сказывается, общение прекратил — никто похвалиться не может, что рядом с ним был, говорил запросто. Занятостью объясняют, здоровьем, праведностью натуры: мол, все в работе, уединение и книги предпочитает, развлечений чужд... Ага! — я-то его помню чиновником мелким: услужлив, общителен, веселье всегда разделит... а порой такие кутежи начальству устраивал, все умел достать, и цыгане, и женщины, и главное — никакой огласки, все шито-крыто!

Так что я не обижаюсь, что увольняют меня из службы. Дела свои исполнял исправно, в дурном не замечался... разве что подольститься не умел. Конечно: я его бедным знал, помогал чем мог, и поэтому теперь я человек для него нежелательный: могу сказать не то, знакомством скомпрометировать, старое напомнить... не должен быть большой человек знаком с таким ничтожеством, как я. Не может он иметь со мной ничего общего, даже в прошлом.

Так что прощай, брат. Уеду к себе в Малороссию, в деревеньку... может, женюсь еще, детишек нарожу. А все же, как вспомнишь иногда ночью, не спится, как мы с ним некогда в холодном номере один горшок щей трактирских ели... и слеза прошибает. Хороший был человек.

150 см. Слуга.

— Ты как смеешь, холоп, смерд, такие вещи поганым своим языком молоть, а?! Ну что „вашскородие“, „вашскородие“? Молчи, подлец! тут тебе полицейский околоток, а не кабак!

Вы, ребята, выйдете-ка: это дело государственным пахнет, я с ним, ракальей, один на один говорить буду. Да я таких вещей и повторить не смею, не то что записать. Двери плотнее затворите!

Ну, вставай с колен, хватит. Пропойца, босяк, ты как смеешь лгать, что в доме самого его высокопревосходительства служил? Врешь, сукин кот! я узнавал: ответили, что знать такого не знают!

Ну, так кто тебя надоумил говорить, что его высокопревосходительство... проссти, Госсподи, слова мои грешные... что он карлой стал? А?! Что портной в доме живет и каждый день ему платье другое шьет? Что каждый день измеряется — все меньше и меньше? Да сейчас я тебе дам промеж глаз — ты у меня разом меньше мышцы станешь!

Ты подумай дубовой своей башкой: а как он с людьми-то говорит? Ах, через двери. И еще из постели лежа, далее порога не пускает. Ну ты артист.

И ноги, значит, со стула до полу не достают? И обедать изволит в пустой столовой за закрытыми дверьми? И с женой... не твоего ума дело, негодяй!

Ты хоть понимаешь, что ты с ума спятил? А в присутствие... карету к подъезду подают, и никто не видит, как он садится? Складно! А на службе из нее выходит — тоже всем приказано подалее быть и не смотреть? А посетители что, слепые? Ах, издали, стол специальный ему сделали, маленький, чтоб не понять было.

И потому, говоришь, никто его не видит. А зачем тебе, козявке, его видеть? С тебя знать достаточно, что он есть, обязанности свои, самим государем определенные, исполняет и бдит о тебе денно и ночью. Он не фигляр, чтоб твари всякой на глаза выставляться.

Ты над кем насмешки допускаешь, злодей! Значит, он уже и до дверных ручек еле достает, и на пыпочки поднимается, чтобы на стол заглянуть, и

под стул прячется, если ненароком зайдет кто... и ест мало, как ребенок, — а на что ему много есть?

Ты чего гогочешь! Ах-ха-ха-ха-ха! тьфу на тебя... ха-ха-ха! Значит, бегаешь по резиденциям его высокопревосходительство в аршин ростом, носом на столы натывается, на детской мебели сидит...

Пятнадцать лет у него служил? И слуг он всех рассчитал? Ну, я тебя сейчас иначе рассчитаю, вложу розгами ума через заднее-то место. И — по этапу тебя вышлю, сочинителя...

70 см. Спаситель.

— Не люблю — не слушай, а врать не мешай. Да и не вру я, братцы, вот как на духу.

Я с детства вырезывать из дерева любил, пошел за папашей по столярной части, и мастерскую он мне оставил, царство небесное покойнику... ну да не о том речь. А только начал для забавы фигурки разные резать, на Сенном рынке сбывала их лотошница, — а кончил тем, что фигуры делал в модные магазины на Невский. И были мои фигуры лучше парижских или немецких. Лицо из цветного воска, парик натуральный — как живые. Дело собственное имел и доход, двух мастеров держал, пять учеников.

И вот заходят двое — господа. Вежливые, ласковые. А у меня вывеска была, золотом. И говорят: а можешь такую-то куклу изладить, чтоб за шаг от живой не отличить? А я — гоголем: хоть турецкого султана, хоть мать его. Говорят: заказ очень важный, надо, чтоб никто не знал ничего. Ни ученики, ни жена даже. Плата — тысяча серебром. Засомневался я, да ведь это три с половиной тыщи ассигнациями.

Обговорили размеры все, издал я фигуру — на

шарнирах, любую позу принимает. Огромная у меня тогда способность была... Потом они мне рисунков нанесли — какое лицо должно быть. С лицом я долго мучился, из глины раз десять переделывал, все их не устранивало. Четыре месяца всего работал без продыху. Уж так придирались — к каждому волосику. Бородавку на щеке — и то сколько раз переделывал.

Но — угодил. А зачем — не говорят. Ладно — ваши деньги, мой молчок. Похвалили они, сказали — завтра приедут забирать, и деньги завтра... А только ночью стук в дверь: по мою душу... Ты такой-то? — Я. — Пошли. — В карету, с боков зажали — и ночью через весь город. А карета без окон. Вот так: отлеталась пташечка...

Привозят: крепость. Выходи. Я было в ноги — а меня по рылу. Наковали железы — да в камеру. В каком же таком, думаю, деле я оказался?

Трижды в день еду мне в окошечко ставят, да по утрам парашу забирают. Тишина и камень кругом. За окном птвички поют, а не видно: железным листом окно забрано.

Ну, да это все известное дело, что говорить. А когда царь преставился и новый царь стал (про то я после узнал), перевезли меня в тюрьму, да и по этапу в каторгу: бессрочный особого разряда, родства не помнящий. А я и рад не помнить: молчу, чтоб хуже не было; сообразил, что молчать уж лучше...

А в каторге уже, в Краснокаменском остроге, был у нас один из благородных. При лазарете, доктор бывший. Я занемог раз, попал в лазарет, а потом кормился долго там, помогал ему. Он без креста был, но человек в остальном неплохой, понимающий. И оказалось, братцы, что страдаем мы с ним по одному делу. Во, а?

Он доктором был при одном высоком генерале.

Генерал в большой силе был, лично к царю приближен. И напала на него болезнь: стал расти обратно — уменьшаться. Доктор его и так, и сяк — уменьшается!

Росту он был огромного, пока до нормального уменьшался — все ничего. Может, кто и подметил — да молчал. Чтоб большой генерал тебя из жизни выкинул — ему много роста не надо. Со страху да выгоды и карлика великаном именуют.

Но дело совсем плохо стало: уменьшается генерал да уменьшается. Уж под столом проходит: аршин росточку. Это уже скандал невиданный и оскорбление генеральского чина. Чего делать?

Генерал службу бросать не хочет: жалко ему. Его сам царь знает и ценит. И хочет новые высокие должности дать. А царю перечить нельзя. Как про такое доложишь? огорчится он за любимца, и навечно ты за такую новость в немилость впадешь.

А главное — генерал свою беду от всех скрывает. Работу всю за него подчиненные делают. Он им за то — награды. Повысится — и их за собой повысит. Им тож невыгодно его терять: со старым-то хозяином спелись, а нового еще как найдешь.

А прознают враги генерала про такое его уменьшение — сразу его без масла сожрут.

И умы нельзя смущать такими чудесами и безобразиями: уважения не станет к генералам и к власти, если они могут в аршин ростом быть.

Но иногда надо же людям показаться: хоть в карете по городу, хоть с балкона. Не то слухи пойдут — и рога тебе придумают, и что с ложки кормят, и из ума выжил, и вообще помер, мол, да это скрывают.

Понял, куда я гну? Вот для чего куклу я делал. Одеди ее в генеральское — и показывали иногда, чтоб сомнений не возникало. Не ответит — что ж, думает. Не встанет — устал.

Потом, говорят, механизм к ней сладили, что и садится и встает сама, руку поднять может. Движения неловкие? а ревматизм, суставы болят, в молодости в военных походах застудил.

И все отлично. Он себе управляет по-прежнему, награды получает, слушников наказывает, в чинах растет. А что ростом с кошку — то никому не ведомо, фигура за столом — а он сидит под столом и приказы пишет. Пустит посетителя — развернет фигуру в кресле спиной к нему, бумагу ей в руки вложит — мол, занят, читает; а сам говорит из-под стола. Посетитель стоит у дверей, трясется: горд генерал, сердит, раз даже не повернется.

Утром фигуру — на службу в карете, вечером — домой. Сопровождает ее огромный адъютант, а сам генерал под его шинелью-то и прячется, за пазухой тот его пронесит на место. Адъютанту зачем выдавать? ему хорошо, а чуть брякни — разжалуют приказом в солдаты, да на войну. Тайна.

Вот для тайны меня-то в бессрочную и укатали. И доктора, что лечить его пробовал, — тоже, с которым мы встретились. А каторжному кто поверит. Ты вот веришь? Ну и дурак. Дай ножик, я тебе сейчас такую куклу вырежу, что ты не видал никогда...

15 см. Любовница.

— А говорят, ты с ним была когда-то, — правда, аль брешут? А правда, что ты в хоре тогда пела и плясала? и квартира своя была на Подъяческой? А потом тебя отовсюду... и к нам сюда... да ты не обижайся. А он тогда нормальный был?

А девки говорили, он с огурец ростом, вершка четыре: такого наплели — и смехота, и срамота... мы все утро смеялись.

А он тебе денег много давал? Конечно: граф...

Эх, мне бы такого, я б сейчас в собственной карете ездила, а не здесь, по десяти гостей за вечер принимала.

Правда — любила?.. Первый... вот оно как. Не плачь — ему-то небось счас хуже, чем нам.

Говорили — на службу его телохранитель в кармане носит. А в кабинете посадит остороженько на стол, а там столик, стульчик — кукольные. Бумажка нарезана с почтовую марку, перышки воробьиные точены — и он приказы пишет. А чиновники их в увеличительное стекло читают и исполняют. А буковки-то крохотные, не разобрать, да и головка у него как у голубка, разве такой головкой сообразишь что? Вот и пишет каракульки, а чиновники делают что хотят, а ему врут все, что исполняют. А он как проверит? ему и самому все равно, абы жить как живет в своей должности.

Как представляю себе жизнь эту... бедненький! Дети в гимназию уходят — пальчиком его тронут за плечико — мол, до свиданья! Жена его небось в тарелке купает по субботам, кончиком пальца намыленным... ха-ха-ха! Маникюрными ножничками подстригает — боится головушку отстричь. Слушай, а как они спят-то? ха-ха-ха! Ой, па-адумайте, цаца какая, оскорбили слух ейный.

А как он у детей уроки проверяет? Бегает по тетрадке и буквы по одной читает? Да, тут деткам не скажешь — берите пример с папочки... уж лучше сума да тюрьма.

А в кабинете его, говорят, огромное увеличительное стекло, и в него его рассматривают — и он размером для посетителя как настоящий. А шьет на него одна модистка — как на куколку. Ордена у него — дак ему такой орден и на спиночку не взвалить, крошечке. Кушает ложечкой для соли из кофейных блюдечек, они как миска огромная ему. Про другое уж не говорю.

А верно говорят, что он до баб охоч был? А что ж теперь? — такая неприличность, тьфу! умора. Девки за кофеем так хохотали про это, такого представляли безобразия, как он кого к себе на ночь требует да что делает... бегаёт и бесится гномик... мерзость какая.

Я б на месте графини его в банку посадила да смотрела, и все. А все же — богатство, честь, есть-пить сладко, жить в палатах. А ты б согласилась быть с огурец, а жить в чести и богатстве? Я — да.

А вдруг птица склюнет? Или кошка съест? Или в чашку с водой упадет — да и утонет?

Это ж любой враг — щелк по голове, и нет тебя! И, говорят, он многих подозревает: чуть заподозрил — сразу в Сибирь! Никто при нем долго не держится. Я б на их месте его выбросила на помойку, и дело с концом, а у них порода такая: подслужиться надо, хоть ты с перст ростом, а раз начальник — служат тебе.

Представляешь: стоит перед ним здоровенный гренадер, а он на столе своим ножками топает, потом двумя ручками за волосок в усах гренадерских ухватится — и ну вырывать! Да я б в него раз плюнула — и снесло б его в окно!

Да... а если настоящий, большой усы вырывать станет — это еще хуже, больно, вырвет все... уж лучше этот, игрушечный... да уж больно обидно от него, козявки, терпеть!

Слышь — а говорят еще, что он не один такой... Это у них, у графьев и министров, есть такая болезнь специальная, открыли ее. В булочной сказывали утром, что многие из них такие, потому и не показываются никому. И поэтому и злобствуют против народа и своих же, что боятся, как бы ни случилось что с ними. А чем держаться-то им? только страхом! Пока боятся его — и рады, что он

не показывается, и трогать его никто думать не смеет. А тронешь — и нету его, болезного.

Не, она врать не станет, у ее нитка жемчужная им подарена, и к завтраку на извозчике приехала, прямо от него, глаза так и вертятся от удивления. Хотела я еще, говорит, ему ротик зажать — да в карман и сюда привезти, — вот бы потеха была! да боязно.

Чего — бабушкины сказки? Саму ее почал, до желтого билета, — это не сказки? А сказали бы тебе в хоре твоём, когда и квартира, и карета, и граф в полюбовниках, что девкой в трехрублевом заведении будешь — что, поверила бы? Все в жизни бывает, люди зря говорить не станут.

0,0. Память.

— Половой, еще пару чаю! А кенарь-то распелся, а, шельмец!..

Дак вот, робяты, што я вам скажу: на самом-то деле все это сказки. Почему? Да потому, што на самом-то деле его и не было на свете никогда.

Ты обожди мне кукиш совать, а то сам и выкусишь. Ну чего — памятник? Памятник можно и Бове-королевичу поставить, а кто того Бову самого видел? То-то.

Я твои байки уже слыхал. Что делается он меньше да меньше, что носят его в мыльнице, что кричит он в специальный рупор бумажный, а человек ухо приставит и еле слышно, что разглядывают его в подозрное стекло, стал он с наперсток, потом с муравья, а потом такая соринка, что и не разглядеть.

И значит, по-твоему, что чиновники сами пишут за него приказы, офицеры сами отдают команды, все всё сами делают, а кланяются пустому креслу и ему и служат. А если так, то они и раньше, зна-

чит, могли без него обойтись, верно? Вот и обходились.

Нет такого закона в природе, чтоб человек уменьшался! А вот чтоб его вовсе не было — такой закон есть. А еще есть такой закон, что каждый норовит лучший кусок ухватить... а ну положь мой расстегай, ишь, разинул пасть-то!

Дак вот: эти, которые чиновники и офицеры-генералы, каждый сам хочет на то кресло сесть, а других не пустить. И вот никто из них одолеть не может, другому помешать еще есть силы, а самому занять — уже нет. И тогда они договариваются: пусть считается, что кто-то его занял, придуманный, несуществующий — ни вашим, ни нашим, никому не обидно. А дело, мол, будем делать, как и раньше делали. Отсюда и сказки про исчезнувшего начальника, которого на самом деле никогда не было, а только кресло пустое. Понял? Плати за сахар, раз понял, без сахара пущай исчезнувший пьет.

Ножик
Серёжи Добратова

Случайно на ноже карманном
найди пылинку дальних стран...

Александр Блок

В Копенгагене я сделал сделку. Заработанные лекциями деньги сунул в свою книжку, а книжку подарил журналистке из газеты с трудновоспроизводимым названием. После чего пошел по магазинам.

Одна из попавшихся кожгалантерейных лавок прогорала в дым, судя по ценам. Роскошный кейс с номерным замком, стоявший напротив полторы тысячи крон, здесь предлагался за сто пятьдесят. Я вспотел, час пытаюсь обнаружить суть подвоха. Жалко тратиться на подарок себе самому, разве что ты на этом здорово сэкономишь. Бедный пластмассовый „дипломат“ мне омерзел. При малейшем недосмотре он вдруг делал „Сезам, откройся!“, вытряхивая барахло под ноги прохожим. В Венеции он раскрылся на мосту, и фотоаппарат прыгнул из него в канал, только булькнул. Ненавижу Венецию.

Магазин закрывался. Я принял решение. Продавщица сломала ноготь, выставляя мои любимые числа. После чего я достал бумажник и показал ей, что там пусто. В более темпераментной стране меня бы убили.

Вялый народ эти датчане. Недаром викинги перед дракой нагрызались мухоморов.

Редакцию все давно покинули. Журналистка отправилась проводить уик-энд на яхте. Вы видели

фильм „Торпедоносцы“? Так яхт там чертова про-
рва, все берега заставлены.

Пароход у меня уходил в восемь утра! А через
наш банк получишь лишь соболезнование о валют-
ных трудностях державы. В кармане брякала ме-
лочь, сигареты кончились. Хотелось жрать. Хо-
телось выпить и отвести душу.

Я побрел найти немного понимания к московской
знакомой, недавней эмигрантке. Она жила в центре,
зато без горячей воды. Мы выпили водки, закусили
бананом и обматерили Данию.

Последним её впечатлением о родине было зна-
комство с Александром Кабаковым. Это сильное и
приятное впечатление еще не изгладилось, оно под-
питывало ее интеллектуальный патриотизм.

Пока она по частям мылась холодной водой,
я стал читать „Сочинителя“. Автор наслаждался
мужской любовью к женщине и оружию. „Он с тре-
ском вспорол брезент швейцарским офицерским но-
жом с латунным крестом на рукояти“.

Если швейцарские офицеры соответствовали
своим ножам, то их можно ловить сачками. Я начал
открывать „дипломат“, и из блокнотов и книг вылет-
тел под ноги замерзшей хозяйке именно швейцар-
ский офицерский нож. Он размером в палец. Со мно-
жеством складных штучек для облегчения офицер-
ской службы. Им можно нарезать колбасу, открыть
бутылку, провертеть дырочку для ордена и вы-
рвать волосок из носу.

Этот ножик подарил мне Довлатов. В таллин-
нском журнале „Радуга“ мы напечатали впервые в
Союзе его рассказы, и он переслал редакции подар-
ки: пробный флакончик французских духов, что-то
пишущее и складной ножик с латунным крестиком
на вишневой пластмассовой щечке. Редакция была
дамская, ножик взял я. Приложенная в футляре ин-
струкция на пяти языках, включая китайский, про-

свещала: „Швейцарский офицерский нож! Из наилучшей стали!“ Китайский язык объяснялся местом изготовления: там дешевле.

Теперь-то мы извели качество дешевых китайских товаров. Возможно, оно основано на надежде свести продолжительность, и без того краткую, нашей жизни, и без того горестной, к веку воробья, истребленного рисоводческим кооперативом. Страдающие недостатком жизненного пространства, китайцы умны, терпеливы и настойчивы. Их зоркие, прицельной суженности глаза вежливо смотрят через Амур. Восток научился проникать удаленность времени и пространства задолго до скудоумных итальянцев с примитивом их линейно-геометрической перспективы. И в дальней перспективе, где держава перетекает и делится, как амеба, никуда мы не денемся от передела территорий. Пьеса о территориальном суверенитете написана давно и называется „Собака на сене“.

Когда-то я жил на китайской границе, на Маньчжурке. Рубежная станция Забайкальск называлась тогда Отпор! Доотпирались.

И китаец звучало у нас символом честности и трудолюбия. Несравненное качество китайского ширпотреба памятно старикам. Равно как и победоносная борьба с мухами, воробьями и гоминдановцами. Смелый, как тигр. Двадцатизарядный маузер Ли Ван-чуня не могло заклинить.

Восторгающие „Пионерскую правду“ любовь и уважение к братским китайцам не мешали пацанве травить бурятов. То, что буряты жили в этой степи покоен веков, было их личным и никого не колышущим горем. Бурят было словом ругательным. Синонимом его было слово дундук.

Много лет спустя, студентом ленинградского университета, практикант в журнале „Нева“, я с недоверчивым удивлением узнал от завпроезом, покой-

ного Владимира Николаевича Кривцова, писавшего тогда роман о первом российском после в Китае отце Иакинфе Бичурине, что до революции, при изрядной малограмотности в России, мужчины монголы и буряты были грамотны поголовно и весьма. Мальчиков отдавали на воспитание в дацаны, откуда они возвращались обученными и причастившись восточных мудростей. Это мы им потом дацаны закрыли, лам перешлепали, а прочим ввели кириллицу: Маша мыла раму.

Вот в этом же отделе прозы я впервые услышал фамилию Довлатова. Я вообще услышал там много нового и интересного. Например, что Октябрьская революция — ну и что, сделали лучше? Я кляднул от неожиданности своими белыми комсомольскими зубами; что же касается ответа, так это сейчас, двадцать три года спустя, все стали умными и храбрыми.

За эти двадцать три года задавший мне этот вопрос с ехиднейшей и ласковой улыбкой Самуил Аронович Лурье, старший (и тогда единственный) редактор отдела, ах Джон, а ты совсем не изменился. Неизменно — худ, лыс, сутул, узкоплеч и очкаст: гуманитар-интеллигент, разве что зав в том же отделе. Нужно было пережить застой, перестройку, распад, полдюжины главных и ответсекров, непотопляемо пройти скандалы и суды, сдать роскошные покои фирмам и ужаться в боковые комнатки, обнищать и уменьшить формат на скверной бумаге, чтоб открылось: что сутулость скрадывает высокий рост, из растянутых рукавов свитера торчат ширококостные волосатые запястья, в объятии Саша Лурье жилист и тверд на ощупь и хорошо познается в способности твердо принимать любое количество спиртного, отличаясь изящнейшим умением по мере вливания интимно поведывать гадости тому, кто платит за выпивку. Учитывая должность

и реноме лучшего ленинградского критика, поставить ему хотели многие. Справедливость требует отметить, что из этих многих у очень малых доставало умственных способностей вычленить суть витиевато-иронических фраз, которые с тонкой ухмылкой накручивает им на уши поимый собеседник.

Лурье и пересек меня с Довлатовым забавным образом. Это образ всех его действий.

Я был старательным практикантом. И мою старательность решили поощрить материально. Возможно, к тому отдел прозы подтолкнула совесть. В течение месяца всю работу в охотку делал я один, освободив зава и редактора для их собственных творческих нужд. Я не перенапрягался. В числе непонятого мною в литературной жизни осталось, чем могут заниматься в ежемесячном журнале больше трех человек. Некрасов был вообще один, не считая как раз Авдотьи Панаевой и ее мужа Панаева: их функции изучены литературоведами и понятны. Мое непонимание встречает у тружеников редакции раздраженный протест.

Меня решили оплатить посредством редакционного гонорара за отшибную внутреннюю рецензию, из расчета три рубля за авторский лист рецензируемой рукописи.

— Миша, — сказал Лурье, вручая мне папку с надписью „Сергей Довлатов. «Зона»“. — Пусть совесть вас не мучит. Напечатать мы это все равно не можем. Увидите: там зэки, охранники, пьянки, драки — Попов (главред) этого не пропустит в страшном сне. А если чудом решил бы пропустить — снимет цензура. А если не снимет — то снимут нас всех. Но этого, к счастью, произойти не может, потому что Попов дорожит своим креслом, и если встречает в тексте слово „грудь“, он подчеркивает его красным карандашом и гневно пишет на полях:

„Что это?“ И это после нашей редакции. А если он увидит слово, например, „сиськи“, его просто свезут в сумасшедший дом. Так что — пишите. Сами понимаете. Обижать человека не надо, хороший парень, я его знаю, в общем, все равно это не литература... сочините что-нибудь такое изящное, отметьте достоинства, недостатки, посетуйте в заключение, что „Нева“ не может это опубликовать. И обязательно пожелайте творческих успехов автору. Страниц пять, больше не нужно. Дерзайте: я не сомневаюсь, что у вас получится.

Вспоминая о Хемингуэе, Джек Кейли пишет: „При первом знакомстве Хемингуэй произвел на меня впечатление туповатого парня, и не раз производил такое же впечатление впоследствии“. Таким образом, „Зона“ не произвела на меня впечатление литературы. К моему облегчению, не пришлось даже кривить душой. Я всего лишь подошел к решению задачи с предварительным умыслом и готовым ответом. Позднее я узнал, что это называется журналистским профессионализмом.

И все-таки „Зона“ неким образом запомнилась. Она была не похожа на прочее, идущее в журналах.

Первая в моей жизни рецензия была лестно оценена талантливым ленинградским критиком и редактором Лурье и принесла мне тридцать рублей. Первый в жизни гонорар памятен, за что получен — памятно менее, а уж ничего не значащая фамилия автора, послужившая лишь предлогом к гонорару, изгладилась из воспоминаний быстро и начисто за событиями более интересными и значительными. С утра до ночи один в отделе я сортировал рукописные завалы, писал письма, правил гранки и в пределах малых полномочий дипломатично беседовал с посетителями, принимая свежие рукописи и уклоняясь от решительных ответов. Предмет моего злорадного торжества составляло редактирование иду-

щей в набор повести великого писателя Глеба Горышина про то, как он поехал на Камчатку, землепроходец. На Камчатку двумя годами ранее я на спор добрался за месяц без копейки денег от Питера, и цыдулю Горышина, пользуясь анонимной безнаказанностью внутриредакционной машины, переработал вдрызг. Опасался, что маститый автор возбужнет по ознакомлению с публикацией, но позднее не последовало ни звука. Цимес был в том, что проходивший в Ленинградской писорганизации под кличкой „Змей Горышин“, обликом более всего напоминал сподвижника Карабаса-Барабаса пивяколова Дуремара, а бездарностью казеиновую сосиску, являлся вышеупомянутой организации третьим секретарем, то есть имел довольно власти испортить кровушку любому.

За этим самозабвенным бесчинством и застал меня друг-однокашник Серега Саульский, трепетно донесший в редакцию свое первое прозаическое произведение. Заготовив фразы к беседе, он постучал под табличкой „Отдел прозы“ и водвинулся с почтительным полупоклоном.

— Присаживайтесь, добрый день, — казенно-приветливо бросил я, не отрываясь от художественного выпиливания по тексту.

— А... э... — подал ответный звук посетитель, и я узрел выпученные саульские глаза и опавшую челюсть. За двухметровым редакторским столом сидел я без пиджака и смотрел вопросительно.

С полминуты Саул напряженно соотносил визуальный ряд с семантическим. Потом выматерился и закрыл рот.

— Сука, — сказал он. — Пришел на хрен в святая святых. Молодой автор, тля, с трепетом. Первый рассказ на суд толстого журнала. А там Мишка Веллер в домашних тапочках.

— Гадская жизнь, — согласился я. — Когда ка-

дет Биглер становится генерал-майором и лично является беседовать с Богом, то Богом уже работает капитан Сагнер.

— А ты кем здесь работаешь?

— Практикуюсь.

— Я вижу. Так рассказ-то есть кому прочитать?

— Есть.

— Кому?

— Мне.

— Тебе-то на хрена?

— Прочту.

— Спасибо. Большое спасибо.

— Пожалуйста. Это наша работа.

— А дальше?

— Могу написать на него рецензию, — предложил я.

— Зачем?

— Для гонорара.

— И много ты уже написал?

— До фига. Одна под рукой — хочешь прочитать?

„Я иногда думаю, — признался Саул много позднее, — что вот это несовпадение ожидаемого и встреченного так на меня тогда подействовало, что именно поэтому я в „Неву“ ничего больше не носил. И никуда не носил. И вообще писать прозу бросил. К счастью. А вдруг, думаю, там опять какая-нибудь знакомая падла сидит. Разрушил ты, Михайло, хрустальную мечту юной души о храме высокой литературы“.

Мы с ним нажирались тогда в Париже, куда он переселился давным-давно, перебирая славные воспоминания.

— Ты писал хорошо, — сказал я. — Как, впрочем, и все, что ты делал. И бросил. Зря. Жаль.

Это была правда. Боксеры завидовали его боксу,

барды — песням, журналисты — статьям, все вместе и люто — его успеху у баб.

— Да ну, Михайло, какая на хрен литература, — сплюнул он с гримасой суперменистого киноактера в роли неудачника. — Кому, зачем... Когда Кортасар работал здесь в ЮНЕСКО, коллеги в комнате не подозревали, что он чего-то там пишет. Было время, Солженицына всюду продавали на килограммы — его знали. Вот Лимонов надрывался шокировать, как он негру минет на помойке делал — ошарашил: уровень откровенности непривычный, у всех метро продавали. Европейская культура... Хотя французскую любовь придумали, сами они полагают, французы, но если бы Бодлер описал на уличном аргю, как он делает минет Рембо, французы бы сильно удивились.

Еще в СССР, еще в миллионнотиражных журналах, еще шумела дискуссия о праве на литературную жизнь табуированных слов. С ученым видом поднимаясь над интеллигентской неловкостью, полумаститые писатели и доктора филологии защищали в печати права мата на литературное гражданство, светски впиливая в академические построения ядреный корень. Сыты лицемерием, хватит, свобода так свобода. Урезать так урезать, как сказал японский генерал, делая себе харакири. Уж отменять цензуру — так отменять, значит.

Из скромности я помянул, что первым в СССР табуированные, они же неприличные, нецензурные, матерные, грязные, площадные, заборные, похабные, слова напечатал ваш покорный слуга зимой 88-го года в таллинском журнале „Радуга“. Мы в трех номерах шлепнули кусок из аксеновского „Острова Крыма“ и, балдея от собственной праведности, нагло проговорили: мы не ханжи, из песни слова не вырубешь топором, автор имеет право. В набранном тексте матюги торчали дико. Глаз на

них замедлялся и шелкал. Главный скалил зубы и подначивал: „Давай-давай!“ Союз трещал, Эстония уплывала в независимость, главный был из лидеров Народного фронта, уже никто ничего не боялся — на полгода опережения российских событий, свобод и самочувствий: мат был волей, реваншем, кукишем. В этом опережении России скромная „Радуга“ первой в Союзе дала и Бродского, и Аксенова, и „Четвертую прозу“, и до черта всего. Смешное время, веселое, знали нас, знали, в столицах выписывали. Что мат!

Материться, надо заметить, человек умеет редко. Неинтеллигентный — в силу бедности воображения и убогости языка, интеллигентный — в неуместности статуса и ситуации. Но когда работяга, корячась, да ручником, да вместо зубила тяпнет по пальцу — все, что он при этом скажет, будет святой истиной, вырвавшейся из глубины души. Кель ситуасьон! Когда же московская поэтесса, да в фирменном прикиде и макияже, да в салонной беседе, воображая светскую раскованность, женственным тоном да поливает — хочется послать ее мыть с мылом рот, хотя по семантической ассоциации возникает почти физическое ощущение грязности ее как раз в противоположных местах.

Вообще чтобы святотатствовать, надо для начала иметь святое. Русский мат был подсечен декретом об отделении церкви от государства. Нет Бога — нет богохульства. Алексей Толстой: „Боцман задрал голову и проклял все святое. Паруса упали“. Гордящийся богатством и силой русского мата просто не слышал романского. Католический — цветаст, изощрен — и жизнерадостен. „Ме каго эн вейнте кватро кохонес де досе апастелес там бьен эн конья де ля вирхен путана Мария!“ Вива ла република Эспаньола!

Экспрессия! Потому и существует языковое

табу, что требуются сильные, запредельные, невозможные выражения для соответствующих чувств при соответствующих случаях. Нарушение табу — уже акт экспрессии, взлом, отражение сильных чувств, не вмещающихся в обычные рамки. Нечто экстраординарное.

Снятие табу имеет следствием исчезновение сильных выражений. Слова те же, а экспрессия ушла. Дело ведь не в сочетании акустических колебаний, а в той информации, в данном случае — эмоционально-энергетической, которую оно обозначает. Дело в отношении передатчика и приемника к этим звукам. Запрет и его нарушение включены в смысл знака. При детабуировании сохраняется код — информация в коде меняется. Она декодируется уже иначе. Смысл сужается. Незапертый порох сгорает свободно, не может произвести удар выстрела. На пляже все голые — ты сними юбку в филармонии. Условность табу — важнейший элемент условности языка вообще. А язык-то весь — вторая сигнальная, условная, система. С уничтожением фигуры умолчания в языке становится на одну фигуру меньше — а больше всего на несколько слов, которые стремительно сравниваются по сфере применения и выразительностью с прочими. Нет запрета — нет запретных слов — нет кощунства, стресса, оскорбления, эпатажа, экспрессии, кайфа и прочее — а есть очередной этап развития лингвистической энтропии, понижения энергетической напряженности, эмоциональной заряженности, падения разности потенциалов языка. Дважды два. Я так думаю, сказал Винни-Пух.

Ладно: писатели неучи, филологи идиоты, — обратились бы к Лотману за разъяснениями; сдались они ему все, у него жена болеет... Зара была еще жива, и Лотман был жив.

Ага, вот поэтому в самых половых сценах писа-

ний Лимонова или его жены Медведевой эротического чувства, со-возбуждения для читателя не больше, чем для старого гинеколога — в сотой за прием раскоряченной на кресле старухе. Ну, есть такое место, такие движения, и что? Обыденность слова сопрягается с обыденностью фразы и сцены. Возникает импотенция текста. Что связано с импотенцией, кстати, телесной, это вполне испытали на себе просвещенные раскрепощенные французы. Чего волноваться — обычное дело кушать, выпивать, зарабатывать деньги и совмещать свои половые органы. А волнение — это избыток чувства, энергии, а если ничем никогда не сдерживать — не будет избытка, а отсутствие избытка — слабосилие, затухание, упадок, конец. Вам привет от разврата упавшего Рима. Закат Европы. Смотри порники: там же никогда ни у кого толком не стоит. Работа такая.

Сим макарон к концу второй бутылки обнаружив, что литературная тема беседы естественно и плавно перетекла в сексуальную, мы ностальгически посмаковали приключения ленинградской молодости, помянув и лихой заезд с портфелем „Рымникского“ к двум красивым подругам, оказавшимся ночью злостными лесбиянками, чему предшествовала та встреча в редакции.

— Читаю я твою рецензию: ни хрена себе, думаю, сидит Мишка тут и решает, кого печатать, а кому отказать, а ему еще деньги за эти отказы платят! И только собираюсь предложить — напечатай, мол, а гонорар вместе пропьем, как он и говорит: будь моя воля, я бы это, конечно, из интереса напечатал. Эге, думаю, парень, да тебе печататься легче, чем ему, ровно на одну инстанцию — на себя самого. Так что теперь — настала твоя воля?

— Воля моя, воля... Наливай да пей.

— Сейчас тут Довлатова всего издали. Вижу —

„Зона“: вспомнил, дай, думаю, куплю — о чем хоть речь-то шла. Ты его знал? — спросил Саул.

— О, провались он пропадом, — сказал я. — И в Париже, в Венсенском лесу, под луной, нет мне покоя!

Много лет Довлатов был кошмаром моей жизни.

Кто ж из нынешней литературной братии не знал Сережи Довлатова? Разве что я. Так я вообще мало кого знаю, и век бы не знал. Он со мной общался, как умный еврей с глупым: по телефону из Нью-Йорка. То есть просто все мои знакомые были более или менее лучшими его друзьями: все мужчины с ним пили, а все женщины через одну с ним спали или как минимум имели духовную связь. Большое это дело — вовремя уехать в Америку.

Он сыграл в делах моих, этом дурном сне, большую роль. Ее нельзя назвать слишком позитивной. Это была роль шагов Командора за сценой. Хотя сам он о том не мог предполагать. Когда я узнал о нем, он уже никак не мог знать обо мне: он уже свалил. Чем еще раз подчеркивалось его умственное превосходство.

В ту эпоху звездоносный генсек Брежнев придал новое и совершенно реальное значение метафоре „ни жив ни мертв“. Реанимация напоминала консилиум над телом Буратино. С неживой невнятной речью и неживыми ошибочными движениями он выглядел кадавром столь законченным, что из года в год представлялся все более бессмертным. То есть разум понимал, что ему полагается умереть, но эта в любой момент возможная и ожидаемая, но никогда не наступающая смерть в конце концов стала столь же неопределенно-отдаленной абстракцией, как тепловая смерть вселенной. Его состояние на грани иного мира стало константой общественного бытия.

В этом общественном бытии моим рассказам ме-

ста не было. На чем настаивали все известные мне журналы и издательства. Мое сознание не хотело определяться бытием. Сделай или сдохни.

Эстония в Ленинграде славилась изобилием и либерализмом. Бытие и сознание здесь были подточены поздним приходом советской власти и приемом финского телевидения. Ветерок дотягивал в щель форточки забитого окна, которое Петр прорубил в Европу. Светил какой-то шанс.

В издательстве „Ээсти Раамат“ рукопись одобрили в принципе.

— Но есть одно условие. Мы издаем книги только местных авторов, живущих здесь постоянно.

Ясно. Естественно. А то поднапрет разных, захлестнет вал. Да я буду жить в Кушке, в Уэллене, в Дудинке, только оставьте шанс. Не уверенность, не гарантию: хоть запах реального шанса.

— Таллинн — режимный город, — сказали в паспортном столе. — Для прописки нужно ходатайство с места работы, оно будет рассматриваться. А на какую площадь вы хотите прописаться?

В республиканской газете „Молодежь Эстонии“ посмотрели мои старые вырезки из многотиражек.

— Мы вас возьмем. Есть штатная вакансия. Но, конечно, нужна прописка. Вы уже переехали в Таллинн?

И я проволокался сквозь все круги обыденного бюрократического ада, коридоры, очереди, заявления, выписки, справки, резолюции, подписи, печати, милиции, паспорта, жилконторы, очереди, записи, очереди — и переехал в Таллинн.

И первое, что меня спросили в Доме печати:

— А Сережку Довлатова ты знал?

— Нет, — пожимал я плечами, слегка задетый вопросами о знакомстве с какой-то пузатой мелочью, о ком я даже не слышал. — А кто это?

— Он тоже из Ленинграда, — разъяснили мне.

Я вспомнил численность ленинградского населения: три Эстонии с довеском. — Он тоже писатель. В газете работал.

— Где он печатался-то?

— Да говорят же: вроде тебя.

Это задевало. Это овладевало напоминанием о малых успехах в карьере. Я не люблю тех, кто вроде меня. Конкурент существует для того, чтобы его утопить. Я не интересовался салонами, компаниями и „внутрилитературным движением рукописей“; слово „андеграунд“ еще не употреблялось, как и слово „тусовка“.

— Серенька был, можно сказать, первое перо Дома печати.

Мое перо, трудолюбивый и упрямый ишак, не хотело писать для Дома печати. Мне было тридцать, и пять лет я не делал для заработка ни строчки. Халтура — смерть. Но для книги требовалась прописка, а для прописки авторитетная работа. В детстве доктора говорили, что у меня повышенный рвотный рефлекс.

Над первым материалом, заметкой о знатной учительнице, я потел и скрежетал неделю. Я добивался глубин мысли, блеска стиля и изысканной лаконичности — при сохранении честности. Главный редактор, человек добрый настолько, что редакция жрала его поедом, не давясь отсутствующим хребтом, Вольдемар Томбу, тактично подчеркнул несколько строк:

— Вот вы пишете: „Ибо во многой мудрости много печали...“ Разве на самом деле это так? Вы правда так думаете?..

— Э... — замялся я. — Но ведь это, в общем... фраза известная, расхожая, так сказать... из классики.

Томбу помолчал. Спросить откуда, не позволяло его положение. Про Экклезиаста я, по понятным

причинам, акцентировать не стал. Склонность к цитированию Священного Писания не могла быть поощрена органом ЦК комсомола, хотя бы и Эстонии.

— Ну, — мягко улыбнулся Томбу, — мы ведь с вами понимаем, что, в общем, это не так?.. Давайте лучше напишем: „Ибо во многой мудрости много пища для размышлений“. Согласны? Вот, — добрым голосом заключил он.

Драли с тех пор с меня многочисленные редакторы, как с сидоровой козы, семь шкур, но и поныне пикантнейшим из воспоминаний остается первое сотрудничество с эстонской прессой: как редактор „Молодежки“ отредактировал царя Соломона.

Да. Оптимизм — наш долг, сказал государственный канцлер.

Через месяц, поставив руку, я строчил, как швея-мотористка. В работе газетной и серьезной плуг ставится на разную глубину. Наука это нехитрая: как оперному певцу научиться снимать голос с диафрагмы, чтоб тихонько подвывать шлягер в микрофон. По мере практики голос, без микрофона, начинает „срываться с опоры“, „качаться“ — и оперному певцу хана. Писание на Бога и на газету — при формальном родстве — профессии принципиально разные, смешивание их дает питательную среду для графомании и алкоголизма.

Однако в штат ставить не торопились. Говорили комплименты, с ходу печатали все материалы, исправно выдавали гонорар, а вот насчет штата Томбу уклончиво успокаивал, просил обождать недельку. Шли месяцы.

Много лет спустя я узнал, что добрый и честный Томбу раз в неделю ходил в ЦК и устраивал тихий эстонский скандал.

— Человек специально приехал из Ленинграда, — разъяснял он. — Журналист высокой квалификации. Была предварительная договоренность.

Я сам его пригласил на место. Обещал. Место пустует. Брать некого.

— Что значит некого? Почему же вы не готовите кадры?

— У нас не журфак и не курсы повышения квалификации. У нас республиканская газета. Вас волнует уровень вашей газеты?

— Нас волнует истинное лицо сотрудников нашей газеты. Просто так из Ленинграда не уезжают, знаете. Чего он уехал?

— Полмиллиона русских приехали сюда из России, — кротко отвечал Томбу. — Вы хотите поднять вопрос, почему они уехали из России?

— Он нерусский, — сдержанно напоминали в ЦК. — У нас в русских газетах и так работает половина евреев.

— Так что мне теперь, в газовую камеру его отправить? — не выдерживал Томбу.

— Не надо шутить. А если он возьмет и уедет в Израиль?

— Если бы он хотел поехать в Израиль, то почему он поехал в Эстонию? Перепутал билетную кассу?

— Вы можете ручаться, что он не уедет?

— Да, — говорил Томбу. — Я ручаюсь.

— Толку с вашего ручательства. А историю с Довлатовым вы помните? — приводили решающий аргумент в ЦК. — Тоже ручались: прекрасный журналист, все в порядке, надо взять, — а чем это кончилось?.. Нам второй раз такой истории не надо.

— При чем здесь Довлатов? — не соглашался Томбу.

— Как при чем? Тоже: писатель, талантливый, из Ленинграда... а потом — скандал, КГБ, рукописи — и эмигрировал в Америку!

— Он его вообще не знал! — отмежевывал меня Томбу от бывшего замаскированного врага.

— Одного поля ягоды, — реагировали в ЦК. — Точно тот же вариант. А не знать его он не мог — вы посмотрите, ведь все совпадает, как у близнецов. А он продолжает настаивать, что не знает. Значит, скрывает. Значит, есть что скрывать. Вы понимаете?

Эта майская песня кончилась в сентябре: меня взяли временно на место, как водится, ушедшей в декрет машинистки. Она уже родила, и теперь по утрам тошнило меня. Бессмысленность работы убивала. Какая „вторая древнейшая“! По сравнению с советским газетчиком проститутка вольна, как Ариэль, и богата, как министр госкомимущества. Я понял, что такое фашизм: это когда добровольно и за маленькую зарплату пишешь обратное тому, что хочешь. В пыточные камеры мне был определен отдел пропаганды. Над столом я прилепил репродукцию картины Репина „Арест пропагандиста“. Глядя на живопись, я поступал в жандармы, крутил руки за спину заведомо пропаганды Марику Левину и, тыча ножнами шашки под ребра, гнал его в сибирскую каторгу. Я стал нервным.

— А вот Серега Довлатов, он запивал иногда, что ты, — поведывали коллеги. — Потом однажды похмелялся, садился с утра и т-такое выдавал — пачками! Для газеты одно, для себя другое.

Мое для себя другое тем временем тащилося сквозь издательские шестерни. Мельница Господа Бога мелет медленно, успокаивал редактор. История повторялась, как кинодубль с другим составом статистов. Закулисная механика от меня скрывалась.

Умный главный редактор издательства ознакомился с рукописью сам и пошел в ЦК. Пуганая ворона хочет выжечь кусты из огнемета. Или старается договориться с ними лично.

— А почему он уехал из Ленинграда? — спросили его.

— А почему не спросить об этом четверть миллиона русских, которые приехали в Таллинн из России? — спросил Аксель Тамм.

— Это хорошая книга?

— Я бы пришел из-за плохой книги?

— Так почему ее не издали в Ленинграде?

— Я не заведую Лениздатом. Я работаю в „Ээсти Раамат“. Кто-то мной недоволен?

— У него были там неприятности? Трения, инциденты?

— Что вы имеете в виду?

— Перестаньте. Вы понимаете, что мы имеем в виду.

— Ничего не было.

— Откуда вы знаете? Вы проверяли?

— Нет. Если бы что-то было, я бы знал.

— Это еще надо проверить.

— Проверяйте.

— А почему он приехал именно к нам? Он эстонец?

— Нет, он не эстонец.

— А кто?

— Еврей.

— Так почему он не поехал издаваться куда-нибудь в свою Россию, в Сибирь, в Томск, в Омск?

— Он еврей. Кто его там будет издавать?

— Так почему он не поехал издаваться в свой Израиль? А если он уедет в Израиль?

— Зачем ему ехать в Эстонию, если бы он хотел уехать в Израиль?

— Как знать. Точно так же вы тут несколько лет назад выступали насчет Довлатова. Кого защищали? Алкоголик, диссидент, антисоветчик, арест, посадили: теперь в Америке. Хватит с нас одного.

— Он не имеет никакого отношения к Довлатову.

— Что значит — не имеет? Точно то же самое. Не следует ошибаться еще раз.

Машинистка вернулась из декрета. С облегчением и ненавистью я навсегда распрощался с газетной работой. И тут издательство выпнуло мне рукопись, сопроводив похривающей рецензией. Я впал в непривычную растерянность. Совсем не то обещал мне ярл, когда приглашал в викинги.

Я лишился ленинградской прописки. Поменял комнату в суперцентре, Желябова, угол Невского, на хибару таллинской окраины. Дама ваша убита, ласково сказал Чаплицкий. Корнет Оболенский, дайте один патрон. Мне было решительно обещано место в республиканской газете. Редактор уверял, что книга прекрасная и проблем с выходом не будет. В итоге я получил полную возможность поведывать за злым зельем свои печали эстонской килькепряного посла, закусывая ею из разбитого корыта.

Проклятый мифический Довлатов заварил мне ход. Он выработал Таллинн и свалил. Я шел по его следам, и вся малина на тропе была обгажена. На тропе был насторожен капкан, и я вделся. Я бы его повесил.

— Ну разве не стоит ему за это когда-нибудь въехать? — жаловался я в ответ на очередные легенды о Довлатове. Теперь я помнил хорошо, кого читал и рецензировал в „Неве“.

Ах, не фраер Боженья: всю правду видит, да не скоро скажет. Ко мне вернулся мой камушек, из пращи да булдыган в лоб. Много-много лет спустя посетила меня эта суеверная мысль. А вот не шейте вы ливреи, евреи.

— В нем было два метра росту, — снисходительно говорили мне наши общие приятели.

— Если б во мне было два метра, я бы вообще всех убивал, — злобно цедил я. В боксе есть при- сказка: длинного бить приятнее — он дольше падает.

Моя биография вдруг стала укладываться в ко- лею, как складная головоломка, которую мне было не решить.

Куда податься? Для тебя, Веллер, Монголия за- граница, сказали когда-то на филфаке, не понимая, за каким хреном и благами я-то влез в комсомоль- скую работу. Велика Россия, а отступать приходит- ся на запад. Некуда мне было ехать. Приехал.

Во-первых, подача заявления на выезд уже ав- томатически означала, что мой отец вышибается без пенсии из армии, а брат — с волчьим билетом из института. Во-вторых, эмиграция была уже как раз только прикрыта, все, Олимпиада прошла, вы- езд кончился.

А главное — я не мог уехать побежденным. Вот не мог — и хоть ты тресни. Они меня достали. Об- ложили со всех сторон. Прижали к стенке. И я дол- жен был сделать свое. Не можешь — делай через не могу. Или сдохни. Смысл жизни был прост, как гвоздь в мозгу. Я должен был издать эту книгу здесь, в Союзе. А потом можно валить куда угодно к чертовой матери. Потом точно свалю. Женюсь, сбегу. Но не потому, что они меня победили и заста- вили. А потому, что я сам так решил. Иначе я дерь- мо, и так мне и надо. Я не буду неудачником.

Воспитание в далеких гарнизонах и мордобой в хулиганской юности способствуют целеустойчи- вости.

Оставалось одно. Сидеть на месте и тихой сапой рыть траншею вперед и вверх. А там — хоть это не наши горы, но тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх, до самой вершины. Хэйко банзай!

Но раздражение мое нетрудно себе представить.

Мало мне своих бед — так еще тень довлатовских подвигов простерлась на меня.

Летом я отправился на Таймыр и завербовался на промысловую охоту. Работа жестокая и грязная, усталость и недосып, гнус жрет, и все переживания мельчали и утрясались: а нет причин для тоски на свете, слушай, детка, не егози.

Я просыпался до срока от наработанной зимней бессонницы, крутил приемник у костерка, вылавливая музыку далеких цивилизаций, ребята постанывали во сне, дергая изрезанными руками, и я в привычный за которое уже лето раз ощущал себя на самом краю земли, и из этого далека все эти несмертельные мои проблемы казались простыми и ясными: есть шанс? паши и не дергайся.

Заработка должно было хватить на прокорм до следующего лета. Вернувшись, я переложил печку в камин, колол дрова, гулял по взморью, писал рассказы: готовил сборник. Сдав его в издательство, спокойно ждал, что и его выпнут, я составлю следующий и принесу его, и в конце концов протаранится, в жизни нужна тактика бега на длинную дистанцию, не рви со старта, не суетись, и удача благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет.

Пытка неизвестностью придумана давно и действует исправно. Тихо-тихо тянула из меня все жилы издательская машина. Я мог лишь ждать и не сорваться — никто, ничто и звать никак. Пассивный залог в русском языке называется страдательным.

Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже.

На выход книги я поставил все. Больше у меня в жизни ничего не было. Я покинул свой город, семью, любимую женщину, друзей, отказался от всех видов карьеры, работы, жил в нищете, экономил чай и окурки, ничем, кроме писания, не занимался.

Год шел за годом. Ночами я детально обдумывал поджог дома рецензента, убийство редактора, самосожжение в издательстве. Я бы спился, но пить было не на что. А зарабатывать деньги на пропой, тратя необходимые на писание время и силы, было идиотством.

Позднее вскрылись и донос в КГБ — на что живет? тайные деньги с Запада! — с последующей годичной проверкой, и письмо в Госкомиздат СССР — вредная, чуждая рукопись! — и внутренние счета и интриги: штатные доброжелатели из литературно-осведомительских структур бдели.

Пронеслось четыре года... Это ново? так же ново, как фамилия Попова, как холера и проказа, как чума и плач детей.

И когда вышла „Хочу быть дворником“, клиент был готов. Я лежал. Разделить радость мне было не с кем, да и не было никакой радости. Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула. Вставал я для того, чтобы поесть, выпить и дойти до туалета. Бриться, мыться, чистить зубы — энергии уже не было. Когда кончались еда и водка, раз в несколько дней брал пару червонцев из гонорарной пачки и плелся через дорогу в магазин, дрожа от слабости, оплывший и заросший. Я мечтал, чтобы вдруг приехал кто-нибудь бодрый и сильный, поднял меня за уши, выполоскал в горячей ванне с мылом, выбрил, переодел в чистое и отнес лежать на берег теплого моря. Там через месяц я бы оклемался. Но уши мои так и остались неостребованными.

Кончилась зима, прошла весна, и в нежном трепете июньской листвы я ощутил прилив активной злобы и презрения к себе. Чувства эти были вызваны голодом. Голод объяснялся невозможностью выйти за жратвой. На мне не сходились штаны. Это были мои единственные штаны. Я попал в западню, как Винни-Пух в норе Кролика.

Я належал килограммов двадцать. Зеркало пугнуло меня распухшим бомжем. Портрет на фоне Пушкина, и птичка вылетает. Фоном служила ободранная ханыжная хавера, набитая окурками, стеклотарой и грязным тряпьем. Ситуация достигла исчерпывающего предела.

Винни-Пух торчал в норе, пока не похудел до диаметра выхода. Мне повезло больше.

Меня посетила знакомая. Знакомая — это неполная характеристика; неточная. Это был танк, который гуляет сам по себе. По приезде в Таллинн я был взят ею на abordаж с той жесткой стремительностью, которую требовал от своей команды кэптэн Джон Морган.

Чудо, праздник, тайфун. Она распечатала окно, за час привела в чистоту и порядок мою оскверненную обитель и мерзкую плоть, плюхнула коньяку в сияющие стаканы, перелистнула еще пахнущую краской книжку из штабеля у стены, объявила меня свершившимся гением, расширив влюбленные глаза, и в качестве высшего признания произнесла голосом, в котором пело эхо горных высот:

— Знаешь, я вдруг подумала, что тебе сейчас столько же лет, сколько было Сереже Довлатову, когда он приехал сюда.

Выздоровление произошло сразу. Взрыватель щелкнул. Я взвился, как пружинная змея из банки.

— Почему Довлатов?! — вопил я, швыряя стаканы в унисон внутреннему голосу, который норовил заглушить меня грохочущим водопадом матюгов. — При чем здесь Довлатов!!! Что знал ваш Довлатов?! Он родился на семь лет раньше, мог пройти еще в шестидесятые, было можно и легко — что он делал? груши и баклуши бил? А мне того просвета не было! Он Довлатов, а я Веллер, он не проходил пятым пунктом как еврей, ему не был уже этим закрыт ход в ленинградские газеты, и никто ему в ре-

дакциях не говорил: знаете, в этом номере у нас уже есть Айсберг, Вайсберг и Эйнштейн, так что, сами понимаете, не можем, подождем более удобного случая; ему не давали добрых советов отказаться от фамилии под „приличным“ псевдонимом! Мать у него из театральных кругов, тетка — старый редактор Совписа, литературные связи и знакомства со всеми на свете, у классика Веры Пановой он литсекретарствовал, друзья сидят в журналах! а у меня всех связей — узлы на шнурках! И всюду я заходил чужаком с парадного входа, откуда и выходил, и нигде слова замолвить было некому. Он пил как лошадь и нарывался на истории — я тихо сидел дома и занимался своим. Он портил перо херней в газетах, а я писал только свое. Он всю жизнь заботился о зарплате и получал ее — я жил на летние заработки, на пятьдесят копеек в день. Он хотел быть писателем — а я хотел писать лучшую прозу на русском языке. (Что и делал! — торжествующе завопил внутренний голос.) И он приехал сюда на чистое место — сохранив питерскую прописку и жилье. Взятый в штат республиканской газеты, сразу приняли две книги в издательстве, — а я отчалил с концами, влип в его след, годами доказывал, что я не верблюд, — и он провалил все, а я в конце концов издал эту книгу! Которая в принципе — теперь уже можно не бояться сглазить! — выйти не могла! Читай: „Свободу не подарят!“ „А вот те шиш!“ Не могла! И вышла!

Павлина ранили стрелой. Дополнительным оскорблением воспринимался тот тонкий штрих, что Довлатову она досталась на пять лет моложе: и здесь я был как бы опережен и унижен. Жизнь — борьба, а не магазин уцененных товаров! Мне подсунули биографию б/у.

То есть наши заочные отношения с Довлатовым превратились уже в некий поединок судеб и заслуг;

и к моему совершенному бешенству, публика из таллиннской русской творческой интеллигенции (такой русской, хучь в рабины отдавай: Скульская, Аграновская, Штейн, Тух, Рогинский, Малкиэль, Ольман и еще пара-тройка столь же отпетых славян; правы, правы были в ЦК — ишь, свилось тут сионистское гнездо из недодавленных из Киева и Ташкента) — публика отдавала предпочтение в этом поединке ему. А вот он был им ближе: родственнее; понятнее. А вот он более импонировал, стало быть, их представлениям о настоящем писателе и литературе. Он пил, загуливал, язвил окружающим и был своим. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Я не пил, был вежлив, замкнут, а окружающих мало замечал. И никому не давал читать своих рукописей. Их мнение меня не интересовало: без надобности. Меня интересовало мнение истории. И то лишь в той мере, в какой оно совпадет с моим собственным.

По мере лет, как принято, добрея и глупея, я поддался успокоениям внутреннего голоса, что победил все-таки я, просто читатель у нас, возможно, разный. И еще одно: он был в ореоле запрета. В венце побежденного Роком и Режимом. В нимбе гонимого. За победителя боги, побежденный любезен Катону. Я бы этому Катону прицелил дверь. И еще одно. Его тут не было. Была легенда о нем. А кто ж живой может соревноваться с легендой. И еще одно. Ах, ты много о себе мнишь? Так не мни много: вот Довлатов, он-то, понимаешь...

— Сергуня Довлатов, он-то, понимаешь, никаким диссидентом, никаким антисоветчиком не был, — объяснял наш опять же общий приятель Ося Малкиэль, еще не съехавший на социал в Германию, еще макетчик замответсекра „Молодежки“, еще терроризировавший любовной готовностью при малейшем несогласии провести хук правой в печень

и прямой левой в челюсть. Ося знал все и затыкал всех, этих всех этому всему уча. Он не принадлежал к породе слушателей, зачисляя в нее всех видимых в зоне досягаемости, по причине несогласия с чем на дружеской пьянке довлатовская гражданская жена по Таллинну и мать довлатовского старшего сына Тамара Зибунова на правах хозяйки и именинницы после тысяча первого предупреждения треснула—таки Осю бутылкой по голове, ибо все прочие способы прикрутить фонтан его красноречия были бессильны. Я не был в курсе. Ося пришел ко мне поболтать за чаем, небрежно пояснив повязку ранением в афганской поездке. Он был романтик.

— Вот у тебя, Мишка, выходят книжки, тебя приняли в Союз писателей, где-то там печатают, переводят... то есть ты добился статуса нормально-го советского писателя.

— На что мне статус, я сам по себе, лишь бы милиция не трогала.

— Не скажи. Это все—таки официальная печать. Издаваться легче. То—се... Вот Сергуня хотел того же самого: просто писать, печататься, жить на литературные заработки, быть писателем. Но тебе, понимаешь, повезло, а ему вот нет.

— Мне — повезло? — взрыднул я. — Это кто ж такое оно, которое меня везло?

— Какая разница... И вот теперь он в Штатах, все его книги опубликованы, издает газету „Новый американец“, известный американский русский писатель. Но это там... В общем, пишет, никому он там не нужен. Жалко его.

Я сидел не в Штатах, а в Эстонии, и тоже был никому на хрен не нужен, как, впрочем, и сейчас. Зеленовато-желтый и непривычно-миролюбивый, тихий Ося осторожно потрогал повязку. Бывают моменты, когда жалко всех. И мои родственные отно-

шения с Довлатовым приобрели вдруг сочувственный характер. Никому мы не нужны по обе стороны океана, и нет для нас другого глобуса.

Хотя Штаты были как раз другой планетой. Туда брали билет в один конец, прощались навсегда и улетали, чтобы уже никогда не возвратиться на родную землю, как космонавты на Андромеду.

Это антиподство сыграло с нашими эмигрантами известную шутку. Кухонный вольнодумец — призвание экстерриториальное. Штаты были анти-СССР. Все, что здесь глупо и плохо, там было разумно и хорошо. Уезжантов допекло до невроза: здесь было плохо все — следовательно, там все было более-менее хорошо. Приписывая большевикам эксклюзивное право на все гадства мира, диссиденты тем самым возвеличивали их до бесконечной степени негативной гениальности. Обнаружив имманентность глупости и порока на другой планете, диссиденты впадали в свое естественное состояние — депрессию на кухне. Поистине, стоило влезать в торговлю камнями, ходить с „вальтером-ПП“ подмышкой, трястись с контрабандными изумрудами через таможи, лететь в Штаты, чтобы в Денвере у газетного киоска напороться на одноклассника Юру Дымова, рассматривающего мою рожу над рассказом в журнале „Алеф“, приходиться в себя за бутылкой от сюрреализма ситуации и ночью на его кухне выслушивать эти открытия.

— Вольному воля, — заключил Юра, разведя руками и кренясь с табуретки, как перегруженный альбатрос.

Воля моя пресловутая и мое открытие Америки настали гораздо раньше: когда я, в эйфории наглой безнаказанности, заказал с редакционного телефона Нью-Йорк, и через пятнадцать минут меня спокойно соединили с другой планетой: намертво невыездной, еврей беспартийный разведенный образова-

ние высшее безработный всю жизнь, я испытывал нереальное, неземное чувство, уже забытое бывш. сов. людьми: чувство первого шага за границей... О... Хрен ли ваши цветущие яблони на Марсе. Кэптэн Блад очень любил, как это? яблонь в цвету. Это очень романтично... ха-ха!

— Слушаю, — ответил мрачный и сипловатый русский голос без всяких признаков американской гнусавости и картофельного пюре во рту.

— Сергей Донатович? — осведомился я.

— Совершенно верно.

— Эстония беспокоит. Таллинн.

— Хо-о!.. — сказал Довлатов.

— Такой русский журнал „Радуга“.

— М-угу.

— Мы тут хотим напечатать ваши рассказы. В общем, просто обязаны. Как-никак Таллинну вы человек не вовсе чужой.

— Уж как же!..

— Так если вы не против...

Ответ был в том духе, что не против. Кто б мог подумать...

— Чувствую, что у вас перестройка.

Я назвал. Он ответил, что слышал и читал. Это было приятно. Хотя неясно, чего он мог слышать и откуда читать. Я подрос в своих глазах. Все-таки он жил в Америке.

— Откуда у вас мой телефон? Хотя — у нас наверняка должны быть в Таллинне общие знакомые.

В Таллинне все знакомые — общие. На протяжении ста рублей (восемьдесят седьмого года) я рассказывал, как они (список см. выше) живут. Злобно глядя на часы. Фирма заплатит. Наш главный с международного телефона не слезал, бешеные тыщи без звука списывались издательством

как издержки международной поддержки Народно-му фронту в борьбе за независимость.

— Да, но возникает вопрос, как я перешлю вам тексты. У вас есть мои книги?

— Сергей Донатович...

— Просто Сергей.

Ну, слава те, Господи. Я с самим маршалом Фрагга разговаривал, не тебе чета, и тот с третьего раза велел: без званий и на ты, курсант. Я имел дело с интеллигентным человеком. Вопрос обращения по отчеству заслуживает отдельного социопсихологического изучения. Русско-советское хамство начиналось с комсомольского свойского „ты“ и сквозь все слои и структуры общества доходило к публичному „тыканью“ Генсека членам Политбюро. Но снизу вверх полагалось на „вы“ и по отчеству. Это было самоутверждение холопов во князьях. У лакея свое предельное представление о величии. В офицерском корпусе разграничивалось просто: на звездочку старше — „вы“, на звездочку младше — „ты“. В российском, даже купринском из „Поединка“ захолустном армейском полку — представьте „тыканье“ штабс-капитана поручику. Среди „интеллигенции“ задеиствовало различие в должности и возрасте. К редактору, скажем, книги или публикации автор даже постарше и помаститее его обращался взаимно по отчеству. Автор моложе и немаститый отчества в ответ не получал. А уж в неформальном общении десять лет разницы казались старшему полным основанием к младшему по имени, слыша в ответ свое имя-отчество. Это вошло в естество, иное представлялось даже и странным, как бы искусственным, наигранным: обращаться по отчеству к младшему, пусть даже немного младшему, пусть даже под пятьдесят, если только он не был значительной, влиятельной фигурой. Это способствовало самоуважению старших. И не могло за-

частую не унижать младших. Поразительно, что в „интеллигентах“—шестидесятниках почти поголовно отсутствует само ощущение того, что неравенством обращения он унижает собеседника, тем самым унижая некоторым плебейством манер себя. Хомо советикус.

— Ваши рукописи есть у Тамары Зибуновой. Если такую помните, — добавил я, тут же ощутив глупость своего комментария: не то укор мужскому равнодушию, не то комплимент донжуанству старого рубаки.

В трубке помолчали в веселой тональности.

— Как же, — согласился он. — Ну, тогда хорошо.

— Мы можем отобрать по своему усмотрению, или у вас есть пожелания?

— Пожалуйста — можете выбрать сами.

— Встает вопрос об оплате. С долларами здесь напряженка.

— Кажется, я еще помню.

— Но гонорар в рублях — гроши, конечно, полтора за лист — это дело святое.

— А вы это можете заплатить Тамаре?

— Без проблем.

— Нужно какое-то письмо от меня, доверенность?

— Ничего. Так сделаем. Никаких сложностей.

— Прекрасно.

— Когда мы отберем — я вам позвоню. Через неделю.

— Буду очень рад. И вообще звоните. Да... немало воспоминаний с Таллинном связано.

Мы расшаркались с нежными нотами в голосе.

Здесь полагается расписать, что идея печатать Довлатова принадлежала всецело мне одному: восстановление справедливости, отдать долг прошло-

му, братское сочувствие, возвращение большого писателя; тому подобное. У успеха много отцов. Нет: идея была не моя, ее родили редакционные дамы, а я так, сбоку сидел. Гордо заведовал отделом русской литературы, состоящим из меня одного. В этом есть свои преимущества: когда хоть где-то русская литература состоит из тебя одного. Хотя если знакомые, большого ума благородные доны, желая отрекомендовать меня лестным образом, представляли как „лучшего русского писателя Эстонии“, мне оставалось только раздраженно пояснить, что, конечно, в любой луже есть гад, между иными гадами иройский.

Вообще журналчик „Радуга“ мог издавать один человек, по первым понедельникам месяца, перед обедом, под холодную закуску. Но редакционные дамы, как свойственно всем дамам, ставшим редакционными, пили кофе и строили интриги в убеждении, что коллектив работает напряженно, а штат явно неполон. Занять каждого своим делом, чтоб ему было некогда соваться в чужие, удалось только Фигаро, и то ненадолго.

Жизнь „Радуги“ — отдельный роман. Впрочем, все есть роман — при наличии у автора ассоциативного мышления. Условием чего служит вообще наличие у автора мышления. Достопамятные дискуссии о смерти романа ошарашивали безмозглостью. Ежели роман — зеркало, с которым идешь по большой дороге, — то ли дороги укоротились, то ли ножки у дискуссантов ослабли, то ли славная ленинская теория зеркального отражения трещину дала.

То мог быть роман о ячейке Народного фронта, который привел Эстонию к независимости, а своих зачинщиков, творческую интеллигенцию, к помойке. Что роман — эпическая трилогия! И жизнь каждого сотрудника — тоже роман, философский, энциклопедический, сентиментальный и местами ма-

терный. Психологический триллер о том, как сжарили замглавного редактора. Сага о художнике, заболевшем аллергией на все виды красок, лечившемся год, не вняв знаку Господню, и упрямо продолжившем свою богопротивную деятельность. Или как собрали десяток идиотов, страдающих профессиональной непригодностью во всех областях занятий и поэтому часто их меняющих, что должно было компенсироваться недержанием речи и синдромом реформаторства на фоне вялотекущей психозфрении, и объединили их в демократический дискуссионный клуб прогрессивной русской интеллигенции. Клуб дискутировал по четвергам, и головная боль у меня проходила к вечеру субботы.

Но, по легенде, которая всегда совершеннее действительности, Довлатов уже написал подобный роман. О том, как он работал в ленинградском „Костре“. По этой легенде роман назывался „Мой „Костер““. Раз в неделю, в ночь на субботу, его поглавно читали по „Свободе“. Главы назывались: „Корректор“; „Завпоэзией“; „Ответственный секретарь“. Произведение было лаконичным и сильным. Довлатов отличался наблюдательностью и юмористическим складом ума, поэтому каждый понедельник прославленного в свой черед сотрудника редакции вызывали на Литейный и после непродолжительной беседы увольняли с треском. Редакция бросила работать. Всю неделю с дрожью ждали очередной передачи, а в субботу, нервно куря и закусывая водку валидолом, крутили приемники, чтобы узнать, кто из них приговорен к казни на этот понедельник. Русская рулетка. Ряды редели. Смертельный удар был нанесен главой „Жратва“. Редакция помещалась недалеко от Смольного и в качестве органа обкома комсомола обедала в смольнинской столовой. Не в том зале, конечно, где боссы, и не в том, где инструкторы, и не в том, где машинистки, а вместе

с шоферами и наружной охраной, но все равно — кормушка святая святых, экологически чистые деликатесы по дешевке, закрыто для простого народа. Довлатов описал столовую.

В следующий понедельник редакцию навсегда открепили от столовой Смольного. Ненависть к Довлатову, заливающимую сейчас биг-маки кока-колой, достигла смертельной степени и приобрела священный классовый характер. Можно простить увольнение отца, но не потерю спецраспределителя.

Однако по прошествии лет, утечении вод и перемене масок и декораций явствует из довлатовской деятельности в „Костре“ совсем другая история, закулисная, непреложно реальная и неизбежно умолчанная. Достаточно перечесть главу „Костер“ из книги „Ремесло“. Пригласил его Воскобойников. Позднее выяснилось, что мягкохарактерный Воскобойников работал на ГБ. Довлатов прав в догадках: в журнал обкома комсомола никаким каким не могли взять человека с нечистой анкетой, беспартийного, без круто волосатой лапы, обратившего на себя внимание конторы в связи с политическим процессом, автора сочтенных неблагонадежными рукописей, уволенного по указанию ГБ из газеты, книгу приказали рассыпать, сам под колпаком. Лишь тот, кто ничего не знает о структуре и системе информации и надзора за печатью и функциях отделов кадров, может думать иначе; для прочих совграждан это однозначно, как штемпель в паспорте. Замазанного человека возьмут только с каким-то умыслом. Теоретически первое — сотрудничество, на которое дается номинальное согласие. Зачем осторожнейшему, лояльнейшему Воскобойникову такой подчиненный? После скандала в Таллинне? А вот перед патроном надо изображать деятельность: привлечение новых лиц, расширение сферы работы. Патрон требует; от патрона только такая инициатива и могла

исходить. Второе, что вероятнее: Довлатов мог быть полезен как источник информации и связей в среде ленинградской „диссидентствующей“ творческой интеллигенции. Нехай будет под присмотром, поближе к глазу Большого Брата. Об этом его и извещать не надо. В любом случае объективно оказался совершен неплохой и даже добрый поступок, в чем вполне можно с Довлатовым согласиться.

С ним вообще трудно не соглашаться, таков был характер его дарования. Он не написал, в некотором смысле, ничего спорного. Все просто и внятно. А если ты с чем-то все-таки не соглашался, легко соглашался он. По жизни он был миролюбивый человек. Я тоже.

И когда я стал редактировать его рассказы, несогласие вызывали только два места... Тут паленая-драная память срывается с веревки: редактирование — это поэма особая, о тридцати трех песнях, девяносто девяти сценах. Моя любимая сцена в советском редактировании — это когда классик советской литературы и знатный алкоголик-миллионер — нет, не Шолохов, но Федор Панферов тоже ничего, — был наряжен руководить Всесоюзным совещанием редакторов. Открытие имело произойти в десять утра в большом зале Дома литераторов. В десять редакторы празднично расселись. Они не были классиками, а многие из них не были алкоголиками, многие вообще съехались из провинций на халявное столичное удовольствие, чего ж им в десять не рассесться. Но Панферов, повторяю, как хорошо было известно всем его знавшим, в десять утра если и садился, то только с целью принять стопарь на опохмел, жалобно выматериться и лечь обратно. Итак, ждут. Ждут... И в самом деле, к одиннадцати появляется Панферов. Недоопохмелившийся и недополежавший. Злой, как цепная сука.

Транспортируют его под руки из-за кулис, как адскую машину на взводе, и устанавливают на трибуне. Кладут перед микрофоном текст приветственного слова. Панферов икает, отпивает воды, текстом вытирает губы, потом потный лоб, потом сморкается в него и убирает в карман. С бычьей ненавистью смотрит в зал. И, наконец, тяжело произносит:

— Всех редакторов... я бы перевешал, как шелудивых собак! Но... поскольку это не в моих силах... пока... особенно сейчас... ох... Всесоюзное совещание редакторов объявляю открытым! вашу мать...

Когда первый автор после моего редактирования заплакал, я с этим делом завязал. Исправлял лишь редкие явные огрехи — с согласия. Над самим всю жизнь измывались — фиг ли теперь самому других мучить? Ссылки на учебник русского языка меня бесят. А откуда, интересно, взялись в академической грамматике все ее правила? Очень просто: кто-то взял и вставил. На основе уже существовавших ранее текстов. Спасибо за усреднение и нивелировку. Зачем я должен доказывать скудоумным, что синтаксис есть графическое обозначение интонации, коя есть акустическое обозначение семантических оттенков фразы, а нюансы-то смысла и возможно на письме передать лишь индивидуальной, каждый раз со своей собственной задачей, пунктуацией? Ученого учить — только портить. Я понимаю, что редактору сладка властная причастность к процессу творчества, он рьяно отстаивает в этом смысл и оправдание своей жизни. Так пусть не самоутверждается за счет моего текста. По законам, понимаешь, современной аэродинамики шмель летать не может. Не должен, падла, летать! А он летает... сука, насекомая неграмотная. Так не умеешь летать сам — не мешай шмелю. Не учи отца делать детей. Я себе заказал типографский штамп, и теперь шлепаю его на все рукописи: „Публикация при любом

изменении текста запрещена!" Хотя лучше шлепать в лоб. Что по лбу.

Поэтому Довлатов я редактировал мягко. Я позвонил, обсудил разницу в климатических и временных поясах, потребительскую ситуацию и политические прогнозы и перешел:

— Тут у вас написано: „шестидесятизарядный АКМ“.

— Гм, — выжидательно произнес Довлатов.

— У „Калашникова“ магазин на тридцать патронов. Шестидесятизарядных магазинов к автомату нет. Это в Афгане стали связывать изолентой два рожка валетом, для скорости перезаряжания. Но это нештатная модернизация, в армии запрещено. Возможно, дело просто в том, что наряд получает по два рожка с боевыми патронами, всего шестьдесят штук: один рожок примкнут, второй в подсумке. Но автомат все-таки тридцатизарядный.

— Гм. Возможно. Знаете, это так давно все было... я мог уже и забыть. Пусть будет тридцатизарядный. Хорошо.

Я чувствовал свою бестактность. Все-таки в охранных войсках служил он, а не я. От неловкости был многословным: падла-редактор как бы оправдывался.

— Дальше, — спросил Довлатов без излишней приветливости.

— Второе и последнее, — поспешил заверить я и готовно добавил: — Здесь я не буду настаивать. Понимаете, ненормативная лексика — вещь такая, спорная... Но мне кажется, что слово „гондон“ правильнее писать через „о“, а не через „а“. Как бы образование разговорного просторечия по аналогии литературному „кондом“, который через „о“. Это, конечно, дело слуха, в препозиции стоит редуцированный, но в принципе формальное расподoble-

ние при сохранении внутренней семантики идет именно по такому пути...

Я наворачивал все, что помнил из филологической терминологии. Я старался выглядеть сильно ученым и не сильно заразой.

— Возможно, вы правы, — с веселым добродушием прогудел Довлатов, и я представил, как в Нью-Йорке ранним утром он задумывается над нюансировкой правописания русских ругательств.

— Это все, — поздравил я его со своим либерализмом. — Больше у меня никаких вопросов нет, текст идет в полной неприкосновенности.

— Прекрасно. Когда выйдет?

— В первом номере за восемьдесят восьмой год. Несколько экземпляров я вам пришлю.

— Да, спасибо, я хотел попросить, интересно все-таки. Где тут достанешь, ваш журнал как-то не доходит пока до нас.

И рассказы благополучно вышли, и еще на телефонный столик я поздравил его с первой, лиха беда начало, публикацией на бывшей родине, и отправил пяток экземпляров, приложив к ним из тщеславия, узаконенного профессиональной этикой, собственную книжку, снабдив ее надписью, составленной из всяких хороших слов, насчет читателя-почитателя и младшего последователя по эстонскому маршруту.

Дарение авторами своих книг сродни гордости курицы за собственнорядно снесенное яйцо. Не Бог весть какое достижение, зато лично мое, сказал полковник. Обычно тебе дарят, а ты думаешь, на кой черт, все равно читать незачем: сам бы никогда не купил. А не дарят — легкое унижение: обошли знаком почтения, вроде и не по чину на тебя, дурака, добро тратить. Когда мне говорят за мою книжку „спасибо“, мне чудится фальшь ситуации: тоже, восьмитомник Шекспира с золотым обрезаем. Я зря

похаял редакторов: один меня поучил. Издательство у нас большое, сказал он, а квартира у меня маленькая, и я раз в год чищу библиотеку: выношу всякий дареный мусор на помойку. После этого я выкинул почти все дарственные книги, а последующие перестал носить в дом, выкидывая непосредственно по расставанию с дарителем. Особенно мне памятно выкидывание в Бильбао: я подарил переводчику свою книжку, маленькую, легкую и хорошую, на понятном ему русском, а он мне — двухтомник своих переводов: огромный, тяжелый, из авторов, которых я и по-русски читать не стал, и на испанском. Час по сорокаградусному солнцепеку я таскал и проклинал эти два кирпича: их некуда было выкинуть. В Бильбао нет урн — баскские террористы любили подкладывать в них мины: на злоумышленника, пытающегося где-то оставить какой-то предмет, смотрят бдительно и враждебно. Я специально зашел в кафе, взял холодного вина, сосредоточенно листал, попивая, и еле смылся.

Присланную в ответ Довлатовым его книжку „Не только Бродский“ я, в числе немногих раритетов, выкидывать не стал. Он переслал ее с оказией в пакете мелких благодарственных презентов редакции. Позднее выяснилось, это была не единственная форма реакции. Тогда я впервые и увидел швейцарский офицерский нож, который тут же принес пользу в открывании бутылок и нарезании колбасы.

Характер у меня легкий, зато рука тяжелая. В смысле наоборот. Как это по-русски?.. Сам себя не похвалишь — ходишь как оплеванный. Потому что Довлатова стали потом печатать в Союзе все наперебой. Конечно, после этого не означает вследствие этого, с Юстиниановым правом мы тоже знакомились не по Гегелю, но кто-то должен был прокукарекать первым: рассветало с запада, вот уж кретинская метафора. После чего заклохотали напе-

ребой. „Иностранка“ и „Звезда“, „Октябрь“ и „Литературка“; его классифицировали как блестящего писателя, одного из лучших писателей, лучшим писателем русского зарубежья в конце концов назвали. Одновременно лучшими были объявлены: Горенштейн, Войнович, Максимов, Севела, Тополь с Незнанским и Незнанский без Тополя, Аксенов, Лимонов, Владимов и примкнувший к ним Зиновьев... память слабеет, но кучка была могуча. Стране открывали ее героев, и каждый был самый.

Привычка грамотного человека к чтению часто есть форма мазохизма. Критика меня влечет. Одна из целей критики — заставить читателя усомниться в своих умственных способностях. Я усомнился и стал читать Довлатова, и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами. Мне есть очень мало дела до всего вашего семейства, сказал Коменж. У всяк своя компания, чего читать, тут и свои друзья осточертели. Я уже читал в детстве такую книжку, она называлась „Где я был и что я видел“. Где ты был, ничего ты не увидел, хрен с тобой. Дали боги дожить, и стало спартанцам не до чужих бед, своих хватит.

В числе многого, чего я лишен, мне не дано постичь прелесть и смысл салонной жизни. Убожество „внутрилитературной тематики“ во вторичности предлагаемого к потреблению продукта: если литература — производная от жизни, то разговоры о ней — производная от литературы. Пресловутое „литературное общение“ есть поза подмены деятельности суетой: казаться вместо быть; форма паразитирования при искусстве; род субкультуры для причастных к клану. Хотя также — способ устройства своих дел: маркетинг и реклама — тоже нужны... но надобно ж и разграничивать. Представьте Дон-Жуана проводящим ночи в попойках с друзьями за философскими обсуждениями женских по-

дробностей и особенностей и подчеркиванием роли своей личности в мировой сексуальной революции, а по бабам ходящего в редкие просветы свободного времени и протрезвления. Вот и у пчелок с бабочками то же самое.

Хочешь писать — сиди пиши. Хочешь печататься — расшибайся в лепешку, печатайся. А вот если кто хочет именно быть писателем — то есть выступать перед читателями, не ходить на службу, жить на гонорары, захаживать в редакции на чай и коньяк, ездить по миру, вести беседы в домах творчества, прокуренные ночи рассуждать с коллегами о проблемах литературы, небрежно доставать из кармана писательский билет — провались он пропадом со своим ущемленным самолюбием и знаком причастности к литературному процессу. Пар в свисток — сублимация: почему же, почему так обрезали ему?

Примерно такой оценкой творчества Довлатова, понижая голос, с опасливым недоумением, в светских выражениях, я поделился с его старинным другом Лурье. Лурье — большой скептик. Особенно по части литературных репутаций. Он пессимист. Когда штат „Невы“ сократят до одного человека, а помещение — до одного чулана, там будет сидеть Лурье, иронично блестя лысиной и очками, с язвительным обаянием врать по телефону, издеваться над завалившими стол и стены рукописями и жаловаться на жизнь.

— Господи, да конечно, все это полная... — радостно сказал Лурье. — Ну, сделали имя, играют в эти игры, сами, понимаете, в это нисколько, конечно, не верят, а если кто и верит — так это уже просто полные... Мы-то с вами прекрасно понимаем, что никакая это не литература, разная, понимаете... о своей жизни, так кто из нас не может бесконечно писать таких историй?

Опять же, есть у кого остановиться в Нью-Йорке, выступить по „Свободе“, получить за это какие-то доллары, — так надо ж быть свиньей, чтобы не отблагодарить человека. Заодно и оправдание командировки.

Но жизнь менялась стремительно, и литература менялась вместе с ней. Представления о литературе профессиональных критиков, как и полагается, менялись последними или не менялись вообще. И когда умный и образованный Вик. Ерофеев публично констатировал конец советской литературы — это было подхвачено, но не понято.

С литературы спали функции философии, социологии, журналистики, глашатайства и чего угодно — как с самолета сбрасываются подвесные баки, и в измененной аэродинамике он теряет стабилизацию полета. Оказывается, подвесной бак составлял его большую и главную часть. Произошла литературная паника. Гвардейская королевская рота обнаружила себя голой. Она запела „Со святыми упокой“ литературе, на что хотелось утешить: умерла — закопаем.

Книг стало больше, а читать нечего. Фо хум хау. В круговороте крушения Империи русская литература тоже вступила в рыночную схватку между формой и содержанием, и этот базарный мордобой содержание выиграло безоговорочно. Это победа материала над отношением к нему автора. Победа безусловных фактов над условностью их изложения.

А ведь вся художественность формы именно и есть авторское отношение. Хитромудрая композиция, пейзажные красоты и аллегории, извивы духовных бездн, стилистическая изысканность и философические размышления — понадобились читателю во вторую очередь, а большинству и вовсе не понадобились, ибо даже соловей, по справедливому замечанию классика, поет оттого, что жрать хочет.

Ему возразили, что соловей хочет размножаться, на что был бездушный ответ, что не пожрешь — не размножишься. Когда читателю нечего жрать, он бросает размножаться, что мы и наблюдаем: это безусловные факты.

Рафинэ не в кайф сечь, что сочинительство, беллетристика, фикши — еще не исчерпывает литературы и даже не является главным, основополагающим и исконным в ней. Основа прозы — факт. Основа поэзии — чувство. Великие события и великие чувства лежат в основе литературы. „Илиада“ — это отчет художника об экспедиционной кампании героев. „Улисс“ — это отчет художника об одном дне из жизни микроба. Джойс объемнее и эстетически богаче Гомера. Всем изощренным арсеналом наработанных средств литература вьелась в маленького человека: он тоже глубок! интересен! велик! герой! Да: но тоже. Двести лет назад обращение к маленькому человеку и обыденному событию было открытием, поворотом, актом справедливости. Подзорную трубу повернули другим концом: какое богатство мелкой флоры и фауны! вот на каком уровне, оказывается, заложено бытие! И Акакий Акакиевич заслонил Вещего Олега, а чаепитие заглушило грохот сражений. Наступил новый этап.

На этом этапе литературе рекомендовали обыденность: персонажей и событий, чувств и языка. А в чем искусство? А в создании тонкой системы многозначных условностей, в том вкусе и красоте изложения, которые базируются на овладении традицией.

Началось внутрисебясамойпереваривание: в замкнутом ограничении пространства предметом литературы стало развитие литературных средств. Что естественно привело к внутрисебясамойпотреблению, Ах, как это написано: новое слово! Об чем

слово-то, граждане? Белого Дракона все одно не переплюнешь.

Верните мяч в игру, вздохнул старый авантюрист. Вы можете конгениально и сверхискусно изображать теннис без мяча сколько угодно, но на Кубке Дэвиса вас не поймут. Это ваши личные игры в бисер.

Героев, стр-расти, простоту и сенсационный материал оставили масскультуре: ваш телескоп примитивен, у нас свой микроскоп.

То есть, как существует наука чистая и прикладная, образовалась литература чистая и литература прикладная: одна для профессионалов, другая для всех потребителей.

А про что всегда влекло человека узнавать? Великие герои и отъявленные злодеи, грандиозные катастрофы и необычайные приключения, любовь и преступление, тайны государства и тайны мироздания. Это стало достоянием массовой литературы. Но коммерческий успех книги — еще не свидетельство ее художественной неполноценности. В вину ей ставят: а) она привлекает своим материалом, а не художественностью; б) она вообще нехудожественна, т.е. арсенал средств изложения неоригинален и беден. Ты не из нашей корзинки, дешевка.

Говоря об истории литературы, наука признает шванк, фадетию, анекдот, хронику, сагу. Говоря о современной литературе, наука обязательным ее условием ставит выдуманность и соблюдение условных критериев „искусства“. Не поступимся принципами. Тем хуже для „науки“. Если можно таковой счесть критику. Об этой критике кратко и исчерпывающе сказал Денис Горелов. Жму ему руку через разделяющую нас госграницу.

Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и

компетентно; в противном случае критика превращается в наглую самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса. Если вам нравится сентенция, получите и автора: доктор Позеф Геббельс.

Где Трифонов? Где Рыбаков? Где Гроссман? Где Айтматов? Какие люди были, блин, какое время было, что ты. Дети, крепитесь, с вашим дядей Авелем произошло несчастье.

А бестселлерами с лотков идут справочники по оружию, флоту, авиации, танкам, что делать в постели и как нажить деньги, биографии великих, история по Гумилеву, война по Виктору Суворову и золото партии по Буничу. Ближе к жизни, ребята! По этой причине „Новый мир“ печатал „Одлян“ и „Желтых королей“: чего там в жизни делается? да скажите вы просто и внятно; а без вашего эстетического отношения к словесности мы обойдемся.

Солженицын написал великую книгу — „Архипелаг „ГУЛАГ“. Все прочее им написанное не стоит выеденного яйца и стало никому не нужно и не интересно раньше, чем кончило печататься. Шаламов был лучшим писателем, чем автор „Одного дня Ивана Денисовича“. Из того, что „Архипелаг“ не соответствует канону художественной литературы, явствует условность и ограниченность канона. Читателю, искусству и истории плевать на каноны. Они меняются.

И сейчас канон меняется на наших глазах. Обычное дело. Часть „масслитературы“ канонизируется в „элитлитературу“. Нормально. Подпитка. Высоцкий. Жванецкий. Живая жизнь. Тоже было: „низкий жанр“.

Да что: Пикуль остался, и Штирлиц остался, и уже второе поколение читает и цитирует „фантастов“ (низкий жанр!) Стругацких — и хоть бы одна

зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леонове.

А театры плачут по зрителю и ставят „Филумену Мартурано“. Кто такая филумена? кому она что мартурано?! Поставьте пьесу, трагедию поставьте, про Героя Советского Союза Руцкого в разносимом танковыми пушками парламенте России! про превращение затурканного интеллигента в главвора страны! про карьеру искусствоведа на панели! Нет: на изюм получите педерастическую версию классики: шарман, шарман! Не хотите? Тогда Пинштейн из Мексики, или как его там, будет кормить народ мыльной оперой „Просто богатая рабыня“, или как ее там: он бездарен и умен, а вы талантливы и глупы. А у народа потребности.

Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, а весь союз писателей по кочкам понесет? Фантастика — не литература, дамский роман — не литература, уж Теккерей забыт, а Шерлок Холмс им все детектив, а не литература. Им бы, умным, что-нибудь такое около эколо. Как в ересь, в неслыханную простоту, которая грешнее воровства. И вот с незамысловатым юмором автобиография, конечно, читается интересней все-таки Нарбиковой или Харитоновой с их онанистическими потугами на мудрую эдакость ни об чем и об всем на свете. Ну что ты, говорит, Левушка, конечно, Довлатов лучше. Тут он трах ее дубиной по лбу! И с тех пор во всем полагается на ее литературное мнение.

И я положился на литературное мнение Довлатова, с которым меня эстетически, так сказать, примирил Вик Ерофеев. В глазах коллег у Вика Ерофеева должны быть два гадских порока: он много знает и много понимает. А кто ж, батюшка мой, любит того, кто его умней. А поскольку знаменитость под пером собеседника предстает умной в меру разумения этого самого собеседника, то в „Огоньке“ в бес-

еде с Виком Ерофеевым в рубрике „Поверх барьеров“ Довлатов предстал умным, а также честным и невеселым.

— Я свое место знаю, — сказал усталый и битый Довлатов. — Я — эмигрантский русский писатель в Америке; не из первых, но и не из последних. Где-то посередине. Есть высший класс в литературе — это сочинительство: создание новых, собственных миров и героев. И есть еще класс как бы попроще, пониже сортом — описательство, рассказывание — того, что было в жизни. Вот писателем в первом смысле я никогда не был — я бы назвал себя рассказывателем.

Это было сказано с достоинством и скромно. Слава уже пришла.

Я ожидал услышать (прочесть) иной ответ. И впервые ощутил к нему нотку печальной любви. Я был тогда стопроцентно согласен с такой самооценкой. А сейчас согласен чуть больше — в сторону увеличения. Мне это понравилось до чрезвычайности.

Я хранил эту любовь года два. Особенно она увеличилась, когда Довлатов уже ушел... Пока однажды зимой не позвонил из Ленинграда приятель с радостной новостью.

— Здорово. Как живешь?

— Ага. Сегодня я тоже подстригал мои розы.

— Тут, значит, выходят у нас такая многотиражка, „Петербургский литератор“.

— Слыхал. Так что?

— Вот тут у меня последний номер... Не видел?

— Откуда...

— Весь посвящен Довлатову. Разные там его письма, воспоминания о нем и прочая муть.

— Ну?

— Про тебя тут тоже есть.

— Забавно. Польщен. В связи с чем, собственно?

— Хочешь послушать? Сейчас... Вот:

„Что делается с сов. литературой? У нас тут гремел некий М.Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. Я купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: „Он пах духами“ (вместо „пахнул“), „продляет“ (вместо „продлевает“), „Трубка, коя в лавке стоит 30 рублей“, и так далее (вместо „коия“, а еще лучше — „которая“), „снизошел со своего Олимпа“ (вместо „снизошел до“). Что это значит? Куда ты смотришь?..

Ваш С.Довлатов“.

— Что скажешь? — спросил приятель.

— Экая скотина был покойник, — сказал я.

— Письма к Арьеву.

— Лучше бы он купил себе словарь.

— А зачем? Так интереснее. Да послушай соседний абзац:

„Посылаю тебе две копии — во-первых, из хвастовства, а во-вторых (я как-то отвлекся и ушел в сторону), — как материал для твоей обо мне заметки, коя меня заранее радует...“

Вот тебе твоя коя трубка и его коя заметка. Вы вообще знакомы были? Ты ему что, чем-то насолил?

К тому времени господин Мольер имел полную возможность убедиться, что слава выглядит совсем не так, как ее обычно себе представляют, а выражается преимущественно в безудержной ругани на всех углах.

— Насолил... — сказал я, скрывая огорчение. — Первым напечатал в „Радуге“.

— А... Так тогда понятно, что ж ты хочешь? Ни одно доброе дело не бывает безнаказанным. Про „Радугу“ тут тоже есть... в соседнем письме:

„У меня есть ощущение, и даже уверенность, что

в СССР скоро начнут печатать эмигрантов...“ — так, — „Я ждал 25 лет, готов ждать еще...“ Вот: — „Но если да, то возникают (уже возникли, например, в таллиннской „Радуге“) проблемы“. Что за проблемы-то?

— Правописание слова „гондон“, — сказал я. — Интересно, там даты нет на письме?

— Про „Радугу“ — второе декабря восемьдесят восьмого года.

— Ощущение и уверенность у него возникли после моего звонка, что мы его в первом номере печатаем.

— Информация — основа интуиции.

— А про трубку?

— Минутку... тринадцатое мая восемьдесят девятого.

— Покупатель! Книгу он купил! Библиофил! Эту книгу я ему сам послал.

— Поздравляю, — сказал приятель. — На хрена?

— Да вместе с журналами, где были его рассказы.

— А вот меньше надо выпендриваться и раздражать свои книги. Он ведь хотел получить напечатанными свои рассказы, а вовсе не твои.

Подобный неожиданный привет из другого измерения может на полчаса подорвать веру в людей, если у кого есть вера в людей. Я вытащил с полки „Не только Бродского“ и прочитал: „Михаилу Веллеру с уважением и благодарностью. С.Довлатов. 2/5/89. Нью-Йорк“.

Летом в Ленинграде я позвонил Арьеву. Мы не были знакомы. Таким образом, нас познакомил Довлатов. Не могу сказать, с какой целью я позвонил. Тем более этого понять не мог Арьев.

— Вы хотите напечатать опровержение? — спросил он.

У меня все-таки хватило ума ответить:

— Упаси меня Боже дискутировать с умершим. Просто я вижу сомнительную ему услугу в публикации этого письма.

— Понимаете, у него иногда было довольно своеобразное чувство юмора, — объяснил Арьев мягко. — Здесь содержится такая некая ирония.

— Я попытаюсь понять, — пообещал я. Ирония — оно конешно.

Арьев оказался приятным и скромным человеком и наблюдательным критиком. Из одной его статьи я узнал, что в сочинениях Довлатова все слова во фразе обязательно начинаются с разных букв. И никогда еще ни один литературовед не делал замечания более верного. Можете проверить. Я не знаю, какой смысл в этой особенности, но за ней, видимо, таится большая скрытая работа, являя посвященному за внешней простотой свидетельство настоящего искусства. Правда, все фразы очень короткие.

Если обратиться к литературным аналогиям, это более всего напоминает искусство лейтенанта Шайскопфа из „Уловки-22“. Огромной и скрытой работой он добился от кадетов своей роты церемониального шага с руками, неподвижно прижатыми к бокам. И когда на параде изумленное невиданным зрелищем командование вопросительно воззрилось на Шайскопфа, он звенящим от торжества голосом извещал:

— Смотрите, полковник! Они не машут руками!

Продолжение этой истории одной лошади было вполне в духе довлатовских произведений. Годом спустя я обсуждал с художником оформление своей книжки „Легенды Невского проспекта“.

— На заднюю сторонку обложки дадим выброски, — решил художник. Он любил и умел делать прекрасные гравюры на заглавие, в общем,

самоценные, а в остальном предпочитал идти по кратчайшей линии наименьшего сопротивления. И подкрепил позицию заботой о моей пользе: — Книга должна выглядеть рекламисто. У тебя есть всякие там рецензии о тебе?

Он унес папку с вырезками и через неделю ознакомил меня с эскизом. Верхняя из четырех беспощадных цитат гласила: „У нас тут прогремел М.Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. — С.Довлатов. Нью-Йорк“.

Угадайте, чья фамилия была обведена скорбной рамочкой?

— Ну как? — довольно спросил он.

— Слушай, — сказал я, — там вроде было еще одно слово, в оригинале. Дай-ка поглядеть... вот: „некий М.Веллер“.

— Не просто чекой, — сказал художник. — Я понимаю. Вышеупомянутой чекой. Отзынь. Мы не в армии, ты не сержант.

Художники требуют подхода. Я налил и рассказал историю. Художник выслушал и пришел в негодование.

— Что значит — „некий“? Ху из ху? Какого хрена? Во-первых, он отлично знал, кто некий, а кто какой. Во-вторых, справедливость должна торжествовать. В-третьих, Довлатов тоже ленинградец, на ленинградской книге это очень уместно: я долго думал. В-четвертых, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Отходы — в производство. В-пятых, он бы оценил, я думаю, изящество ситуации.

Он задумался и заржал. За пределами искусства все художники циники.

Я тоже задумался, но ржать не стал. Я люблю циников. Я сам циник. А циники сентиментальны.

Меня вдруг, что называется, пронзила печаль. Я представил ощущения Довлатова, писавшего это письмо. Чужой в Америке. Без языка. Эмигрант-

ский круг. Признание на родине еще не пришло. А кто-то, моложе, приехал после него из того же Ленинграда в тот же Таллинн и издал книги, печатается, принят в СП, удачливый ловкач, и звонит ему в Нью-Йорк, и публикует его в таллиннском журнале, и пьет с его бывшими друзьями, откуда взялся, стал там своим, и посылает свою книжку, вышедшую в издательстве, где двенадцать лет назад, в прошлой неудавшейся жизни, должны были издать его... — так мало того, еще и в Нью-Йорке, в его теперешних кругах, этот самый еще и чего-то прогремел... Все мы все понимаем, а все-таки горько бывает, господа...

О покойниках — правду или ничего. Если кто что-то значил в твоей жизни, ты продолжаешь относиться к нему как к живому, просто отсутствующему. Продолжаешь говорить о нем, как и раньше, и шутить, и разговаривать с ним, и спорить. Только он уже не скажет тебе ничего нового. Поэтому оставлять за собой последнее слово в споре с тем, кто уже не сможет возразить, нехорошо.

Черт. Я оставил за собой последнее слово. И ржать мне тут было нечего.

Но я зря так надеялся. Случай оказался не тот. У меня был когда-то рассказ, где покойник на похоронах последнее слово оставляет за собой.

И тут ведь последнее слово осталось за ним!

Говорю недавно по телефону с Генисом. Лотман — Букер, Таллинн — Нью-Йорк, ля-ля — шарк-шарк, общие знакомые: узкий круг и тонкий слой. Довлатов!

— Мы с Сережей были близкие друзья.

— Вот как?

— Он мне о вас говорил. Очень высоко отзывался.

— Гм?. Не знал.

— Да, причем, чтобы Довлатов, который очень редко, почти никогда не отзывался хорошо о прочитанных вещах, знаете...

— М-угу...

— А вы не читали, в газете „Литератор“ опубликовано его письмо Дару? он вас там очень хвалит, просто очень.

— Дару? — опасливо переспросил я. — Нет... не знаю. Я знаю, было опубликовано письмо Арьеву, где он обо мне упоминал.

— Нет, Дару. Вы знаете, есть такой — Дар?

— М-м, слышал, конечно.

— И вот там, в „Литераторе“...

— В каком „Литераторе“? Есть „Петербургский литератор“ (если он еще выходит, они ведь в Питере погорели всем домом), был „Московский литератор“...

Мою реакцию на сообщение можно было назвать непритворной заинтересованностью.

— Ей-богу, точнее не помню, мне недавно привезли из России чемодан литературы, еще не все в картотеке рассортировано.

Слышимость с Нью-Йорком отличная, но вразумительности не прибавляла: я подозревал игру в испорченный телефон. Уточнил:

— Давно это было?

— Н-не помню точно...

— Года два назад?

— Не-ет. Месяца два-три.

Такие дела. Я тщился уяснить: новый поворот, мотор не ревет... еле лапками колышет: сдох. Свет погасшей звезды. Клевещешь, Перси, на него: кле-вещешь! Но представляю мнение Гениса о моем взыгравшем тщеславии после этого занудства.

На этой новости мы и распрощались, два иностранца, два русских литератора еврейской национальности и заграничничества.

— Тере-тере, — сказал он.

— Бай-бай, — сказал я.

Иностранцем становишься постепенно. Постепенно перестаешь обращать внимание на мелочи: что автобусы почище и в них не толкаются, что улицу переходят только на зеленый, что при этом идущая с поворота машина всегда тебя пропускает, а давая тебе дорогу, на „зебре“ тормозит трамвай, что все спокойны и нигде не лезут без очереди; привыкаешь в такси здороваться с шофером, привыкаешь к сдержанности общения и к пунктуальности встреч, что новогодние елки ставят чуть раньше, на римское Рождество, с ним можно поздравить, сделать подарок; привыкаешь к климату: погода бывает разная; привыкаешь, что в гостях не кормят обедом, что часто слышишь нерусскую речь, что вместо таблички „переучет“ — „инвентура“.

Как привыкаешь к новой моде, и вот она уже естественна глазу, естественны пограничники и таможенники в поезде и аэропорту — обычные люди за обыденной мелкой процедурой, как автобусные ревизоры; естественно постоять за визой (раньше было — за водкой, за хлебом, за носками — какая разница), зато в очереди за билетами стоять не надо, чисто и свободно. Естественно, что время идет, и далекие друзья приезжают к тебе все реже, и язык местных русских газет становится понемногу провинциальным, а российские газеты есть в киосках не всегда, редко, иногда. Сокращается время телевидения, долго поговаривают об отключении, ну нет уже петербургского канала, и российский исчез, остался останкинский по вечерам; к приему финского телевидения привык давно, а здесь появляются новые каналы, гонят в основном американские сериалы, и в их звуковом фоне начинаешь различать, понимать американскую речь, а эстонская обычна; что с того?

Какая, в сущности, разница, что деньги считаешь на кроны, уже не сбиваясь по инерции называть их рублями, что переезжаешь на финские йогурты, датское пиво и американские сигареты: тот же пейзаж за окном, те же люди, разве что машины меняются, так это везде так. Однажды замечаешь, что перестал выносить мусорное ведро: весь мусор спихивается в яркий пластиковый пакет из-под очередной покупки, а сам этот мусор нарядный и пестрый: баночки, коробочки, бутылочки, не имеющие ничего общего с когдатопными помоями. Замечаешь при очередных российских катаклизмах свое приятное ощущение безопасной непричастности: твоей семьи это не касается, тебе лично не грозит. На Рождество получаешь стандартное поздравление Президента Республики, на четырех языках, русского нет, нет в документах и на вывесках. Хлопаешь шампанским под звон новогодних курантов Кремля в телике, звонишь родным и друзьям, и через час хлопаешь еще раз, по местному времени, и звонишь в Белоруссии и Израили, там время то же.

Ты просто живешь здесь, а мог бы жить в другом месте, что из того; внутри тебя ничего не меняется: человек есмь; страсти, мысли, убеждения, привязанности и интересы — все прежнее... Хау! мы с вами одной крови — вы и я.

Россия — остается своей: ты приезжаешь — здорово, ребята! Смотришь в лица, прочие мелочи. И по дороге от лица до лица — шизеешь: от грязи и бьющей в глаза нерадивой и бесстыдной нищеты, естественной окружающим: от обшарпанных прилавков, вонючих лестниц, колдобистого асфальта; от дебильной медлительности кассирш и неприязни продавцов, от грубости равнодушия и простоты жульничества, агрессивной ауры толпы, где каждый собран за себя постоять, туземной раздрыз-

ганности упрессованного телами транспорта, нежной неуютности кабинетов и коридоров, от неряшливой дискомфортности редких кафе и убогой пустоты аптек. Таксист — хам, редактор — враль, слово не держится, в метро духотища, водка — отравка, вязким испарением прослоена атмосфера, тягучий налет серости на всем, и от этой вселенской неустроенности устаешь: сам процесс жизни делается тебе труден неизвестно отчего.

Вдруг замечаешь, что ты не так одет: неглядящиеся штаны и рубашки вольных европейцев, интеллектуалов и профессуры неуместны среди двубортных костюмов старших банковских клерков, словно ты фрондируешь из бедности, а сыют при галстукке не вписывается меж растянутых свитеров и несвежих клетчатых рубашек. Не понимаешь выражения глаз и голоса при официальном знакомстве: тебя изучают, оценивают, взвешивают, чтобы избрать стиль общения согласно твоему положению: единой и равной для всех дистанции официального общения не существует, а ошибочная нелепа. Не готов к тому, что желание выпить по рюмке обычно переходит в намерение неукоснительно прикончить бутылку и взять следующую.

И вдруг обнаруживаешь в себе остранинную и отстраненную независимость: ребята, я уже нездешний. Я уже живу за границей. Достоинство и отрада свободы — мягкая улыбка: я ни от кого ничего не хочу, мне ни от кого ничего не надо, я — вне, отдельный: я даже нетвердо знаю, что тут у вас происходит и по каким правилам на какие ставки вы играете. Обнимаю, искренне ваш.

И не просто хочешь д о м о й: нет, в главном тебе здесь нравится, интересно, здесь твои друзья, здесь решаются дела и судьбы, здесь кипит жизнь — это, вроде, и твоя тоже настоящая жизнь, впечатления, события, новости, знакомства, планы, все это хоро-

шо, — но при этом одновременно хочется жить дома. Там. И не то чтоб там лучше — нет, там никак, скучно, духовно пусто, одиноко, привычно, нормально: как раньше, как обычно; как всегда. Чуждо. И кажется, будто там для тебя внутренне ничего не изменилось, и будто сам ты внутренне не изменился, — но и здесь ч у ж д о! тяжело; неприятно; непривычно; з а в и с и м о. Не твое. Ты был отсюда. Но ты уже не отсюда.

Россия, в которой ты жил, живет в твоём естественной, неизменной, живет в рефлексах и ментальности, и по песчинке исподволь меняется вместе с твоей памятью и тобою самим. А настоящая Россия меняется реально. Ты следишь за событиями, переживаешь их умом и нервами — но не шкурой. Ты дышишь другим воздухом. И ты замучишься входить в эту воду дважды.

И Ганнапольскому в „Эхе Москвы“ на вопрос: ну, как тебе Москва? я мог ответить честно только одно: ребята, в этой сверхгигантской куче дерьма оскорбительно и непереносимо все. Кроме одного но! — ребята, вы все здесь...

И давно мне напоминает эта грустная метаморфоза гениальный среди прочих рассказ Брэдбери „Были они смуглые и золотоглазые“. Как колонисты на Марсе постепенно и незаметно для себя превращаются в марсиан и уже удивленно не приемлют прибывших землян, а те ломают головы, где ж колонисты и откуда ж эти марсиане. Метафора эмиграции. Особенно применимая сейчас к русским, безо всяких волевых и сознательных шагов и подготовки оказавшимся в „ближнем зарубежье“. Для себя я называю его „межграницье“.

„Межграницье“ — так я назвал телефильм, который сделал в январе девяносто второго, сразу после распада Союза. О наступившей, сразу еще не осознанной трагедии русских, вдруг проснувшихся ино-

странцами за границами России, чужими и там и здесь. Фильм не был принят. Прогрессивное Останкино сочло, что он играет на руку красно-коричневым.

Забавно, что сообщил мне это тот самый босс, который раньше устроил показ ленты „Русские в Америке“. Фильм отображал жизнь этих мятущихся русских в этой стране контрастов Америке преимущественно двумя красками, белой и черной. Как предписывает произведению искусства закон драматизма, преобладала черная краска. Там одни радовались свободе и бизнесу, таких было меньшинство, а большинство страдало от бездуховности жизни и ненужности русской культуры, носителями которой оно является. Я с замиранием ждал, что здесь обязан возникнуть Довлатов. И наконец — впервые увидел его: не на фотографиях, а, так сказать, в движущемся и озвученном изображении. Это не была сцена довольства и успеха. Довлатов был большой, бородатый, низколобый и добродушно-мрачный. Его облик, скупой жест, интонации, выкладка на какой-то серо-бытовой фон, вполне создавали впечатление скептической разuverенности во вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне: картина выглядела пессимистично и должна была, видимо, служить мысли, что писателю в Америку ехать не надо.

Но как для России московская прописка всегда была чем-то вроде знака причастности к касте, или качества, или социального статуса (как в самой Москве можно жить, скажем, на Кутузовском, а можно в Чертаново) — так потом в России, и в Москве, американская прописка (в меньшей степени немецкая или французская, но теперь даже израильская) стала тем же свидетельством социального положения. Мол, какой шесток, таков и сверчок. Хотя давно известно, что в России наилучше всего быть ино-

странцем. Он живет в Америке? — о, значит, этот человек уже чего-то стоит.

Сей трафаретный взгляд не лишен здравого зерна: успех — это ведь место и время, ясно... Куда направлены прожектора, где вершатся главные дела и главные карьеры — там цена всего автоматически повышается: и цена человека, и цена слова, и цена поступка — в глазах тех в первую очередь, кто сам не там. Ультима регис: „Так делают в Париже!“ А ежели кто живет на помойке — значит, по его качествам и стремлениям там ему и место: чего ж он стоит, чего ж от него и ждать? География — наука психологическая. Твое место возле параши? исчерпывающая характеристика.

Сравнение позорное и унижительное: Россия сейчас перемешана гигантской помойкой в сепараторе, где активные элементы с легкой фракцией, сливками и дерьмом, смываются в Америку. Она — значимее. Средняком в Риме лучше, чем патрицием в деревне. Кто раз ощутил себя гражданином великой державы — не будет счастлив в принадлежности к державе второстепенной. Раз человек не остров, а часть материка, то материк должен быть приличный. Не сам по себе, но часть семьи, рода, стаи, команды, армии, страны, и сила и честь страны — его сила и честь. Я римский гражданин!

Топот и стук: пробивают стенку в соседнюю камеру. Там пайка больше и прохаря новее: и закон. Правильная хата.

Кому повем мою печаль? Для умного человека все истины банальны. А для себя кто ж не умен настолько, чтоб доказывать их прочим, чьи умственные способности не то чтоб презираешь, но затрудняешься заметить невооруженным глазом, и каковое занятие сродни газетной работе и каторжному развлечению по пересыпанию кучек земли по кругу. Что провоцирует развитие нервных заболеваний.

Поэтому пьют читатели, и поэтому пьют журналисты. Писатели пьют еще и от отсутствия читателей. В питейной биографии Довлатова самое радостное, кажется, место — судя по письмам — это когда в Вене он обнаружил, что ректифицированный медицинский спирт можно купить в аптеке за одиннадцать феннингов пятьдесят грамм. Что есть литр водки за шиллинг. Под вопросом, учат ли в австрийских школах арифметике. Тупые австрияки не высчитали этого до сих пор.

В этом удивлении — отличие того, кто становится иностранцем сразу, прыгая с берега в воду, от того, кто делается им постепенно: сыровато, влажно, еще мокрее, и вот ты уже ни рыба ни мясо, а так, земноводное. На полпути к Луне.

Вышеупомянутыми соображениями мы и поделились с вымытой по частям холодной водой копенгагенской москвичкой, которой благородный дон, за неимением ируканских ковров, показал швейцарский офицерский нож, присовокупив мнение, что очаровавший ее знаменитый Кабаков такого просто не видел.

Этот ножик я всегда беру с собой в поездки. В его рукоятке упрятано все необходимое для застолья и мелкого ремонта всякой всячины. Даже закаленная пила с обратным ходом, которой можно будет перепилить наручники, когда меня арестуют за нарушение всех норм литературных приличий и вообще нравственности.

Именно им я и нацелился резать закуску в кабинете главного редактора „Московских новостей“, когда появился именно Кабаков. Первым делом я ткнул пальцем в нож и процитировал известное место из „Сочинителя“. Кабаков извернулся красиво. Он вытащил из кармана точно такой же и положил рядом.

— Для пары, — сказал он. — На память от меня.

Тем самым он убедительно возразил, что ему-таки известно, как выглядит швейцарский офицерский нож. Только этот был сделан не в Китае, но именно в Швейцарии. Не такой попался мальчик, чтоб таскать в карманах дешевку.

— Это нельзя рассматривать иначе как повод, причем уважительный, — сказал он. — Есть предложение начать пить.

Но пить мы начали позже и за литром кукурузного самогона обсудили не только сравнительные достоинства и характеристики карманных ножей, но и ценные особенности прочего холодного и огнестрельного оружия, обнаружив массу общих пристрастий и интересов. Писатель, оружие и пух — перспективное сочетание.

Это был чистый реваншизм. В советское время интеллигенту и гуманисту полагалось считать, что оружие — нечто безусловно плохое, любят его трусы, негодяи и люди вообще порочные. Хотя по этой логике армия должна быть последним прибежищем трусливых негодяев — одновременно идеалом человека провозглашался солдат, а вершиной любви — любовь Дзержинского к маузеру. Отрицая Дзержинского, вольнодумец плевал в маузер. Человек звучал гордо. Обезьяна, вставшая на задние лапы, взяла в передние палку совсем не для того, чтобы ею подтолкнуть марксиста Энгельса к созданию истмата. С тех пор оружие явилось естественным продолжением мужской руки, и по этим рукам призывалось дать, и крепко дать. Достать чернил и плакать. Где господствует мораль — там нет места истине. К несчастью или к счастью, но щек на свете меньше, чем желающих врезать по ним дважды. Поэтому естественная и природная функция любого нормального мужчины — защищать себя, свою семью и дом. От кого? Была бы шея, а любитель по

ней дать всегда найдется. Почему? Потому что человек создан изменять мир и никогда не удовлетворится существующим. Агрессивность — это аспект избыточной энергии, имманентной в человеке, благодаря которой он и переделывает мир. Хапок, захват, сражение — простейшая форма передела мира. Оружие — инструмент передела: инструмент жизни. Это сила и власть: самоутверждение; я хозяин жизни, я переделываю ее по своей воле и разумению, я действую — и значит я живу. Не говоря уж проще о разных критических, пограничных ситуациях, когда оружие решает вопрос самого твоего существования (а честь? а достоинство? а справедливость?..).

Поэтому джигит может быть оборванец, но чтоб оружие в серебре. И коллекция оружия всех эпох тому подтверждение.

Оденьте матадора в тренировочный костюм и дайте ему в руки колун — что скажут испанцы о моменте истины?

Один даст съесть пуд соли — другой возьмет в разведку. Человек познается в пограничной ситуации: на пределе опасности и напряжения. И неизбежно — стремится к ним: реализовать все заложенные в нем силы и возможности. Где ж жизнь острее, чем в бою и мрачной бездны на краю?

Поэтому военные и блатные песни Высоцкого. Адекватный материал: накал и риск борьбы на грани смерти — обнажение сути.

Поэтому трещит, бомбит, взрывается голливудское муви.

Поэтому грохочут „кольты“ и базуки у Кабакова, а московские девушки у Пелевина рассуждают о калибре авиапушек люфтваффе.

Писатель, авантюрист в накале нервов и вершения миров за своим столом, влеком инфернальной красотой оружия как знаком сильной страсти, ре-

шительных поступков, крупных событий: всемогущества и крутизны в своем воображаемом, созданном мире.

Естественная сублимация. Без нужды не обнажай, без славы не вкладывай.

И когда в Эстонии сделали свободную продажу оружия, я сверился с любимыми справочниками, выправил справку, что я не псих, и справку, что был охотником и умею стрелять, и пошел в магазины покупать „Гризли“. Это .45 кольцовская машина под патрон „винчестер-магнум“, которая должна выкидывать нежелательного посетителя обратно на лестницу прямо сквозь дверь. Хотя вдвое дешевле обходился несравненно безотказный „Вальтер-ПП“, 9 мм которого вполне достаточно, чтоб устроить любой сборной по каратэ прослушивание Шопена лежа.

Хотелось пощелкать пистолетом и пострелять, но я был безоружен и нетрезв, а Кабаков подписывал номер: здесь с легким креном мы подошли к концу забористого бурбона „Катти Сарк“, Нэн — короткой рубашки, с непревзойденной в истории скоростью парусника гонявшей через ревущие сороковые, свист и пену, в ту самую Австралию, откуда теперь тоже приходят письма от старых друзей, где тоже переводят с русского и платят деньги за чтение лекций по современной русской прозе. Боги, боги мои...

— А ведь я хотел уехать в Австралию, Бисмарк.

— Глупости, Мольтке! Что б вы делали в Австралии?

— Разводил бы. Розы.

— Зачем?!

— На продажу...

— Ерунда! Там не растут розы.

— А что там растет?

— Овцы.

— Ну, разводил бы овец...

— Зачем?!

— На продажу...

В самолете австралийской линии я наслаждался мемуарами Бунюэля. Чтобы в двадцать седьмом году сделать „Андалузского щенка“, надо быть действительно гением; это вам не Бергман. Когда в восемьдесят втором этот фильм демонстрировался в Доме кино, то на аннальном кадре крупным планом бритва половинит глаз, в зале раздался вскрик и звук упавшего тела. Нервный вскрик и тяжелое тело принадлежали одному из лучших довлатовских друзей Евгению Рейну. Ку дэ мэтр!

А лучшее место в мемуарах Бунюэля — это как он читал мемуары Дали. Закадычные земляки, они решительно разошлись после знакомства с Галá. Она предпочла Дали, а Дали предпочел ее, Бунюэль же сам хотел предпочесть их обоих, в чем ему было отказано.

Объективность и такт не числились среди достоинств Дали и не входили в его задачи. Бунюэль ознакомился в мемуарах, среди прочего интересного, кое с чем о себе: и несколько огорчился. Он огорчился, снял телефонную трубку и позвонил Дали, который в это время был в Париже.

— Здравствуй, Сальваторе, — сказал он. — Это я, Луис.

— Здравствуй, Луис, — ничуть не удивившись, сказал Дали. — Очень рад тебя слышать.

— Я подумал, почему бы нам не встретиться.

— Действительно, хорошо было бы встретиться.

— Почему бы нам не посидеть, не выпить вина...

— Это было бы прекрасно, Луис...

И вот, двадцать лет не видевшись, знаменитый Бунюэль и еще более знаменитый Дали встречаются в кафе. Они обнимаются, вздыхают, сколько лет, сколько зим, печально и любовно оглядывают друг

друга: садятся под тентом на бульваре, Париж, пьют белое вино, курят; вспоминают молодость, говорят о жизни и об искусстве. И наконец Бунюэль приступает:

— Сальваторе... Я тут недавно прочитал твои мемуары. Прекрасная книга. Замечательная! Я получил наслаждение. Но, признаюсь, хочу спросить тебя, все-таки мы с тобой старые друзья, вместе когда-то начинали, вместе бедствовали... скажи — ведь это ни по сюжету необходимо, ни смысловой нагрузки... не улавливается: зачем тебе нужно было так меня обосрать? Это так обязательно? или тебе было приятно? не могу поверить...

На что Дали глотнул вина, затянулся сигарой, выпустил дым, подкрутил иголки своих золоченых усов и с нежностью ответил:

— Луис! Ты ведь понимаешь, что эту книгу я написал, чтобы возвести на пьедестал себя. А не тебя.

Золотые слова. Есть у меня раздражающая привычка выражать простую мысль заходом столь дальним, как стратегический бомбер за 200 км входит на посадочную глиссаду, целясь на полосу. На прудах колышутся неньюфары, потому что пишутся мемуары. Эту мартыновскую строчку я понял, только прочитав Ростана, как там неньюфары распускаются в темной глубине — а всплывают, уже являя себя благоуханными и белоснежными: поэты, значит, так же. И тут я — весь в белом. Насчет благоуханных и белоснежных никто сейчас не уверен, конечно, — некоторые, наоборот, долго там в глубине себя барахтаются, чтоб всплыть готовой какашкой, дабы привлечь внимание почтеннейшей публики резким контрастом цвета и запаха среди оных лилий. Лютики-цветочки. Не ходи в наш садик, очаровашечка. Каждый пишет, как он слышит. Медведь те на ухо. О время мое, украшают тебя мемуары, как янычары пашу: я не хочу писать мемуары,

но фактически я их пишу. Соло для фэгота без ан сам бля.

Эти стихи я пытался переводить старому немцу, с которым в аэропорту Сиднея мы сидели и налегали на кофе. Немец был мудр, самовлюблен и прожорлив. Ему нравилось обобщать.

— Трагикомизм нашего положения в том, — сказал он, — что мы добиваемся признания в глазах людей, чье мнение презираем.

И понес строить: честная философия — неизбежно идеализм!..

Я чувствовал, что тупею. Потому и попытался переключить разговор на более знакомый предмет русской литературы.

— Я читал Довлатова, — сообщил немец и в испуге уставился на мое лицо.

Спас меня подоспевший Мишка Вайскопф. С опозданием на три часа он все-таки приехал меня встречать. Однажды в Таллинне я встречал его с рижским поездом, и через три дня он приехал из Киева. Он перепутал направления и потерял паспорт, а деньги у него украли. На него нельзя сердиться. В семьдесят третьем году он пошел добровольцем на израильско-арабскую войну и угодил под трибунал за путаницу в документах и утерю личного оружия в общественном транспорте. Я его люблю. В Сиднее он спас меня от инфаркта.

— А ты знаешь, что Борька Фрейдин тоже здесь? — первым делом сообщил он, трогая машину. — В компьютерной фирме работает.

За окном мелькал зелено-белый пейзаж: слепил.

— Так далеко от Таллинна, а вполне приличный город, — сказал я. — Не скучно?

— Ты что, — оживился Мишка. — Я тут недавно вернулся из Новой Зеландии, так вот это глушь, я тебе доложу. Вообще необразишь, за каким краем света находишься: ясно только, что вверх нога-

ми ко всему прочему человечеству. Ужас: одни бараны пасут других баранов. А у дверей, снаружи, так просто приделаны поручни, как на танковой башне: держаться, когда ураганы: чтоб, значит, на хрен не сдуло. В окружающий Мировой Океан. А тут-то еще — что ты, цивилизация.

— Господи. За каким хреном тебя туда еще занесло?

— Лекции читал. Месяц.

— Кому, о чем? Ну ты просветитель. Миссионер!

— Примерно. По Талмуду. В местной еврейской общине.

— Наконец-то выпускник Тартуского университета нашел приличную работу в Южном полушарии.

— А я тебе не говорил? Я теперь работаю в Институте Талмуда в Иерусалиме. Визиточку возьми... Кстати об Иерусалиме: ты слышал, что у Генделева был инсульт?

Как мы стареем.

В девяностом году в Ерушалаиме, на дне рождения Вайскопфа, мы с Генделевым нажрались в хлам и закончили ночь в пять часов в последнем открытом баре, довесив на русскую водку, мексиканскую текилу и израильское вино полдюжины пива „Маккаби“. Перед рассветом в закоулках арабского квартала мы были обнаружены патрульным джипом и подброшены в центр.

— С ума сошли так пить? — спросил дружелюбный головорез по-русски с грузинским акцентом. — Ножа захотелось? Недавно приехали? Откуда? Я из Тбилиси.

— Гамарджоба! — ответил Генделев. — Нож — не проблема. — И стал рассказывать, как на операции он, анестезиолог, давая общий наркоз, снотворное дал, а обездвигивающее забыл — и вдруг посреди операции, брюшная полость открыта, больная

села на столе. Бригада офонарела от ужаса, хирурга пришлось буквально откачивать. Генделева выгнали из госпиталя, и больше он врачом работать не стал. Он гениальный поэт.

В доказательство и желая сделать приятное, мы спели патрулю старую балладу: „Корчит тело России от ударов тяжелых подков, непутевы мессии офицерских полков, и похмельем измучен, от вина и жары сатанел, пел о тройке поручик у воды Дарданелл: чей ты сын? твоя память — лишь сон; пей! за багрянец осин петергофских аллей; за рассвет, за Неву...“ Сентиментальное было путешествие.

Эту песню он написал к фильму „Бег“ в семидесятом году, когда мы познакомились в ленинградском клубе песни. Музыку сочинил Ленька Нирман. Ленька давно в Тулузе, записывает диски, руководит хором, растит детей, живет в родовом замке жены и раз в три года прилетает в Ленинград пить со старыми друзьями и прошлой женой, которая была влюблена в меня, так он ей наврал, что я гомосексуалист, вот хитрый сука; а теперь она замужем за Серегой Синельниковым, моим же корешем и лучшим другом Сереги Саульского, с которым мы и пили в Париже и пели его старую: „Мы привыкаем ко всему — к плохой погоде, к вокзальной давке и к улыбкам ресторанным, мы привыкаем даже, если бьют по морде, и даже к ранам — как это странно...“ ату меня, мой Петербург! ату! И походит эта шизоидная фуга на анекдот про то, как пьяный мочится на цоколь Аничкова дворца, а турист-интеллигент робко интересуется у него, как пройти к Зимнему дворцу, на что пьяный рассудительно отвечает: а на фи́га тебе Зимний? пи́сай здесь!

Этим древним питерским анекдотом и напутствовал меня Генделев, когда за неимением Зимнего дворца мы обошлись тахана мерказит, то есть центральным автовокзалом, откуда первым автобусом

я уехал на север, в Цфат, где жил у брата. Автобус был набит солдатами, и солдаты были молчаливы. Вчера Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, и в Израиле пахло очередной войной. Ракетные бомбардировки начались позднее.

За два часа пересекаешь в длину полстраны. Автобус полез в горы. Водитель в кипе крутил серпантин наизусть. Маленький древний Цфат спасался наверху. От Сирии и Ливана это расстояние гаубичного плевка.

Я отоспался днем, а вечером пришел из госпиталя брат, и мы отправились посидеть и выпить кофе на Ерушалаимскую. Это единственное место в мире. Не Дизенгоф, ни Ундер ден Линден, ни Бродвей, ни Пиккадили — нет подобных. Недолгая пешеходка вымощена розоватым галилейским камнем. С темнотой и звездами зажигаются фонари у столиков и навесов, светятся нараспашку лавки и кафе, чередуя негромкую музыку, и все приветствуют, потому что знакомы и сошлись судьбами. Раскаленные за день сосновые посадки на склонах снизу отдают смолистое тепло в остывающий горный воздух. Рубеж Святой Земли, ветхозаветная твердыня художников и богословов: уют и вершина.

- Вали-ка ты отсюда, — озаботился брат.
- Куда? — махнул я.
- Домой.
- Где-с?
- Здесь сейчас поддег.
- Умирать — так хоть за дело.
- Успокойся. Необученного не возьмут.
- Старший офицер батареи.
- Не смехи. Война кончится быстрее твоей переподготовки. Тут свой масштаб.

А ночью из окна различимо далеко внизу Тивериадское озеро, по контуру берега световая россыпь Тверии, и огоньки Капернаума, где впервые Хри-

стос явился рыбалям. Тишину колеблют приливы приглушенного стрекотанья: патрульный вертолет обходит локаторные и ракетные точки ПВО на соседних высотах.

Радио каждые полчаса прерывало еврейские песни последними известиями. Их завершал обзор культуры. „В Нью-Йорке в возрасте сорока девяти лет скончался от сердечного приступа русский писатель Сергей Довлатов“.

— Мишка, ты слышал? — сказал брат.

— Я слышал, — сказал я.

Радио трещало дальними помехами. Земля была невидимой и огромной: нереальным множеством миров. Они слали сигналы сквозь пространство.

Жизнь оскольчато преломилась в разные измерения. Странно беретит напоминание, что живешь в них одновременно.

Мы встали и выпили водки „Кеглевич“ на помин души Сергея Довлатова.

Такие дела.

И потом, после прощания, когда трехсотместный „Ил“ влетел ночью в грозу над Средиземным и стал болтаться и махать крыльями так, что им полагалось оторваться, пристегнутые пассажиры напряженно пошучивали через паузы, и вместо полагающегося на всякий случай подведения итогов прожитой жизни вертелась в поверхности сознания обрывистая чепуха, уж как водится, не курить, а в туалете унитааз выпрыгивает из-под тебя, и не проникла смыслом, но помнилась, уж больно уместна, из Клячкина, с которым еще в его ленинградской молодости я студентом пил за одним столом, поскольку в ЛИСИ они учились в группе с моим дядькой и приятельствовали, строчка его прощальной песни, отлетной: „Покидаю я страну, где — прожил жизнь, не разберу — чью...“

Куда мчимся, да? Птица-тройка дает ответ,

дышлом да мозги вон, впрягли в бричку лебеда, рака и щуку и задумали сыграть квартет, но мар-тышка в старости слаба мозгами стала, кибитка потеряла колесо, и докатилось оно и до Москвы, и до Казани, и до Трансвааля, страны моей: земля-то — она круглая, и вертится.

А борт трещал, как пустой орех, вправду, и никакой тут символики, лишь однажды в „Ан-2“ над Кара-Кумами, попав в песчаную бурю, скакал я в такой болтанке, но здесь при массе и скорости трясло жестче, как бьет на рельсах, и долго, дьявол, бесконечно, я чувствовал себя, как балда в проруби, ведь идентифицировать нечего будет: гражданин никакого государства, представитель никакой профессии, болтаясь меж хлябью вод и небесной неизвестно где и желающий невесть чего неведомо за чем.

А я отнюдь не убежден, что кто-то там наверху хорошо ко мне относится.

В совершенном беспамятстве,
Таллинн — ?

Михаил Иосифович Веллер

А вот те шиш!

Редактор А.Л.Костанян.

Художественный редактор Ю.В.Архангельский.

Технолог М.С.Белоусова.

Оператор компьютерной верстки А.В.Волков.

Зав. корректорской А.Ю.Минаева.

Зам. зав. корректорской Н.Ш.Таласбаева.

Корректоры В.А.Жечков, С.Ф.Лисовский.

Издательская лицензия № 101053 от 4 апреля 1997 года.

Подписано в печать 17.02.97. Формат 60×90/16. Гарнитура Антиква.

Печать офсетная. Объем 24 печ. л. Тираж 5000 экз. Изд. № 426. Заказ № 312.

Издательство «ВАГРИУС». 103064, Москва, ул. Казикова, 18.

Отпечатано с готовых диапозитивов

в Государственном ордена Октябрьской Революции,

ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии

«Первая Образцовая типография»

Государственного комитета Российской Федерации по печати

113054, Москва, Валовая, 28.

Михаила Веллера литературоведы называют
гроссмейстером современной прозы, блестящим
рассказчиком, лучшим из русских писателей,
оказавшихся в ближнем зарубежье. В его повестях
и рассказах соседствуют фантазия и реальность,
смех и слезы, пафос и ирония.

Житейские истории сменяются самыми
невероятными: как был изобретен универсальный
рецепт всеобщего счастья, как карьерист по мере
продвижения по служебной лестнице становился
все меньше ростом, пока не исчез совсем...

